

Тони Барлам

ДЕРЕВЯННЫЙ КЛЮЧ

УДК 821.161.1-93 Барлам
ББК 84 (2Рос=Рус)6-44
Б25

Оформление обложки — автора.

Барлам Тони
Б25 Деревянный ключ. — М.: «Memories», 2009. —
478 с. с илл.

ISBN 978-5-903116-70-6

УДК 821.161.1-93 Барлам
ББК 84 (2Рос=Рус) 6-44

© Тони Барлам, 2009.
© Тони Барлам, обложка, 2009.
© Оформление,
издательство «Memories», 2009.

ISBN 978-5-903116-70-6

*Посвящается моей любимой Алисе,
без которой ничего бы не было.*

*Автор выражает глубокую признатель-
ность своим друзьям — **nutlet, heruka,**
phago_lov, ptrue, dscheremet,
amigofriend и **reznik** за неоценимую
помощь в написании этой книги,
а также — своим родителям — за под-
держку и вообще за все хорошее.*

Часть первая

Город Х быстро погружался в темноту — солнце медной каплей сползло по небосклону в густую морскую солянку, растеклось по глади и в мгновение ока растворилось, выделив напоследок немного яблочно-розового сияния. Теплый ветер, словно бедуин-разбойник, тотчас поднялся из-за окрестных холмов, завыл, налетел, собирая с испуганных деревьев листовенную дань, согнал с неба конкурирующих птиц, подхватил наш волан и хулигански зашвырнул его на огромный развесистый фикус.

Игра в бадминтон в сумерках и без волана, несмотря на несомненную концептуальную свежесть, нам скоро прискучила, и мы с Ломийо де Ама стали от нечего делать перебрасываться идеями — блестящими и оттого хорошо различимыми даже в сумерках.

Тут надобно сказать, что настоящее имя моего друга — Михаэль, а Ломийо де Ама он сам себя называет из горделивой скромности — звучит загадочно и аристократично, а в действительности означает на одном древнем языке «не бог весть кто». Хотя верно, скорее, обратное, ибо по специальности Михаэль — папиролог. В тот памятный день, когда началась вся эта история, он праздновал подачу своей докторской диссертации о пяти томах общим весом около тридцати фунтов, и, разумеется, поначалу наш разговор крутился вокруг знаменательного события.

— И как же себя чувствует человек, сваливший с плеч такую ношу? — поинтересовался я после подобающих случаю поздравлений.

— Что тебе сказать, — задумчиво ответил Ломийо. — Наверное, он чувствует себя как Сизиф, который по недосмотру богов умудрился-таки закатить камень на гору и теперь пытается сообразить, что же предпринять дальше. Тем более, что

его камень на вершине никому низачем не сдался — там таких и без того завались.

— Да, обидно сознавать, что твой труд в целом мире способен прочесть три человека, включая тебя, а понять и оценить — и того меньше, — посочувствовал я. — Но ты сам виноват в отсутствии широкой аудитории! Интересные темы нужно подавать увлекательно, популярно. Читателю надо время от времени скармливать морковку лирики, а не лупить безжалостным погонялом логики по натертому сухими фактами хребту сознания!

— Ты полагаешь? — спросил слегка ошалевший от моих метафор Ломийо, пробуя вообразить лирический корнеплод в своем научном труде.

— Уверен, — безапелляционно заявил я. — Уж если браться за столь гнусное дело, как бумагомарание, то только так и никак иначе. Я и сам подумываю что-нибудь эдакое написать и, поверь мне, знаю, как буду действовать, когда найду достойную тему.

— Допустим, у меня есть для тебя такая тема... очень хорошая тема, — глаза Ломийо загорелись нехорошим светом, опрометчиво принятый мною за отблеск неожиданно включившегося паркового фонаря.

— И чего ты хочешь взамен? — я беспечно поплыл на свет.

— Ничего особенного, — махнул рукой он, — я тебе ее за даром отдам. Но при одном условии.

— Каком? — я заглотил наживку.

— Потом скажу. Сперва ты расскажи мне, как собираешься писать свой бестселлер!

— Ну, это все же будет во многом зависеть от темы! — я попытался отработать задний ход, не осознавая, что уже сижу на крючке.

— Ты же уверял, что наперед знаешь! — аккуратно вывел меня на чистую воду Ломийо. — Вот и давай, выкладывай! Или ты просто так трепался?

— Ничего не просто так! — я затрепыхался в сачке. — Во-первых, это должен быть триллер с захватывающим сюжетом. Тайны, интриги, загадки, древние манускрипты, шифры, коды, шпионские страсти, нацисты, Тибет, какие-нибудь тамплиеры, Святой Грааль...

— Розенкрейцеры.

— Обязательно.

— Но ведь таких книжек пруд пруди!

— Плохих. Хороших — по пальцам перечесть. И если всё это издадут в огромных количествах, значит, подобное читов пользуется неизменным спросом. Хитрость заключается в том, чтобы в жестких рамках жанра сделать что-то необычное!

- Согласен. Излагай дальше!
- Во-вторых, конечно, про любовь.
- И секс? — уточнил Ломийо.
- Куда уж без этого в наши времена? В-третьих, экшн. Слезки, схватки, бегства, погони и тому подобное. В-четвертых, несколько сюжетных линий, и желательно — в разных эпохах. В-пятых, в пропорции юмора и трагизма. В-шестых, правдоподобие. Выдумка должна опираться только на достоверные исторические факты так, чтобы невозможно было ее опровергнуть. Ну, и побольше мелких интересных деталей, в-седьмых. Вот, кажется, все.
- А герои? Какими будут главные персонажи?
- Положим, их должно быть трое, нет, лучше четверо — трое мужчин и одна женщина.
- Лучше — для чего?
- Для разнообразия психологических типов и ситуаций. Женщина, конечно, редкая красавица. Ее возлюбленный — славный парень, интеллеktуал, но не размазня. Его друзья — ему под стать, крепкие, надежные ребята, с интересной судьбой. Один очень большой, а второй — наоборот.
- Это почему?
- Ну, не могут же оба быть очень большими!
- Логично.
- Но тот, который маленький, он тоже особенный... Тут надо придумать что-то экзотическое...
- Инопланетянин?
- Вроде того. Китаец. Или какой-нибудь другой азиат. Такой, знаешь ли, добрый дедушка Лю с бровями и железными пальцами, как в гонконгских боевиках. Экзотика экзотикой, но людям нравятся привычные типажи.
- Тогда здоровенный должен быть черным.
- Вот это уже перебор. Тем более, что уже было. Пусть лучше будет еврей. Еврей и китаец — это свежо. Вот такая вот схема. Теперь гони свою идею!
- Ломийо де Ама изобразил на лице мучительное раздумье.
- Знаешь, я хотел поставить тебе условие писать строго в тех рамках, которые ты сам определишь, но теперь я сильно сомневаюсь, что мою тему возможно в них загнать. Боюсь, тебе не справиться.
- Нет такой темы, которую нельзя было бы загнать в любые рамки! — самоуверенно заявил я. — Все дело в умении трактовать. Ты что, не веришь в мои силы? Давай тему и увидишь, как и куда я ее загоню!
- О'кей, — согласился он. — Значит, условие остается в силе. А идея как раз о трактовании. Я много думал о том, что, в принципе, из любого литературного текста можно извлечь

что угодно. Например, можно объявить сакральной книгой сказку про Красную Шапочку.

— Ну, это не то чтобы очень новая мысль. В чем гениальность твоей темы?

— Я не говорил — гениальная, я сказал — очень хорошая. Известно, что ни одна сказка не возникает на пустом месте. Ей всегда предшествует какая-то легенда, а легенда в свою очередь уходит корнями в глубокую древность, когда излагаемые в ней события были реальными. За века смысл реальной истории искажался настолько, что зачастую менялся на ровно противоположный изначальному. Идея же моя такова: взять общеизвестную литературную сказку и придумать ей родословную.

— И какую сказку ты предлагаешь выбрать?

— Думаю, что лучше всего подойдет «Пиноккио». Она самая загадочная.

— Ты шутишь!

— Что, сдаешься?

— Я никогда не сдаюсь! Хотя сейчас мне этого хочется, как никогда, — признался я, почесав макушку. — Ладно, я попробую что-нибудь измыслить. В конце концов, ничто так не стимулирует изобретательность, как вынужденные ограничения. Но ты не думай, что уйдешь от ответственности!

— В каком смысле?

— Я тебе отомщу.

— Каким образом?

— Опишу тебя в книге.

— Не очень-то страшно. Валяй! Да, и вот еще что. Роман должен начинаться со слова «город», а заканчиваться словом «жизни».

— А это еще почему?

— Когда я думал, что буду писать сам, погадал на «Баудолино».

Город за стеклом похож на дорогие и громоздкие декорации, что соорудили триста лет назад и с тех пор не меняли, а лишь понемногу подлаживали под свежие сценические веяния. Но сейчас на пыльных подмостках разыгрывается самый ветхий сюжет — на них идет гроза.

Стекло между грозой и Марином похоже на горячий сжатый воздух, которым нельзя дышать, но зато его можно потрогать.

Прислонясь к нему головой, Мартин неудобно сидит на подоконнике и смотрит на свое отражение в тучах. Тучи отражают человека, который любит смеяться, но давно не имеет для этого повода. На лице его присутствует полный набор морщин, положенный мужчине, разменявшему на размышления четвёртый десяток. В те времена, когда Мартин умел шутить, он бы сказал, что с годами его извилинам стало слишком тесно внутри головы, вот они и вылезли наружу, и все мысли теперь написаны у него на лбу.

Лоб Мартина похож на бледное северное море, а волосы — на рыжий осенний лес, в котором море выточило два глубоких залива. Нос — длинный, весёлый и подвижный, ярко разукрашенный веснушками. Глаза же, напротив, серы и печальны — они не из тех, что готовы широко раскрыться перед незнакомцем, но прячутся подобно японским женщинам за ширмами век и веерами морщинок. Рот красив, но почти всегда перекошен — то из-за трубки, то из-за привычки покусывать нижнюю губу. Подбородок выдающийся, с ямочкой, не слишком-то тщательно выбритый. Уши оттопыренные и любопытные.

Из радио в уши Мартину льются расплавленной медью адские звуки литавр в соль-миноре, и он страдальчески морщится, но не находит в себе сил сдвинуться с места и выключить приемник, и лишь бормочет: «...безумие... безумец... безумцы...». Наконец, музыкальная

лавина замирает, и в потрескивающем наэлектризованном эфире жизнерадостный баритон по-североамерикански сообщает Мартину, что он только что прослушал прошлогоднюю живую запись «Парсифаля» из «Метрополитэн Опера» в исполнении... — тут первая капля дождя майским жуком врезается в стекло, словно плевков, нацеленный небом прямо в Мартинов глаз. Рефлекторно отдернув голову, Мартин теряет остатки равновесия и соскальзывает с подоконника. «Прекраснодушные идиоты, — тихо кричит он баритону, дважды стукнув кулаком по полированной крышке „телефункена“, — неужели вы не понимаете, что это — война?» Не дожидаясь, впрочем, ответа, отключает радио. Освободившуюся тишину тотчас заполняют жестяная чечетка капель, сдержанный кашель грозы и слоновий зов пароходов из гавани.

Глядя, как туча сизым корабельным бортом надвигается на окно, Мартин рассеянно набивает трубку. «Великан Суртр придет с юга, убьет Фрейра и спалит все и вся огнем к такой-то матери. Ну да, ну да...» — говорит он еле слышно. Резкое дребезжание звонка входной двери заставляет его вздрогнуть. Табак сыплется на ковер. Пес поднимает огромную лобастую голову и внимательно смотрит на хозяина. Мартин пожимает плечами, сует трубку в карман куртки и направляется в прихожую. Пес вскакивает с лежанки и следует за ним, громко сопя и стуча когтями по паркету. Он поспевает как раз вовремя, чтобы просунуть свой любопытствующий нос из-под хозяйского локтя в раскрывающуюся дверь.

* * *

В полумраке на лестничной площадке стояла Мари — не такая, какой Мартин помнил ее, а такая, какой она должна была бы стать теперь, десять лет спустя. Мартину показалось, будто вся кровь раскаленным

молотом ударила ему в голову, легкие окаменели, а руки и ноги, наоборот, сделались соломенными и бесполезными, как это бывает во сне перед бегством или поединком. Он схватился за ошейник собаки и попытался вдохнуть.

Но тут призрак заговорил низким, хрипловатым незнакомым голосом — и в тот же миг судорога отпустила мозг Мартина, и кровь унялась и вернулась восвояси, оставив по себе металлический привкус внезапного страха во рту и звон в ушах, из-за которого Мартин не разобрал ни единого слова. «Успокойся! — приказал он себе. — Это не может быть Мари. Мари умерла — ты знаешь лучше, чем кто-либо другой. Эта женщина просто очень на нее похожа, и даже, возможно, не очень. Здесь темно. И голос совсем другой».

Залп молнии за окном на мгновение обдал синеватым светом лестничный пролет, сделав все вокруг монохромным и плоским, как фотография, и Мартин увидел, что женщина снова что-то говорит ему — но на сей раз ее слова утонули в грохоте, от которого зазвенели стекла — было похоже, что туча-корабль налетела днищем на дом. Раскат грома был так долгов, что Мартин успел немного отдышаться и прийти в себя:

— Простите, пожалуйста, фройляйн! Я опять не расслышал, что вы сказали, — сказал он, виновато улыбаясь, как только стало тихо, — Но не угодно ли вам будет войти? Вы совершенно промокли, а гроза вряд ли закончится скоро.

Мартин двинулся вперед и вбок, чтобы освободить проход, и лишь тогда ощутил ноющую боль в пальцах, вцепившихся в ошейник. «Как в соломинку. Да что же это со мной?» — с досадой подумал он и, притворившись, будто попросту придерживает пса, свободной рукой изобразил некий жест, который можно было бы истолковать как приглашающий.

Женщина покачнулась на месте в такт этим движениям, словно от ветра, затем коротко кивнула и вошла. От нее исходил ощутимый на расстоянии жар, а все ее

тело вибрировало, как рояльная струна. Открытые по середине плеч тонкие руки, прижимавшие к груди какой-то жалкий узелок, были покрыты гусиной кожей. Спутанные прядки золотисто-рыжеватых волос уже успели присохнуть ко лбу, широко же распахнутые темные глаза были влажны. «Без шляпки, без сумочки и, по всей видимости, совершенно больная, — констатировал в уме Мартин, входя следом и запирая дверь, — Интересно, что ей от меня нужно? Верно, не сорок тюфяков и одна горошина. Здесь никто не знает, что я врач. Странное дело». Он провел незнакомку в гостиную и усадил в кресло. Женщина позволила укрыть себя пледом, но сидела напряженно, держа свое небогатое имущество на коленях. Пес подошел к ней, вдумчиво обнюхал ее ноги и тут же с тяжелым вздохом бухнулся на ковер.

— Прежде чем мы начнем говорить о деле, которое привело вас ко мне, милая фройляйн, осмелюсь предложить вам согревающего питья, — не терпящим возражения тоном заявил Мартин и удалился в кухню, стараясь не глядеть на гостью.

«Кстати, почему ты так боишься посмотреть ей в глаза? Отчего ты так струсил? Разве тебе еще есть что терять? Или тебя пугает это случайное совпадение? — спрашивал он себя, яростно измельчая корицу, и сам себе отвечал: — Вздор, случайных совпадений не бывает, так что это либо не совпадение, либо оно неслучайно. А боишься ты снова впустить страх в свою жизнь. Не потерять, а приобрести. Но это все пустое — закончится гроза, она встанет и уйдет, ведь она здесь, скорее всего, по ошибке!»

За те несколько минут, что Мартин возился на кухне, женщина не изменила позы, только обхватила руками плечи, точно пыталась удержать свое тело от лихорадочных подергиваний. Услыдав шаги за спиной, она резко — как-то чересчур резко — обернулась, и Мартину снова стало не по себе — на сей раз от той безнадежности и растерянности, которую излучали ее

больные глаза. Он почти выдержал этот взгляд, поставившись ободряюще улыбнуться в ответ, и с таким видом протянул перед собой затейливо украшенную глиняную кружку, словно под ее крышкой и впрямь находилось решение всех житейских проблем, как утверждала готическая надпись сбоку.

— Здесь яблочный настой, корица и еще кое-какие ингредиенты — весьма полезное жаропонижающее средство. Выпейте, пожалуйста!

Женщина выпростала руки из пледа, взяла кружку, не отрывая взгляда от Мартина, и сказала глухим неровным голосом, сквозь который пробивались клокочущие хрипы:

— Благодарю вас и прошу извинить за беспокойство.

Тут свирепый, как цепная собака, кашель вырвался из ее груди, и ей потребовалось не меньше минуты, чтобы усмирить его. Пес, до сих пор лежавший в полной прострации, вскочил, несколько раз утробно взлаял и снова лег.

«Охохох, это очень похоже на двустороннюю пневмонию. А вот она не похожа на немку. Говорит правильно, слишком правильно, по-гимназически, и этот легкий акцент... Полька? Нет, пожалуй, не полька...» — размышлял Мартин, но гостя, откашлявшись, сама разрешила его сомнения:

— Я ищу Йозефа Розенберга. Это брат моего отца, он должен был жить с семьей по этому адресу.

«Так вот оно что! Дело-то еще более странное, чем я мог предположить!» — подумал Мартин, а вслух произнес:

— Увы, мы с Докхи, — он указал подбородком на пса, — являемся единственными обитателями этой квартиры. Ваш дядя, с которым я не имел случая познакомиться, почти два года тому назад продал ее мне через посредника и уехал то ли в Палестину, то ли в Боливию. Видите ли, климат в нашем городе стал очень нехорош для евреев в последнее время, — завершил он

упавшим голосом, увидев, как на глаза собеседницы набежали слезы.

— О, Боже мой! — прошептала она, зажмурившись, отчего несколько капель гулко кануло в нетронутое питье. — Что же мне теперь делать?

Как любой мужчина при виде женских слез, Мартин запаниковал:

— Ох, ради Бога, не отчаивайтесь, фройляйн! Все это, конечно, непросто, но мы что-нибудь придумаем! В городе еще остались евреи — я лично знаком с несколькими стариками тут неподалеку и завтра же наведу справки! Уверен, что кто-то из них подскажет, где искать вашу родню! А вы покуда...

На этих словах женщина мотнула головой, поставила кружку на столик и попыталась встать, но вместо этого неправдоподобно тихо, как снег, упала навзничь.

— ...останетесь у меня, — по инерции договорил Мартин, остолбеневший от неожиданности. — Вот черт, и я ведь даже не знаю ее имени!

* * *

Мартин осторожно поднимает на руки обмякшее тело и, подивившись его легкости, укладывает на кожаный диван. Некоторое время стоит над ним в задумчивости, покусывая губу. Наклонясь, берет за тонкое запястье безвольно откинутую левую руку, отмечает с удивлением въевшуюся в поры угольную пыль, прикрыв глаза, с минуту слушает пальцами пульс, поочередно поднимая и опуская их, будто играет на флейте. Затем прямо через платье постукивает пальцами другой руки по грудной клетке, как бы в такт услышанной мелодии. Лицо его при этом делается совершенно бесстрастным и чуть ли не мечтательным. Потом он решительно идет к телефону и, полистав записную книжку, накручивает диск.

— Фройляйн, двести восемьдесят пять двадцать, пожалуйста.

Через десяток секунд из трубки доносится по-военному четкое:

— Гёбель у аппарата!

— Бруно, здравствуйте! Это Мартин Гольдшлюссель.

— Рад вас слышать, герр Гольдшлюссель! Чем могу быть полезен?

— Вы меня чрезвычайно обяжете, Бруно, если сейчас же пошлете самого резвого своего мальчика на Мюнхенгассе к Берте с просьбой немедленно прийти ко мне, несмотря на дождь. Мальчику дайте, пожалуйста, десять гульденов и запишите на мой счёт.

— Будет сделано, герр Гольдшлюссель! Что-нибудь еще?

— Нет, это все. Благодарю вас, Бруно. До свидания!

— Желаю здравствовать!

Мартин аккуратно возвращает трубку на рычаг, подходит к своей нечаянной пациентке, некоторое время прислушивается к ее дыханию, берет блокнот и карандаш, садится рядом с диваном и углубляется в составление какого-то списка.

Берта Брушке, крепкая старуха из грубых меннонитов, которая не терпит обращения «фройляйн», («В мои года зваться девицею стыдно, а уж коли фрау меня Господь стать не сподобил, так пушай и буду просто Берта,» — говорит она со своим неподражаемым остзейским акцентом), появляется через полчаса, обстоятельно встряхивает зонт перед дверью, не обращая внимания на протесты хозяина, снимает в прихожей мокрые ботинки и в одних чулках вдвигается в гостиную. Моментально изучив мизансцену, она поворачивается к Мартину и вопросительно приподымает бровь.

Тот заходит издалека:

— Дорогая Берта, мы знакомы уже два года, и должен сказать, что в городе нет человека, которому я доверял бы больше вас. Но дело тут настолько серьезное

и опасное, что я обязан попросить вас держать все в секрете, вне зависимости от того, согласитесь ли вы мне помогать или нет. Хотя, конечно, в вашем случае совершенно излишне говорить об этом.

Берта обиженно поджимает губы так, что лучики морщинок вокруг них кажутся стежками суровых ниток, стягивающими рот намертво, и становится ясно, что говорить и впрямь излишне.

— Простите, Берта, я сморозил глупость.

— С кем не бывает, — удовлетворенно кивает старуха.

— Я вот о чем... Всем известно, что вы — одна из немногих, кто продолжает покупать продукты у евреев, не боясь молодчиков из СА.

— Чтоб я энтих дерьморубашечников, прости Господи, боялась? — возмущается Берта. — Я чего боюсь, так это что на том свете мне иск вчинят, за то, что им, поганцам, на свет родиться помогала, по задницам их шлепала, чтоб задышали. Дай мне волю, я б той самой рукой, — и она машет перед Мартиновым лицом той самой широкой крестьянской рукой, похожей на краюху черного хлеба, — так бы их нынче по задам отшлепала, что обратно б дух из их повышибла!

Воображение тотчас рисует Мартину картину того, как Берта на ратушной площади выбивает дух из гауляйтера Форстера, спустив с него штаны — получается настолько убедительно, что он хихикает. Старая повитуха, разойдясь не на шутку, набрасывается на него:

— Чего смеетесь? Кабы было б в городе с дюжину таких, как я, мы б вам, мужикам, показали, как с ими разговаривать надо!

— Право, Берта, если Господь пощадит этот город, то только из-за того, что в нем нашлись два праведника: вы и Густав Пич.

— Вы меня с им не равняйте — он святой, а я — грешница. Оттого он теперича, сказывают, в Святой земле обретается, а я — в энтот свинарнике. И хватит пустое молоть, говорите дело! Хотя я и сама вижу, что

девка — нездешняя, больная. Денег и бумаг, уж конечно, нету. Уход ей нужен, а вам ее мыть-одевать негоже, потому как вы мужчина, хоть и доктор. Так?

— Одно удовольствие с вами дело иметь, Берта!

— Мне про то все доктора говаривали. Думаю, вам сейчас в аптеку надобно, так вы и идите себе, а я свое дело знаю, — с этими словами грозная старуха отворачивается к больной, давая понять, что разговор окончен.

«Грандиозная женщина!» — в очередной раз восхищается Мартин и отправляется за лекарствами. Хотя и не в аптеку, как предположила Берта, а совсем в другое место.

* * *

Место, куда отправился Мартин, находилось неподалеку. В доме на Ланггассе, на третьем этаже, была небольшая квартира, которую занимал один интересный человек, для окружающих представлявший собою одну сплошную неопределенность — неопределенного возраста, неопределенной национальности, неопределенных занятий. Он был невысок ростом, темноволос, а лицом смахивал не то на китайца, не то на ещё какого-то азиата, но одевался по-европейски, по-немецки говорил безо всякого акцента и частенько пропускал кружку-другую Золотого Артуса в пивном ресторанчике Бодденбурга, что находился этажом ниже его жилища. И хотя мельхиоровая табличка на его дверях гласила «Др. Вольф Шёнэ», никто (за глаза, разумеется) иначе как «чертов китаец» его не звал — все после того случая, как Шлехтфегтеров сынок Гюнтер, из первых штурмовиков в городе, нарочно опрокинул на него кружку пива, сказав что-то вроде «а после длинноносых возьмемся за косоглазых». А тот, как ни в чем не бывало, промокнул платочком манишку, смерил взглядом громилу и сказал ему так спокойненько: «Берегитесь воды!» И ушел, пока тот пытался сообразить, оскорбили ли в его лице арийскую расу или нет. И надо же

такому случиться, что тем же вечером, катаясь по пьяной лавочке на мотоцикле, Гюнтер сверзился в Моттлау и утоп. Полиция, ясное дело, никакого состава преступления в том не усмотрела, а идти к китаезе за разъяснениями охотников не нашлось. Однако с тех пор лишь кельнер Хуго мог бы похвастаться тем, что иногда перекидывался с этим не пойми каких наук доктором парой фраз, да только он был не из хвастливых и языком зря чесать не любил. В окрестных лавках Шёнэ ничего не покупал, даже газет, а все съестные и прочие припасы, видимо, доставлялись ему из порта посыльными, которые тоже разговорчивостью не отличались. Так и вышло, что общественностью на этой темной личности был поставлен гриф «Непонятное, но безопасное, если не трогать», после чего общественность успокоилась, и все контакты с «чертовым китайцем» были сведены к преувеличенно церемонным доброжелательным приветствиям и прощаниям, к вящему удовлетворению обеих сторон. На самом же деле доктор Вольф Шёнэ был вовсе никакой не китаец, хотя, среди прочего, знал толк и в китайской грамоте.

* * *

— Да, начало интригует, — сказал Михаэль, возвращая листы. — Только я не очень понимаю, отчего у тебя прошедшее время перемежается с настоящим. Такое чувство, словно читаешь то сценарий, то роман.

— Ты меня не поднимешь на смех, если я скажу, что так захотел текст? Тут удивительное дело — я пробовал переписать эти куски, но получилось значительно хуже.

— А ты не пытался разобраться, почему он этого захотел?

— У меня есть некое смутное предположение... трудно вербализуемое. Я или, точнее, наблюдатель еще не уверен в том, что это время — настоящее. Поэтому наблюдающий то и дело приотстает от него на долю секунды, за которую оно успевает сделаться прошедшим, как это всегда происходит с настоящим временем, а не исчезает, к примеру, вовсе. Возникает некий стереоскопический эффект, подтверждающий реальность движения. Вот как если на групповой фотографии фигура одного человека хотя бы чуточку смазана, у нас сразу возникает уверенность, что на снимке не манекены, а живые люди, понимаешь?

— Кажется, да.

— Ну вот, если использовать кинематографическую метафору, я только начинаю крутить ручку проектора, bobина — огромная, в силу инерции раскручивается медленно, поэтому на экране мы видим пока что не плавное действие, а быстро сменяющиеся фотографии. Я сижу в будке и смотрю не на экран, а на ленту, на кадры — то прямо сквозь них, то провожая их взглядом, как бы пытаюсь мысленно ускорить движение. Как в медленно едущем поезде, да? А другого объяснения не нахожу. Но мы с тобой три недели не виделись, старик, а говорим о всякой ерунде. Где ты пропадал?

— В Германии. Со мной, как всегда, приключаются странные вещи. Ты знаешь, с моей специальностью работу в дешёвых университетах не найти. Диссертацию я дописал, стипендия вот-вот закончится, дела паршивые. И вот иду я по своей альма матер и вижу — стоит компьютер, а на экране — сайт по трудоустройству для академических люмпенов типа меня. Дай, думаю, попытаю счастья. Ввел свои данные — и тут же мне выдают одну-единственную вакансию — как для меня созданную. Но в Принстоне. Я подумал, что ничего не теряю и отправил

запрос. И ушел. А через полчаса вернулся, чтобы кое-что уточнить — а там уже этой вакансии нет. Ну, думаю, не судьба. А на следующий день получил приглашение от руководителя проекта — некоего Петера Шэфера — приехать на интервью...

— В Принстон?

— Нет, разумеется. На какую-то папирологическую конференцию в Бланкензее. Это недалеко от Берлина. Представь себе — замок в лесу, озеро, парк...

— Кормили хоть прилично?

— Сносно. Правда, заставили меня попробовать настоящий немецкий квак. Сказали: в Принстоне вам такого не подадут. Ну, я представил себе что-то болотно-зеленое и дрожащее на тарелке и внутренне тоже содрогнулся.

— А оказалось?

— Дрожащее, но ядовито-розовое. На вкус эта слякоть напоминала плод алхимического брака бывшего йогурта с фригидной манной кашей. Но мне удалось изобразить на лице блаженство, которому позавидовал бы святой Августин — я искренне радовался, что в Принстоне такого не подают. А в остальном было прекрасно. Место удивительное и я бы даже сказал — мистическое. Вообрази себе обширный парк, уставленный копиями римских статуй времен династии Адриана, при входе — скульптурная группа из каких-то волхов с восточным колоритом.

— И что тут удивительного и мистического?

— Во всем парке — ни одной птицы, кроме черных лебедей в озере, а по ночам я видел меж деревьев таинственные блуждающие огоньки.

— Ты просто чересчур впечатлителен, друг мой. А чей это замок?

— Берлинского университета. А раньше он принадлежал некоему Зудерманну. Говорят, известный писатель, классик.

— Зудерманн? Никогда не слышал.

— Смотрительница замка сказала, что он пропал в 1928 году.

— Как пропал?

— Я не очень-то понял. Знаешь, ее недоразвитый английский оставлял желать еще лучшего, чем мой увядший немецкий. Вот если б она по-древнегречески рассказывала...

Выйдя из дома, Мартин видит, что гроза сменилась простым нудным дождем. Он раскуривает трубку, поворачиваясь кругом так, будто пытается стать к ветру спиной, и удерживая раскрытый зонт плечом, внимательно осматривается. Серая, точно нарисованная поплывшей тушью, улица безлюдна и беззвучна. Возле соседнего дома мокнет незнакомый и тоже серый автомобиль. Мартин спускается по лестнице. Какой-то долговязый молодой человек выскакивает из дверей у него за спиной и прыжками через две ступеньки несется вниз, придерживая одной рукой шляпу, а другой — стягивая отвороты пиджака, так что Мартин, обернувшись, не успевает разглядеть лицо бегущего. Человек обгоняет Мартина, лихо перемахивая через лужи, подлетает к машине и садится в нее с правой стороны. Тот, что был за рулем, тотчас заводит мотор и быстро рвет с места. «Де Цет восемьсот девяносто девять, — машинально запоминает номер Мартин, — год моего рождения». И трогается в путь в том же направлении, куда уехал автомобиль. Колокол Мариенкирхе начинает неспешно звонить, и последний его удар застает Мартина выбивающим затейливый ритм на двери с мельхиоровой табличкой и без электрического звонка.

Дверь открывается скоро, будто хозяин стоял в прихожей, ожидая условного сигнала — во всяком случае, звука торопливых шагов из квартиры не доносится. Мартин складывает ладони лодочкой перед грудью и кланяется:

— Здравствуй, Шоно!

— И тебе здравствовать, Марти! — поклонившись в ответ, говорит загадочный человек. — Извини, что заставил ждать — прикорнул четверть часика на диване, — и хитро щурит и без того узкие глаза. — Проходи и будь моим гостем, раз уж разбудил старика.

— Прости, но дело не терпело отлагательств, а телефона у тебя нет.

— Ты прекрасно знаешь, что я терпеть не могу всех этих новомодных штучек на электричестве — у меня от них вечно в голове гудит. Садись и выкладывай свое дело, а я пока что сделаю нам чаю. Тебе по-китайски или по-нашему? У меня есть очень хороший *у-лун*.

— Значит, по-китайски, — Мартин располагается на подушечке подле чайного столика и вытягивает из кармашка на груди давешний список: — Вот, взгляни и скажи, что ты про это думаешь!

Шоно мельком заглядывает в листок, кивает головой, потом идет ставить чайник на огонь и, вернувшись, садится рядом с гостем и говорит:

— Человек ветра и слизи — женщина — истощение — кашель — сильный жар — жидкость в легких, словом, как вы говорите — воспаление. Ты все-таки как был, так и остался европейцем — слишком доверяешь классическим схемам. Я бы вместо этого и этого, — он водит по бумаге пальцем, — поставил бы ей иголки примерно сюда, сюда и вот сюда, — и тем же пальцем чувствительно тычет Мартина в разные точки тела. — А растирания с жиром отложил бы на пару дней. Но, думаю, ты и без моей помощи поставишь ее на ноги дней за десять... Хотя с моей поставил бы за неделю, — после небольшой паузы добавляет он и раздражается сухим шелестящим смехом.

Мартин вяло улыбается в ответ. Шоно похлопывает его по колену, одним изящным движением поднимается на ноги и исчезает в кухне. Пока он отсутствует, Мартин бездумно разглядывает изысканный чайный прибор и понемногу погружается в дремотное состояние. Во сне он с удивлением видит, как улыбающийся Шоно протягивает ему коричневый гриб, и тут же, очнувшись, понимает, что это вовсе не гриб, а фарфоровая стопка с чаем, накрытая маленькой — размером с коленную — чашечкой. Он с поклоном принимает напиток, ловко переворачивает сосуды, зажав их в трех пальцах, вынимает стопку, вдыхает аромат:

— Очень хороший, — говорит он с чувством, — можно сказать, даже превосходный!

— Она красивая? — неожиданно спрашивает Шоно, легонько толкнув его пальцами в бок.

Мартин не спешит с ответом — сперва отхлебывает из чашки:

— Она прекрасна, как вкус этого чая. Или ещё прекраснее.

— Поэтому ты не дышишь?

— Дышу я, дышу.

— Рыба на воздухе тоже разевает рот и жабры, но это не значит, что она дышит! Это из-за нее? Что не так?

— Да то не так, что когда я ее увидел, мне будто полную грудь мокрой земли с камнями насыпали. На первый взгляд кажется, что она — просто копия Мари. А на второй — видишь, что это Мари была просто очень удачной копией. Понимаешь?

— Ты хочешь сказать, что эта — оригинал? — Шоно наклоняется над столиком и заглядывает Мартину в лицо — глаза его делаются почти круглыми, а голос почти теряет звук, — И мы все ошибались? Ты уверен?

— Практически. И с этой уверенностью я чувствую себя отвратительно.

— Погоди-ка, но ведь тогда выходит, что... Бог ты мой!

— Вот именно.

— Но почему сейчас, когда ничего уже не успеть?

— Тебе нужен ответ немедленно или ты дашь мне пару дней на размышление? — с преувеличенно серьезным видом спрашивает Мартин.

— Не дерзи старику! Он еще не дал повода втаптывать в грязь свой авторитет! — Шоно насупливает брови и выпучивает глаза, сделавшись похожим на гневное монгольское божество, потом мигом разглаживает лицо и усмехается: — Хотя, надо признать, был как никогда близок к этому. Так. Я должен убедиться лично — ты все-таки слишком молод и эмоционален! — он протягивает Мартину объемистый бумажный сверток: —

Тут все, что ты просил, ну, и я добавил кое-что от себя. Ступай и лечи ее хорошенько! А я приду послезавтра — мне надо немного помозговать.

С этими словами Шоно сотворяет рукою жест, каким султаны отгоняют от себя опостылевших жен, а простые смертные — неприятный запах, и, подперев кулаком челюсть, погружается в раздумье. Мартин кланяется и с улыбкой идет к выходу — видно, что разыгранный спектакль ему не в новинку. Шоно продолжает сидеть, как изваяние, но едва лишь дверь захлопывается, хватается руками за голову, валится на спину и выпаливает в потолок: «Ох, ну это надо же!» И добавляет, помолчав пару секунд, сочное ругательство на непонятном языке.

* * *

Мартин возвращается к себе уже в сумерках. С неба сеются мелкие остатки дождя, дребезжит звоночком последний трамвай, похожий на огромный волшебный фонарь, что заманивает запоздалых путников в свое электрическое нутро и увозит их навсегда. Мостовая матово поблескивает, как спрессованная черная икра. Темные дома засыпают, подпирая друг дружку узкими плечами, чтобы не упасть на посту. Их плоские фасады — перепонка, отделяющая и охраняющая уют от неюта, настолько тонкая, что тут и там сквозь нее пробивается теплый, как топлёные сливки, свет. Ловцы человеков сматывают удочки, ворча — неудачный день, и только незыблемые маяки пивных продолжают указывать фарватер настоящим мореходам, вечная жажда которых не зависит от количества разлитой в воздухе влаги. В такое время хорошо идти домой, предвкушая вкусный ужин в семейном кругу. Мартин, давно отвыкший от того, что вечером его ожидает что-то, кроме прогулки с собакой, скромной холостяцкой трапезы, книг и музыки, взволнован.

Сократив по возможности ритуал встречи в прихожей с Докхи, Мартин проходит в гостиную. В ней ничего нет, пахнет едой и, кажется, даже прибрано. Берта обнаруживается читающей молитвенник подле кровати больной в бывшей детской, из которой она успела соорудить нечто вроде лазарета. Не отрывая взгляда от книги и не прекращая шевелить губами, она предостерегающе поднимает палец. Мартин замирает и, терпеливо ожидая, пока Берта доберется до конца, осматривается. Поймав себя на том, что вновь избегает глядеть в лицо незнакомки, сердится и заставляет глаза остановиться на нем — будто сделанное из косяного фарфора, оно почти бесцветно, лишь на скулах просвечивает внутренний жар. Лежащие на подушке по обе стороны головы туго заплетенные косы огненными змеями охраняют непокойный сон. Или золотые цепи — думает Мартин.

По-прежнему глядя в книгу, Берта трогает мокрую тряпку на лбу пациентки и, отложив чтение, перемениет ее со словами:

— Пышет чисто печка. Хоть хлеб на ей пеки.

— Берта, скажите, зачем вы переносили ее одна? Неужели нельзя было дожидаться меня!

— Невелика ноша! — фыркает старуха, — Легка, как перышко. В чем и душа-то держится? Я ее сперва в ванне отмывала в семи водах. Вся в саже, что твоя трубочистова щетка — в паровой трубе, что ль, сюда добиралась бедняжка? Ну да уж я ее привела в божеский вид. Девка-то рожавшая, — как бы невзначай добавляет она.

— Вы в этом уверены? — спрашивает Мартин, чтобы хоть что-то сказать.

— Мне ли не знать? — Берта укоризненно наклоняет голову к плечу, — у меня глаз наметанный.

— Да, простите. А она ничего не говорила в бреду?

Старуха принимает заговорщицкий вид и, понизив голос, сообщает:

— То-то и оно, что болботала что-то, пока не заснула. По-русски!

Мартин вовремя сдерживается, чтобы опять не спросить, уверена ли она. Но Берта, видимо, почувствовав это, уточняет сама:

— Я ж в Эстляндии родилась, в Российской империи. Говорить-то по-ихнему уж не смогу, но понимать понимаю.

— А что она говорила?

— Да ничего ясного. Все «да», да «нет», да «отпустите». И еще какого-то Мишеньку поминала. Бредила, понятное дело.

— М-да... Кстати, у нее был узелок. Вы посмотрели, что в нем?

— Я по чужим вещам рыться не приучена! — расправляет плечи Берта. — А на ощупь тряпки там да книжка какая-то. Перстенок на ей был — так вон он на столике. И вот что, господин доктор. Я с утра к вам жить перейду, покуда ее не выходин. И не перечьте! Денег с вас за то лишних не возьму — будете как обычно платить.

— Но Берта, дело совершенно не в деньгах! Просто мне неудобно вас эксплуатировать!.. — лепечет Мартин.

— Неудобно левой рукой в правый карман лазить! — перебивает старуха. — Все одно семьи у меня нет. Завтра на рынок схожу. Уж нынче ночью она всяко есть не запросит. Я там стоговила кой-чего, что в реф-ри-жираторе нашла. Собачку вашу мясом покормила. Уж так жалобно смотрел!

— Берта, но Докхи не ест мяса!

— Вот я и говорю, жалобно, — в голосе Берты явно звучит осуждение. — Вы с им сейчас погуляете, и пойду я — у меня цветы не политы, да и вставить завтра рано.

«Что ж это она все время командует? — думает Мартин, спускаясь по лестнице вслед за Докхи. — Теперь еще у собаки расстройство желудка будет. Этого мне не хватало».

Мартин готовил на кухне лечебный состав, хмурясь и бормоча под нос нечто невразумительное, вроде детской считалки: «Король — камнеломка, ферзь — шалфей, слоны — термопсис и змееголовник, ладьи — желтушник и гипекоум, кони — талая вода, пешки — прохладные травы... А завтра — камфару двадцать пять. Белые начинают, черные доделывают, всё как всегда». Говорил он все это лишь для того, чтобы изгнать из головы тревожные мысли. Но куда там! С тем же успехом он мог бы пытаться утопить дюжину футбольных мячей одновременно. Мысли упорно всплывали и вертелись хороводом вокруг одного вопроса: что же будет потом? К тому же Мартин боялся лечить эту женщину — нет, он не сомневался ни в своей способности исцелить ее, ни даже в ее выздоровлении. Страх его был совершенно иррационален. Так бедняк, откопавший в своем саду старинный сундук, боится сломать замок и заглянуть под крышку.

Ночь Мартин провел в кресле подле больной. Он то проваливался в скверный сон, то вскидывался, когда та бредила, поил ее, менял холодный компресс и подолгу прислушивался к бессвязным обрывкам незнакомой речи.

Берта пришла с рассветом, заполнила собой все пространство холостяцкого жилища, приготовила завтрак и отпустила Мартина на краткосрочную прогулку с Докки, а после снарядилась кошелками и сообщила, что вернется не позже, чем через два часа.

Не успели затихнуть ее гренадерские шаги, как с черного хода донесся условный стук. Мартин открыл дверь и, от удивления забыв поздороваться, спросил:

— Шоно? Ты же сказал, что будешь размышлять до послезавтра!

— Однако, шибко быстро думал, — с деланным китайским акцентом ответил тот, — И ты здравствуй, мой мальчик!

— Извини. Здравствуй!

— Извинил.

— Очень хорошо, что ты пришел сейчас.

— Вот и я подумал, а вдруг тебе будет приятен мой неожиданный визит? И решил безотлагательно проверить свою гипотезу. Ну-с, показывай свою протезе!

Войдя в комнату, Шоно присвистнул на вдохе и поглядел на Мартина:

— Ты ее осмотрел? По бегающим глазкам вижу, что постеснялся. Эх, Марти, Марти, я плохой учитель — хороший побил бы тебя бамбуковой палкой! — И, напустив на себя суровый вид, он уселся на край кровати. — А я ведь тебе доверял. Так, поглядим, что тут у нас! — и с этими словами откинул одеяло.

Женщина оказалась совершенно нагой — по каким-то своим резонам Берта не стала ее одевать в мужскую пижаму. Мартин невольно зажмурился, но образ прекрасного тела успел запечатлеться у него на сетчатке и тут же отчетливо проявился на изнанке века, заставив сердце пропустить несколько ударов. Осознав, что продолжать стоять с закрытыми глазами глупо, Мартин вздохнул и стал смотреть в сторону.

— Ай, какая замечательная фигура! Боттичелли сюда! Праксителя! — восхищенно восклицал Шоно, приступая к пальпации. Поймав на себе укоризненный взгляд ученика, с ненатуральным покаянием в голосе признался: — Да, я никогда не был настоящим монахом. Но видишь ли, в моем возрасте женщинами любуются уже совершенно бескорыстно. Как лошадьми. А вот если бы такая фемина встретила меня всего лет двадцать назад, то... Я не уверен, что река моей жизни не сменила бы русло.

Окончив обследование, Шоно укрыл пациентку одеялом, приложил свои пальцы к ее запястьям и замолчал. Через пару минут он задумчиво пожевал губами и произнес:

— Знаешь, в чем коварство фарфора? Он кажется холодным, даже когда раскален. Да. Передай мне, пожалуйста, иглы!

— Что ты думаешь о моем диагнозе? — спросил Мартин, протягивая ему черный кожаный футляр.

— Я думаю, что я все же не такой уж плохой учитель! — улыбнулся Шоно, вонзая длинные серебряные стельки в пресловутый фарфор. — Я ее правильно увидел. Но мне еще нужна какая-нибудь ее личная вещь.

— У нее с собой был узелок.

— Что в нем?

Мартин замялся:

— Э... Как-то не успел...

— Давай его сюда! Твоя щепетильность тебя когда-нибудь погубит.

Покончив с иглами, Шоно решительно распустил узел. Предмет, замотанный в несколько деталей женского туалета, оказался не книгой, как предполагала Берта. Это была фотография в деревянной рамке — семейный портрет: темноволосый мужчина с тонкими усиками и веселым, довольным лицом обнимает за плечи круглоликого мальчика в матроске, а светловолосая красивая женщина положила ладонь на предплечье мужчины. Мальчик и мужчина живым взглядом смотрят в объектив. Женщина почему-то глядит в сторону.

— Один? Не может быть! Весьма странно. Весьма, — тихонько пробормотал Шоно.

— Что странно? И что один? Я не в состоянии сейчас понимать твои ребусы! — потерял терпение Мартин.

— Прости. Это не мои ребусы. И я тоже пока что не понимаю. Будем надеяться, что эта прелестная особа вскоре сама сможет их нам разгадать. А я должен подумать. Ты знаешь, когда снять иголки. Меня проводит Докхи. Докхи, ты ведь меня проводишь?

* * *

С приходом к власти Берты дом делается регулярным, как римский военный лагерь — в нем налаживается быт, устанавливается порядок, заводится расписание.

Насильно освобожденный от большинства хозяйственных забот Мартин лишь время от времени отрягается в набеги на окрестные магазины да допускается к телу больной для проведения процедур, а большую часть дня бесцельно вышагивает по квартире, не в силах сосредоточиться и вернуться за письменный стол. Не без труда ему удается отвоевать право проводить у скорбного одра хотя бы часть ночи.

В третью вигилию, едва задремав, Мартин просыпается от ощущения пристального взгляда — то женщина, приподнявшись на локтях, ласково смотрит на него и улыбается. Но не успевает он открыть рот, как она произносит длинную фразу по-русски, и вновь возвращается в горячее забытие. Мартин выслушивает ее легкие и понимает, что кризис недалек. Ему мучительно хочется курить, и он, сам того не замечая, начинает покусывать самшитовый черенок стетоскопа вместо мундштука.

Наутро является Шоно. Он, как обычно, элегантен и жовиален и даже пытается заигрывать с Бертой, превосходящей его в объемах чуть не вдвое, и монументальной старуха к безграничному удивлению Мартина принимает эти ухаживания вполне благосклонно. После ее ухода Шоно сообщает:

— Беэр вернулся. Видел его вчера у Боденбурга. Он сказал, что зайдет нынче к тебе.

— И это все?

— Вокруг было слишком много лишних ушей. И чувствовалось, что он едва сдерживается, чтобы их не пообрывать. Похоже, он даже слегка перебрал.

— В это с трудом верится. Там бы не хватило пива.

— И тем не менее. Впрочем, я не дождался кульминации вечеринки. Что там с нашей спящей красавицей?

— Жду кризиса в ближайшее время. Хрипы стали тише.

— Что ж, прекрасно. Я помою руки и посмотрю ее, а ты пока приготовь мне, пожалуйста, немного того питья, что у тебя сносно получается.

— Какого именно?

— А разве у тебя прилично получается еще что-то, кроме кофе? — довольно рассмеявшись, Шоно хлопает Мартина по плечу и удаляется в ванную комнату.

Через четверть часа оба уже смакуют кофе по-бедински в кабинете. Аромат кардамона и арабески вишневого дыма от Мартиновой трубки создают ленивую атмосферу серала. Вдумчивый кейф прерывается долгим звонком в дверь. Чувствуется, что рука звонящего тяжела.

— Беэр пришел, — невозмутимо констатирует Шоно. — Впустим?

— Так ведь дверь ломает, — Мартин с сожалением отставляет тонкую чашку и встает. — Вот, уже начал.

Звонок и впрямь сменяется полицейским стуком. Мартин спешит отщелкнуть замок, и в дверном проеме показывается человек величиной с дверь. У него разбойничье лицо — черная борода, низкий лоб с выпуклыми надбровьями, одно из которых пересекает старый кривой шрам, умные и лукавые обезьяньи глаза — и совершенно не вяжущиеся с такой brutальной внешностью светлый шикарный костюм в микроскопическую полоску и светлая же фетровая шляпа итальянского фасона. В ярком шелковом галстуке — бриллиантовая заколка. Левая рука Беэра небрежно забинтована. Он нежно обнимает Мартина, потом отстраняет от себя и рассматривает:

— Ты спал? Я уже отчаялся и почти ушел! — говорит он по-английски.

— Твой прощальный стук вырвал нас с Шоно из нирваны. Мы курили опиум.

— А, этот старый мухомор уже тут? Кстати, я рассказывал тебе про то, как разломал опиумокурильню в Сингапуре?

— Рассказывал, и не раз. Проходи, пожалуйста!

— Подожди, я должен как следует поздороваться с Докхи! — Беэр сграбастывает пса в охапку, прижимает к груди и трется щекой об его складчатую морду: — Кто мой любимый песик? По кому я так скучал?

Продолжая сюсюкать и тискать в объятиях пятипудового кобеля, гость перемещается в кабинет:

— Здравствуй, Зеэв! — по-немецки приветствует он Шоно.

— Здравствуй, Баабгай! — отвечает тот и, окинув Беэра критическим взглядом, заявляет: — Ты теперь говоришь с американским акцентом и одеваешься, как сутенер из Шикаго.

— Зато ты по-прежнему говоришь с китайским, а в своем героке выглядишь промотавшимся гробовщиком из Моравии, — парирует Беэр и добавляет, усаживаясь в кресло и спуская собаку на пол: — А сутенер лучше гробовщика.

— Это почему еще? — интересуется Мартин.

— Потому что он наживает на радостях жизни!

— Ты вчера хорошо порезвился? — спрашивает Шоно.

— Какое там! Представляешь, меня пытались вышвырнуть из пивной!

— Кто были эти безумцы?

— Какие-то ублюдки, услышав мой акцент, завели «Gott strafe England»¹, а когда я потребовал от них извинений, набросились на меня вшестером. Или всемером — мне все никак не удавалось их пересчитать — они слишком мельтешили.

— И?

— Судя по состоянию моей руки, я сломал кому-то челюсть. Но в общем и целом было весело. Я бился и пел «March of the Cameron Men» как в пятнадцатом! — Беэр прикрывает глаза и гнусаво затягивает:

Nach cluinn sibh fuaim na pioba tighinn,
Gu h-ard than monadh 'us ghleann;
Agus cas cheuman eutrom a'saltair an fhraoich!
Si caismeachd Chloinn Camrain a th'ann!..²

¹ Господь, покарай Англию! (нем.).

² Чу! — вольнок разносится верез
В холмах и долах там и тут.
То, легко приминяя стопами вереск,
Камероновы парни идут. (гэльск.).

Докхи начинает очень похоже подвывать, а Мартин и Шоно покатываются со смеху. Вытерев слезы, Шоно говорит:

— Я не знал, что ты — шотландец. Но очень живо вообразил тебя в килте.

— Я из древнего клана МакКавеев. Кстати, почему ты вчера ретировался? Ты должен был прикрывать мне спину!

— Меня бы едва хватило, чтоб прикрыть твою задницу.

— Это самое главное! — хохочет Беэр, — Особенно для нас, шотландцев. Кстати, о задницах, — он разом серьезнеет. — Мы должны их уносить отсюда, и побыстрее. По моим сведениям из надежного источника война начнется очень скоро, и начнется она, вероятнее всего, в Данците. Вот здесь, — великан достает из внутреннего кармана пиджака толстый конверт и бросает его на стол, — визы и билеты на пароход до Нью-Йорка. На сборы вам остается чуть более сорока четырех часов. Вопросы?

Мартин и Шоно переглядываются.

— Что случилось? Вам мало времени? Вы собираетесь упаковывать майссенский сервиз на двести персон?

— Видишь ли, Беэр, — тихим голосом говорит Шоно, — дело всего в одной, но очень важной персоне, без которой мы не можем уехать. Пойдем!

Все трое подходят к дверям детской. Беэр заглядывает внутрь поверх голов. Минуту он с ошалелым видом рассматривает лежащую на кровати женщину, потом индейским шагом приближается и изучает ее лицо, низко склонясь над изголовьем, а затем скорее выдыхает, чем произносит, на чистом русском языке: «Шоб я сдох!..»

Глаза женщины неожиданно раскрываются. Взгляд быстро заостряется, обретает смысл.

— Вы кто? — шепотом спрашивает она по-русски.

Ответить на этот вопрос Беэру было непросто.

Мотя Берман, единственный сын успешного одесского коммерсанта, бывшего кантониста, отличившегося в Русско-Турецкую кампанию, утрюмого медведя Лазаря Бермана, появился на свет в 1890 году. Мать его, хрупкая и тихая красавица Рут из семьи богатого купца Якова Ломброзо-Картби, единственная любовь Лазаря, годившегося ей в отцы, утасла вскоре после родов. Берман-старший хотя и был завидным, несмотря на свои пятьдесят, женихом, о повторном браке слушать не желал, а отношение его к сыну было сложным, если не сказать суровым.

Мотя Берман, здоровяк и шалопай, которого из всех педагогов любил только преподаватель гимнастики, запоем читал приключенческую литературу и мечтал о военных подвигах, необитаемых островах и кладах, прогуливал уроки, предпочитая разноязычную портовую ругань латыни и греческому, а соленые брызги прибоя — библиотечной пыли. Он трижды избегал исключения из гимназии благодаря связям отца. За все свои похождения он бывал еженедельно порот, что, впрочем, по естественным причинам не прибавляло ему усидчивости — Мотя Берман был прирожденным авантюристом и эскапистом. В первый раз он убежал из дома в десять лет — помогать бурам в их праведной борьбе с английскими завоевателями — и был обнаружен таможенниками на греческой шхуне среди влажных тюков с контрабандой. Второй побег — в пятнадцать — Моте тоже не удался — его арестовали при попытке пробраться в эшелон, направлявшийся в Порт-Артур. В том же году за участие в уличных беспорядках Мотя угодил в каталажку и лишь за большие деньги был вызволен Лазарем, а после им же жестоко избит. К привычным поркам Мотя относился с пониманием, но вот ударов по лицу он отцу простить не смог и решил убежать навсегда.

Мотя Берман, прибавив себе года, нанялся матросом на торговое судно и в конце 1907 года оказался в Сиднее, имея при себе пятьдесят долларов и пару запасных штанов.

Мэттью Картби, два года отработав землекопом, водителем грузовика и кузнецом, натурализовался в Австралии в 1909 году и тотчас приступил к воплощению своей заветной мечты — он записался в ряды вооруженных сил. Первая мировая война застала его уже младшим лейтенантом.

Лейтенант Мэтт Картби, известный в 4-ой пехотной бригаде как «Mad Bear»¹, чудом выжил в Галлиполийской мясорубке и не получил Креста Виктории только потому, что среди оставшихся в живых соратников не набралось троих очевидцев его геройства. В марте 1916 Мэтт был тяжело ранен в голову и отправлен на лечение в Каир. Однажды госпиталь «Абассия», где он лежал, посетила пожилая леди Анна Изабелла Ноэль, 15-я баронесса Вентворт, внучка лорда Байрона. Ее сопровождала дальняя родственница — прелестная молодая девушка. Обратив внимание на кудрявого великана со свежим сабельным шрамом на лице, по странному стечению обстоятельств валявшегося на койке с томиком стихов ее дедушки — Мотя поэзии не любил, но больше в тот момент читать ему было решительно нечего, — дама заговорила с ним. Мотина биография привела ее в восторг. Самого же героя привела в восторженный трепет белокурая спутница баронессы, поглядывавшая на него с нескрываемым интересом. Через несколько дней, на протяжении которых Мотя изнывал от внезапной любви, юная леди Ада, изнывавшая от скуки и жары, вновь посетила его — на сей раз в одиночестве. Вскоре ее посещения стали регулярными, а через некоторое время, когда Мотю выписали, и он переместился до полного выздоровления в хостель для австралийских и новозеландских солдат, отношения с Адой переросли в бурный роман. Тогда же Моте впервые за все эти годы пришла

¹ Бешеный медведь (англ.).

в голову мысль о примирении с отцом. Но ответ на письмо он получил от душеприказчика, сбившегося с ног в поисках единственного наследника купца первой гильдии. Сделавшись в одночасье богачом, кавалер ордена «За выдающиеся заслуги» лейтенант Мэттью Берман-Картби — сохранение фамилии было единственным условием в завещании Лазаря — решился предложить Аде руку и сердце, но юная аристократка весело рассмеялась в ответ и цинично объяснила Моте, что он вполне устраивает ее в качестве любовника и ручного медведя. Узнав, что у возлюбленной есть в Лондоне жених, к которому она отбывает на днях, Мотя едва не лишился рассудка — он, как все медведи, был по природе однолюбом.

После отъезда Ады несчастный и неприкаянный Мотя целыми днями блуждал по окрестностям Каира с пустотой вместо мыслей и мельничным жерновом вместо сердца, и единственным его желанием было провалиться сквозь землю. И вот в один из этих дней, взбираясь по опасному склону на крутой холм в виду Каира, Мотя провалился-таки под землю — он упал в глубокую яму, накрытую сверху древними гнилыми досками, не выдержавшими его недюжинного веса. Обычный человек погиб бы сразу, сломав шею или раскроив себе череп. Счастливчик же Мотя отделался легкой контузией и кратковременной потерей сознания. Самое удивительное то, что сотрясение мозга невероятным образом прояснило и обострило его мыслительные процессы. Обнаружив себя лежащим на кипе каких-то пожелтевших свитков, Мотя моментально понял, что мечта его детства о сокровище неожиданным образом сбылась. При коротком свете спичек заворуженно разглядывал он диковинные знаки, не имевшие для него никакого смысла, и ощущал, как в нем рождается и крепнет новая страсть. Над грудой манускриптов он поклялся себе, что прочитает их все до единого.

Бестрепетно приняв извещение о почетной отставке по ранению, — война перестала быть делом его

жизни, — капитан Мэттью Берман-Картби покинул Каир. Его багаж составляли десять объемистых ящиков и один чемоданчик.

Через пять лет он защитил в Кембридже магистерскую диссертацию, а в двадцать третьем году в Иерусалиме у великого каббалиста рабби Иегуды Ашлага по прозвищу «Бааль сулям» появился новый ученик Матитьяху Берман, отличавшийся от прочих хасидов лишь гренадерской статью и выправкой. В 1926 году вместе с учителем он перебрался в Лондон.

В двадцать восьмом в библиотеке Берлинского университета доктор Мэттью Берман познакомился с доктором Вольфом Шёнэ. С тридцатого года Берман работал в Принстоне, время от времени наведываясь в Старый Свет.

И что же ответил этот человек на вопрос «Кто вы?», заданный едва очнувшейся незнакомкой?

Он ответил: «Я с Одессы».

* * *

— Я с Одессы, — на мягкий южный манер выговаривает Беэр.

Как ни странно, женщина вполне удовлетворяется этим ответом — тревожная напряженность в межбровье — в *аджне*, как сказали бы индусы, — тотчас исчезает, веки вздрагивают, точно крылья бабочки, и опускаются:

— Меня зовут Вера, — сообщает она и тут же погружается в спокойный сон.

— Заснула, — по-немецки констатирует очевидное Беэр. Некоторое время он продолжает стоять в прежней позе, потом разгибается и, обернувшись к друзьям, тихо восклицает по-английски:

— Скажите мне, что я тоже сплю! Или объясните мне, что все это значит!

— Ты не спишь, — серьезно отвечает Шоно, — а объяснить... — он разводит руками.

— По крайней мере подтвердите, что она действительно похожа на... — он осекается, бросает быстрый взгляд на Мартина и продолжает, проглотив имя: — ...как солнце сегодня — на солнце вчера, или я решу, что по мне плачет психиатрическая лечебница! Ведь не может же быть, чтобы Она пришла два раза за такой короткий срок!

— Никто не знает, чего не может быть. Но ты не ошибаешься, Беэр. Ошибся я, ну, и Мартин вслед за мной — тогда. Солнца вчера не было, было наше желание его увидеть. Впрочем, это ничего не меняет. И давайте продолжим в кабинете, не будем ей мешать!

Вернувшись в рабочую комнату Мартина, Беэр и Шоно устраиваются в креслах возле письменного стола, сам же хозяин присаживается на его краешек.

— Вера, Ве-ра, — перекатывает он во рту имя, как виноградину. — Так и есть, она настоящая¹. Я сразу почувствовал.

— Марти, по-русски «вера» означает *das Glaube*, — слегка виноватым тоном поправляет его Шоно.

— Пистис, — подтверждает Беэр.

— Тем более, — веско роняет Мартин и лезет в карман за трубкой. — Пистис София. Разумеется.

— И все же... — Беэр вытряхивает из серебряного футляра сигару, закуривает. — И все же я сомневаюсь. Шоно, это твоя епархия — разве мой скепсис, если можешь.

— Это будет проще, чем развеять дым твоей ужасной сигары.

— Ты ничего не понимаешь в табаке, это же «Montecristo» от Упманна! В детстве я обожал Дюма.

— Право, лучше бы ты обожал Конан Дойла! — ворчит Шоно.

Беэр подходит к окну и, приоткрыв одну створку, становится возле него:

¹ Vera — истинная (лат.).

— Итак, я весь — одно большое ухо.

— Да что тут скажешь? — пожимает плечами Шоно. — Я ошибся один раз, могу ошибиться и во второй. Но по всему выходит, что она — это Она. Зрачки, линии рук, пульсы, да все... Без единой натяжки.

— А «Шиур кома́»? — безнадежным голосом уточняет Беэр.

— Говорю же — все! — сварливо отвечает Шоно, и, помолчав немного, добавляет: — Есть только одна непонятная мне деталь...

— Какая? — в один голос спрашивают Мартин и Беэр.

— ...но она не ставит под сомнение основной вывод, поэтому до поры я о ней умолчу. Мне пока что не хватает информации, чтобы разобраться с этим. Подождем пробуждения Веры.

— Единственный вывод, который в состоянии сделать я, — бурчит Беэр, — это то, что мне нужно каким-то образом теперь добыть для нее паспорт и визу, иначе весь мой план эвакуации полетит к чертям собачьим, а другого у нас нет. Я, конечно, волшебник, но бюрократия — это не моя специализация. Марти, — вдруг безо всякого перехода подзывает он того к окну, — скажи, тебе знаком владелец этого серого «хорьха»?

— Нет. Я впервые его или такой же видел пару дней назад и даже случайно запомнил номер — но отсюда я не могу различить цифры. А зачем тебе? Хочешь приобрести?

— Не нравится он мне!.. — бормочет Беэр, разглядывая автомобиль из-за занавески.

— Не нравится — не покупай! А что именно тебе в нем так не нравится? — спрашивает Мартин, видя, что тот не шутит.

— Не знаю, может, показалось... Хотя нет, когда я входил в дом, он стоял на другой стороне улицы. А это странно, вы не находите?

— Может, он просто переехал на теневую сторону? Жарко сегодня, — предполагает Шоно, подойдя к окну.

— Может и просто. Но меня зацепило что-то, когда я мимо него проходил. Вот что? — Беэр страдальчески морщит лоб, отчего шрам на брови наливается кровью. — А, вспомнил! Машина недешевая, но не из тех, к которым полагается личный шофер, а парень, сидевший за рулем, на владельца не тянул.

— Чего он не делал? Я не понимаю твоего австралийского жаргона! — сердится Шоно.

— Извини, — Беэр переходит на немецкий. — По нему было непохоже, что он сидит в своем собственном автомобиле. Слишком напряженно. И одежда... Ладно, хотя, возможно, все это ничего не значит, уйти мне будет лучше черным ходом. Но прежде, чем я вас покину, скажите, откуда она взялась?

— Пришла, — Мартин разводит руками. — Она ничего не успела сказать, кроме того, что ищет своего дядю, который жил в этой квартире до меня. А потом потеряла сознание.

— Пришла, говоришь? Ясно, — Беэр достает из кармана авторучку с золотым пером, и пишет пять цифр на первом попавшемся листе бумаги: — Это мой номер. Я снял домик в Олифе, он в моем распоряжении до конца месяца. Вот уж не думал, что придется в нем жить. Телефонуйте мне в случае... в случае чего. Если не застанете меня, оставьте сообщение при слуге. Ну, я пойду, попытаюсь совершить невозможное. А вы берегите себя... И ее.

Беэр обнимается с Шоно и Мартином, целует в морщинистый лоб Докхи и на удивление беспшумно исчезает в сумраке черного хода.

* * *

— М-да... — протянул Михаэль, когда я окончил двухчасовое изложение сюжета. — Надо же. Лихо закручено. Не представляю, правда, как ты умудишься все это написать.

— Ну, ты же как-то написал свой пятитомник, — оптимистически отмахнулся я. — Понятное дело, придется попотеть мозгом. Корпеть и копать...

— Слушай! — закричал он неожиданно, и глаза его сделались еще более безумными, чем обычно. — Я знаю одну вещь, которая подтверждает твою теорию! Я сам видел ее в Иерусалимском музее!

— Что за вещь?

— Оссуарий с надписью. Первый век до нашей эры! Эту штуку откопали в семидесятые годы на Гиват Мивтар, кажется! У меня есть фотография, я тебе пришлю! — продолжал вскрикивать он.

— Да что за надпись-то там?

— Ой, я не помню точно, сам увидишь. Есть гипотеза, что это останки последнего царя Иудеи из рода Хасмонеев. Ну, или что-то в этом роде, — Михаэль успокоился так же внезапно, как перед этим взволновался. — Я этой темой никогда вплотную не занимался. А ты займись!

— Спасибо. Что с твоей работой?

— А я не сказал? Через неделю уезжаю в Принстон.

— Эх они тебя взяли в оборот!

— Кто — они?

— Розенкрейцеры. Всем известно, что в Принстоне у них главное прибежище. Они прознали про нашу книгу и вот заманивают тебя к себе, как Эйнштейна в тридцать пятом.

— Как прознали?

— А откуда они вообще все знают? Если б я это знал, я бы тоже был розенкрейцером.

— А почему тебя не заманивают?

— Бесполезно, я не поддамся.

— Почему?

— Я не верю в Америку.

— В смысле?

— Никакой Америки нет. Есть Атлантический Стикс, на том берегу которого — царство Аида. Новоприбывших там встречают суровые мертвые розенкрейцеры и сразу надевают им на

голову специальный шлем, транслирующий прекрасные картины жизни. За плохое поведение, а то и просто для профилактики, трансляцию временно отключают, и нет большей муки для души, чем эта. А тем, кого отпускают на побывку в мир живых, грозят, в случае чего, строжайшими мерами, начиная с пожизненного отключения от канала грез и заканчивая полным развоплощением по возвращении. О том же, что делают с невозвращенцами, думать вовсе не хочется.

— Так что ж мне, не ехать теперь? Билеты уж куплены.

— Да уж езжай. Может, чего нового разузнаешь. Будем общаться спиритически, через интернет.

Состояние, в котором пребывала Вера в эти дни, принято называть бесчувственным, хотя вернее было бы назвать его бессмысленным — очнувшись, она некоторое время отчетливо помнила свои ощущения и видения, наспех смётанные воспаленным мозгом из лоскутков памяти и обрывков яви безо всякой логики и порядка.

она бежала от красного-красного огня по краю жестяной крыши, оступившись, попадала ногой на ржавый водосточный желоб и срывалась вниз, но серый асфальт мягко пружинил и отбрасывал ее обратно в огонь, и она снова бежала и снова срывалась, пока асфальт не превращался в прозрачную озерную воду, и старушка с незнакомым лицом — Вера почему-то знала, что это была бабушка — учила ее плавать в озере, приговаривая на каком-то забавном языке, и Вера начинала смеяться и вдруг захлебывалась, а бабушкины руки становились жесткими и грубыми и не давали ей поднять голову из воды, а на берегу стояли Паша с Мишенькой в купальных трусиках, и оба весело махали ей руками, как тогда в Коктебеле, а вода становилась все горячее и горячее, закипала, и Вера видела из-под воды, как муж и сын уходят, взявшись за руки, руки, и снова руки вынимали ее из воды и укладывали на холодный стол и намазывали чем-то густым и липким, и Вера долго превращалась в бабочку, а потом порхала и порхала, куда какой-то добрый с виду старик не поймал и не пришил ее к пробковой пластинке, как была в то лето у Мишеньки, но Вере не было больно, а только скучно, а потом она висела за стеклом на стене, стекло было такое мутное, сквозь него пробивались солнечные лучи и нещадно припекали, а потом приползла огромная змея, и надо было отрубить ей голову топором, но топор почему-то все время поворачивался в ладони и ударял плашмя, а этот рыжий, а кто собственно он такой — она забыла, хотя знала, конечно — он спас ее, и она хотела поблагодарить его, но он только прижал прохладную

руку к ее губам, улыбнулся и покачал головой, а этот разбойник — из книжки с картинками, которую она читала Мишеньке — такой смешной, он был из Африки, а сказал, что из Одессы, а они были в Одессе в тридцать третьем, а в Африке не были, и тут Вера понимает, что очень устала и вот-вот заснет и не успеет познакомиться с разбойником, а Мишенька из-за этого ужасно расстроится, она поскорее называет свое имя и засыпает с чувством, что теперь-то все будет хорошо.

Пробудившись на следующее утро, а точнее — ближе к полудню, Вера сперва лежит с закрытыми глазами и прислушивается к собственным ощущениям и к тому, что происходит вокруг. Она чувствует, что у нее «сосет под ложечкой» — так говаривала бабушка, подразумевая голод, и что она настолько слаба, что не в силах даже приподнять веки. Снаружи же доносятся звуки вполне умиротворяющие: громкое тиканье часов, звяканье посуды, тихие скрипы паркета и птичье чириканье.

Вера собирается с силами, открывает глаза, долго изучает высокий лепной потолок и пытается вспомнить, где находится. Но память отказывается сотрудничать, а Вера не в том положении, чтобы оказывать на нее давление, поэтому продолжает осматриваться в надежде на какую-нибудь подсказку. Комната, в которой лежит Вера — судя по разноцветным каракулям, виднеющимся там и сям на голубеньких обоях — бывшая детская, бывшая — потому что в ней нет ни игрушек, ни книжек. Возле кровати — накрытая чем-то белым и кружевным тумбочка, уставленная склянками, и большое удобное кресло. На столике подле кресла — лампа в виде японской вазы с абажуром цвета *само*, и книга — разобрать, что написано на ее корешке, под таким углом невозможно. Перед собой Вера видит слегка приоткрытую застекленную дверь, в которой косо отражается большое окно с синими занавесками, очевидно находящееся за изголовьем кровати. В итоге —

ничего такого, за что память могла бы зацепиться. Есть хочется все сильнее, и Вера начинает злиться — на себя, на свою память и на того, кто бросил ее в таком унизительно беспомощном положении.

Но тут дверь открывается и в комнату заглядывает худощавый огневолосый мужчина с грустными глазами на веселом лице, и Вера вспоминает все, что было, и с тем ощущение, что все будет хорошо, исчезает, будто его затянул маленький черный смерч, раскрутившийся за грудиной.

— Доброе утро, Вера! — с улыбкой говорит рыжий по-немецки. — Меня зовут Мартин. Я, если помните, здесь живу, а вы, по всей видимости, упали на меня с неба, поскольку, как и положено падшим ангелам, не имели при себе никаких документов. Поэтому лечить вас мне пришлось самому. По счастью, я оказался врачом. И как врач настаиваю, чтобы вы по возможности сохраняли молчание в ближайшие сутки, хотя я, не скрою, безумно заинтригован вашим визитом.

У Веры возникает подозрение, что Мартин все время смотрит в точку над ее головой, поскольку ей никак не удается поймать его взгляд. Он же, откашлявшись, продолжает:

— Полагаю, что за время болезни вы порядком проголодались?

Вера кивает.

— Вот и прекрасно, сейчас мы вас накормим, — рыжий совершает нечто вроде полупоклона и пропадает за дверью.

Неожиданная мысль вгоняет Веру в краску — она поднимает одеяло и заглядывает под него. Как и следовало ожидать, на ней не платье, а длинная ночная рубашка с глухим воротом. «Это значит, он меня переодевал? И все такое?.. Боже, боже!» — она истерически хихикает. Но ответ на ее вопрос появляется тут же — в комнату входит суровая дородная старуха с подносом в руках:

— Я — Берта! — представляется она, — При тебе сижу. Ежели надо чего, мне говори.

Вера облегченно выдыхает, округлив глаза. Берта усмехается и, усевшись рядом, начинает кормить ее с ложечки куриным бульоном.

* * *

Следующим утром Вера проснулась рано и почувствовала в себе силы сесть — она спустила ноги с кровати и поглядела в окно. Солнечный свет, пробивая синие маркизы, делал комнату похожей на аквариум с морской водой. «Я — золотая рыбка, — подумала Вера и вздохнула: — Только вот желания исполнять не умею».

Берта, вероятно, хлопотала на кухне — из-за двери доносились постукивания и побрякивания, а в воздухе пахло чем-то кондитерским, напоминающим о детстве. Вера попробовала встать, и это ей удалось, хотя колени и ходили из стороны в сторону, как у новорожденного жеребенка. Она постояла немного, придерживаясь за спинку кровати и заново привыкая к вертикальности, от которой слегка повело голову, и несмело сделала первый шаг. Ночная рубашка была сильно велика Вере — наверное, это Бертина, догадалась она — и ей приходилось мелко семенить из опасения наступить на волочащийся подол и грохнуться с этакой высоты. Придержать же его на манер статс-дамы Вера не могла, поскольку руки ее были заняты балансированием. Осторожно перебирая босыми ногами, она вышла в коридор и остановилась в нерешительности — поди догадайся, где у них тут удобства! — наугад двинулась направо и за первой же дверью обнаружила искомое. Потом она долго стояла в ванной, разглядывая в зеркале свой бледный лик и досадуя, что нечем припудрить эту ужасную синеву под глазами — ведь не зубным же порошком, затем распустила толстые тугие

косы, придававшие ей гимназический вид, слегка взбила волосы и, повертев головой вправо-влево, сочла результат удовлетворительным. Из зеркала на нее смотрела томная особа с глубоким загадочным взором кинозвезды начала двадцатых. «А и ничего!» — сказала она вслух и продолжила путешествие по квартире.

Сквозь стекло третьей двери Вера увидела странное — хозяин дома, одетый в синюю шелковую пижаму, полуприкрыв глаза, исполнял какой-то удивительный плавный танец. Ноги рыжего осторожно выделявали замысловатые па, будто ступали не по паркету, а по скользким камням, торчащим из воды, а руки ласково гладили больших и маленьких невидимых зверей, стоявших вокруг. Вера напрягла слух, но ничего похожего на музыку не уловила. Устав стоять в одном положении, она переступила с ноги на ногу — половица издала громкий хриплый стон — рыжий замер на месте и посмотрел в сторону, откуда послышался звук. Вере почудилось, что в глазах его мелькнул страх. Она отворила дверь и вошла.

— Простите, мне показалось, что я напугала вас, — она развела в стороны руки в широких рукавах и виновато улыбнулась: — В этом я, наверное, выгляжу привидением?

По внезапно окаменевшему лицу Мартина она поняла, что сказала что-то не то, и попыталась исправить положение:

— Я заблудилась. И вдруг увидела, как вы тут танцуете без музыки. Это было так... необычно.

— Это не совсем танец, — глуховатым голосом ответил Мартин — он уже овладел собой и говорил вполне приветливо, — это — китайская гимнастика. А музыка есть, просто она звучит в голове у исполняющего упражнение. Я довольно долго прожил на Востоке и кое-чему там научился, — пояснил он, в ответ на удивленный взгляд Веры.

— Никогда не видала ничего подобного. Мне понравилось. Извините, что помешала вам!

— Это пустяки! — поспешил заверить ее Мартин. — А вот то, что вы фланируете по квартире, да еще босиком, это очень и очень плохо! Сейчас я отведу вас в постель, вы позавтракаете, а после я буду всецело в вашем распоряжении, и мы сможем болтать хоть целый день, если вам угодно.

Когда Вера была водворена Бертой в свою комнату и накормлена свежееиспеченными булочками с кофе, ее посетил переодевшийся в домашнюю куртку хозяин, а с ним явился некто в черном старомодном сюртуке — в таких ходили пожилые врачи во времена Вериного детства. Представленный Мартином как доктор Шоно, этот невысокий человек с непроницаемым азиатским лицом, гвардейской осанкой и иссиня-черными волосами поклонился от порога и, быстро приблизившись к Вере, взял ее левую кисть, словно для поцелуя. Но вместо того, чтобы целовать, он развернул руку ладонью вверх и стал диковинным способом мерить пульс — как будто играл на виолончели своими сильными сухими пальцами. Так он музицировал довольно долго, а потом попросил расстегнуть рубашку. Вера вопросительно посмотрела на Мартина. Тот мягко пояснил:

— Вера, доктор Шоно — врач, он вместе со мной, а вернее — я вместе с ним, лечил вас все это время. Он хочет выслушать ваши легкие. Я отвернусь, — и отвернулся.

— К тому же, девочка моя, — неожиданно сказал азиат по-русски без малейшего акцента, — я старенький старичок. Меня можно уже не стесняться.

— Какой же вы старичок? — изумилась Вера, — Вам и пятидесяти не дашь!

— Тем не менее мне семьдесят лет! — с видимой гордостью и не без кокетства заявил Шоно. — Ну, если честно, то шестьдесят девять с половиной. Только не говорите об этом Мартину — ему я сказал, что мне восемьдесят.

Вера рассмеялась и обнажилась без смущения.

Моложавый старик сперва приник ухом к ее спине и потребовал, чтобы она перестала хихикать. Потом приложил ухо к груди. Через минуту разрешил ей одеться.

— Мартин, можешь повернуться, — по-немецки сказал он. — Что ж, я доволен результатами наших трудов. Все чисто. Впрочем, это было слышно и на расстоянии.

— Что?! — возмущенно вскричала Вера, — Ах, вы!..

— Простите старика. Не смог отказать себе в удовольствии.

— Шоно шутит, — извиняющимся тоном, хоть и улыбаясь, уверил ее Мартин. — У него своеобразный юмор.

— Уфф! — не придумав, что ответить, фыркнула она.

— А теперь, мадмуазель, — Шоно сделался серьезен, — мы будем рады узнать вашу историю. Согласитесь, мы это заслужили.

Он остался сидеть на кровати, только отодвинулся к изножью, чтобы опереться на спинку, а Мартин устроился в кресле. При этом Вера не могла видеть обоих собеседников одновременно.

— Это допрос? — насторожилась она.

— Что вы, что вы! — замахал руками Шоно. — Просто мы с Марти обожаем интересные истории, а интересная история в наше время — это такая редкость! — Он горестно покачал головой. — К тому же, чем больше мы будем знать о вас, тем лучше сможем вам помочь, верно?

— Ваша правда, — согласилась Вера. — С чего же мне начать?

— У нас на Востоке говорят: «Когда не знаешь, с чего начать, начни с самого начала!» И, прошу вас, побольше подробностей! Детали — вот что делает истории интересными! Правда, Марти?

— Я не слышал этой поговорки. Думаю, что ты ее только что выдумал. Как обычно.

— Тогда это делает честь моей скромности — иначе зачем бы я стал выдавать свою мудрость за чужую? Итак, мадмуазель?

— Я — мадам, — поправила его Вера, — а история моя, боюсь, вас разочарует. Но слушайте. С начала, так с начала.

* * *

— Я родилась в Вильно в тысяча девятьсот... — Вера запинаясь на миг, и с вызовом в голосе договаривает: — ...восьмом году.

— Ни за что бы не сказал, что вам больше двадцати четырех! — галантно восклицает Шоно.

— Квиты. Жили мы на Погулянке, на углу Александровского бульвара, напротив лютеранского кладбища. Я достаточно подробно рассказываю?

— О, да! Продолжайте, пожалуйста!

— Мы — это отец, мать, Катя, Гриша, Ося и я. Гриша умер совсем маленьким. Катя была старше меня. Ну, то есть, она и сейчас старше, конечно. Папу звали Исаак Розенберг, он служил инженером на железной дороге. Он был из бедной семьи, сын ремесленника, но сумел пробиться и поступить в Технологический институт в Санкт-Петербурге. Оттуда его выгнали за участие в студенческих волнениях, и ему пришлось доучиваться в Германии, в Карлсруэ. Там он познакомился с мамой — она была из очень богатой еврейской семьи, училась в консерватории по классу фортепиано, но бросила все и уехала за ним в Россию. Отцу не разрешено было жить в центре страны из-за его неблагонадежности, и он устроился на работу в Вильно. А вскоре туда перебрался его младший брат.

Мама поначалу давала частные уроки музыки, но после рождения детей занималась только с нами...

То время сохранилось в моей голове набором раскрашенных старых фотографий. Папин вицмундир с блестящими пуговицами, который он надевал по праздникам, и мамино концертное платье с турнюром. Зеленые церковные купола с золотыми крестами, видные из угловой комнаты. Длинная тенистая улица, спускающаяся к вокзалу — там была папина служба, на которую он в любую погоду ходил пешком — для мотиона. Мы с Осипкой были уверены, что на службе папа водит паровозы — это казалось нам высшей точкой железнодорожной карьеры. Узнав, чем он занимается в самом деле, мы за него ужасно обиделись. Тогда он рассказал, что когда мне было всего полгода, Пилсудский со своей бандой подорвал и ограбил поезд, в котором папа ехал с *инспекцией*. Папа не испугался и даже высунулся в окно, потому что подумал — взорвался паровой котел, но тут загремели выстрелы и засвистели пули, и стало понятно, что — налет. Рассказ немного примирил нас с отцовской профессией, а Осипка долгое время изводил бумагу, рисуя один и тот же сюжет: «Папа съ инспекцией стрѣляютъ въ Пилсудкава». Потом — война. Папу мобилизовали — армия остро нуждалась в инженерах. В последний раз видела его в зеленой суконной гимнастерке со скучными капитанскими погонами без звездочек — такого молодого и незнакомого — мы никогда не видели его в одних усах с гладко выбритым подбородком. Он показывал нам свою саблю и складную походную кровать. Осипка утащил из прихожей саблю в ножнах и стал скакать с нею по кровати, козлы сложились и прищепили ему руку — и все бегали за ним по дому со льдом в полотенце.

А летом пятнадцатого — *эвакуация*. Эвакуацию мы с Осипкой видели своими глазами — во время прогулки с няней Вандой — огромный черный памятник человеку, который непонятно и смешно назывался

графом муравьев, болтался в пяти сажнях над землей, подцепленный канатами за шею и ноги к деревянным лесам. Городовой был зол и курил папиросу прямо на посту — это было неслыханно. А на следующий день на площади уже ничего не было — кроме постамента. А еще приказчики из лавки ритуальных товаров купца Чугунова грузили на подводу иконы. В небе все чаще *барражировали* аэропланы, но рассмотреть их в мамин театральный бинокль нам не удавалось, а однажды вдоль всей Большой Погулянки долго плыл похожий на раздутого леща дирижабль. Кухарка Михалина с забинтованным пальцем жаловалась, что на рынке все страшно кусается, и мы воображали себе взбесившиеся по случаю эвакуации овощи. Брат отца решил не покидать Вильно — у него было свое дело и жена на сносях. Бабушка — папина мама — осталась с ним. А мы бежали от немцев. Зачем моей матери понадобилось спастись от соотечественников, не знаю до сих пор — скорее всего, ей попросту был тесен провинциальный губернский город и хотелось в столицу, подальше от дирижаблей, кусающихся овощей и прочих ужасов войны. Поезда в те дни приходилось брать штурмом. Нам повезло — какой-то офицер, которому очень понравилась мама — а она была потрясающе красива — пригласил ее в свое купе. Он, наверное, не предполагал, что обольстительная красотка поедет с тремя маленькими детьми. Помню его начищенные до зеркального блеска сапоги, приятный запах одеколона и противный — спиртного, а лица не помню, разве что усики, похожие на стрелки часов. Случайно выглянув в коридор, увидела, как он за какую-то провинность хлестал перчатками по физиономии своего денщика — а может, просто срывал злость из-за неудавшегося флирта.

Потом был Петроград — нас как детей беженцев определили в разные школы — на казенный кошт. Я попала в первый класс Демидовской гимназии. Это было лучшее женское учебное заведение города — после Смольного института. Мне повезло — там хорошо

учили иностранным языкам — некоторые предметы преподавали даже университетские специалисты. Подруг у меня в классе было две — Катя Смолянинова и Маня Рубин — до самого окончания гимназии.

В 1916 году мы узнали страшное — папа пропал без вести. Потом была революция. За ней — другая. Помню — зимой было так холодно, что в дортуарах на стенах утром выступал иней, а на занятиях мы сидели в пальто и перчатках. На Рождество впервые не было елки и мандаринов. Летом мы каким-то чудом выезжали на дачу под Лугу и там подкармливались крыжовником и зелеными лесными орехами.

Странно — о школьных годах, пришедшихся на лихие времена, мне почти нечего вспомнить — кроме книг, в которых искала убежища от грязи и убожества внешнего мира. Нашим — Катиным, Маниным и моим — тайным спасительным средством была тонкая — позже она разбухла до размеров гроссбуха — «зеленая тетрадь» — своего рода общий дневник-цитатник. Каждая из нас получала тетрадь на неделю и должна была ежедневно заносить туда лучшее из прочитанного — в ход шло все: афоризмы, максимы, обширные выдержки из романов, стихи и — непременно — собственные умные мысли. Чтобы не ударить в грязь лицом перед подругами, приходилось еженедельно перелопачивать тысячи страниц на всех известных нам живых и мертвых языках — сперва в школьной, а позже и в университетской библиотеке.

Еще более странно было после всего этого выйти в окружающий мир — с тонной заемной мудрости в голове и с абсолютным незнанием жизни — этакой полной академической дурой. Впрочем, реальность быстро взяла свое.

— В двадцать четвертом году я закончила школу и поступила в Институт иностранных языков. Тогда же нашу маму отыскал папин старый друг, Сергей Александрович, с которым они сообща занимались подпольной деятельностью до революции и вместе были исключены из института. При советской власти он стал большим начальником в Народном комиссариате путей сообщения. Сергей Александрович взял нашу семью под свое покровительство. Его сын, Павел, незадолго до этого окончивший Петроградский технологический институт, начал за мной ухаживать, это при том, что за него хотел выдать свою вторую дочь тещь Сталина, старый большевик Аллилуев. Но Паша сделал предложение мне, и я пошла за него. Он был очень талантливым изобретателем и вскоре стал получать большие деньги. В двадцать девятом у нас родился сын, Миша. Паша стал главным инженером судостроительного завода, получил большую квартиру. У нас был свой автомобиль — «форд». У детей — бонна, немка, настоящий бильярд в комнате. Я работала переводчиком — тогда в Советский Союз приезжало работать много инженеров из Германии, а немецкий язык благодаря маме для меня такой же родной, как и русский. Плюс английский, французский, итальянский. Мы очень хорошо жили в те годы. Завели собаку, фокстерьера. Его звали... — Вера покосилась на Мартина, — его звали Мартын.

— Как-как? Мартын? — брови рыжего поднялись домиком.

Шоно хрюкнул.

— Это то же самое, что и Мартин, только по-русски, — пояснил он.

— Ни один из моих знакомых немцев не был способен произнести звук «ы»! — удивилась Вера.

— Марти может, я сам его научил. Правда, на это ушло десять лет. Так что же ваш пес?

— Он стал лаять по ночам. Просто надрывался. Мы сначала не понимали, в чем дело. А потом узнали, что это из-за ночных арестов. В доме жило много тех, кто стал почему-то неуютен режиму. Тогда же начались наши несчастья. В тридцать восьмом умерла мама — она переписывалась с родней, а ее обвинили в шпионаже в пользу Германии, и в тюрьме у нее случился разрыв сердца. А в декабре Мишенька заболел крупом... — Вера замолчала, отвернулась к стене.

— Вера, если вам так тяжело вспоминать, давайте покончим с этим теперь же! — предложил Мартин взволнованно.

— Ничего, я уже это пережила... — Вера подавила вздох. — Не успели мы его похоронить, как забрали Пашу. Он имел несчастье часто принимать в гостях немецких сотрудников. Предвидя и мой арест, Паша велел мне обратиться за помощью к нашему старому приятелю, капитану заграничавания. Этот капитан был в меня безответно влюблен и однажды, будучи в подпитии, позволил себе лишнее, а муж отказал ему от дома. «Но теперь, — сказал он мне, — это уже не важно. Только Владимир может помочь тебе бежать». Паше по статье за вредительство дали десять лет без права переписки.

— Что это значит? — тихо спросил Мартин.

— Это значит — расстрел, — ответил за Веру Шоно, — Ты же помнишь, в прошлом году я выводил в Китай остатки своей сибирской родни...

— Да, это значит — расстрел, — подтвердила Вера бесцветным голосом. — Я собрала чемоданчик и пошла к капитану. Он, сильно рискуя, вывез меня на своем пароходе, в резервуаре с углем. Так я попала в Данциг, где рассчитывала найти дядю, от которого уже два года не имела никаких вестей. Чемодан с вещами и ценностями пришлось отдать одному таможеннику в порту, чтобы он тайно провез меня через кордон. Вот, собственно, и все. Я же предупреждала, что мою историю интересной не назовешь. А теперь я бы хотела отдохнуть. Извините, господа.

Вера продремала до сумерек и проснулась от слабого скрипа. Сквозь ресницы она увидела давешнего азиата, стоящего в дверях, и решила было притвориться спящей, но тот заговорил по-русски:

— Проснулись? Вот и славненько — перед уходом я хотел вам дать кой-какие медицинские рекомендации.

— А как вы узнали, что я не сплю? — поинтересовалась Вера, открывая глаза.

— Услышал, что у вас дыхание изменилось. Кстати, первая моя рекомендация касается именно дыхания. Вам надо научиться правильно дышать.

— Как это — правильно?

— Вы дышите грудью, а надобно — животом.

— Я не знаю, как у вас, а у меня там легких нет! — заявила Вера.

— А вы забудьте все, что знаете из анатомии и физиологии! Просто представьте себе, что внутри вас — одна большая полость, и попробуйте всю ее заполнить воздухом. Для этого сядьте поудобнее, расслабьтесь...

— Я и так слаба дальше некуда, а внутри меня — очень маленькая полость, — проворчала Вера, усаживаясь в постели.

— За-ме-ча-тель-но! — пропел Шоно, — А теперь вообразите четыре времени года как жизненный цикл: весна — рождение — первый отчаянный вздох, до pupa, до самого доньшка, потом — лето — юность — страсть, переполненность энергией, жизнь на грани возможностей, затем осень — зрелость — когда уже хочется выдохнуть все, что накопилось и накипело, а после — зима — старость — желание покоя и последнее издыхание. Положите руку вот сюда, и попробуйте! Вдыхаете носом, выдыхаете ртом. Живот выпячивается и втягивается до предела! Сильнее!

— Я не могу сильнее! У меня слишком маленький живот! — пожаловалась Вера, и горделиво добавила: — Грудью у меня бы получилось лучше. И вообще, это

какой-то неженский способ. Сколько мне еще так мучиться?

— Это только поначалу трудно, пока не войдет в привычку. А потом начнете получать удовольствие. Правильное дыхание — основа здоровья и долголетия.

— А кому оно нужно — долголетие? — помрачнев, спросила Вера.

— Тем не менее, у вас впереди долгая жизнь. И, полагаю, вам еще есть зачем жить.

— Почему вы знаете, что долгая? И что есть зачем?

— Это профессиональный секрет. У нас ведь у всех есть свои маленькие секреты, верно? — сказал Шоно, понизив голос, и подмигнул. — Что же до дыхания, то я настоятельно советую попрактиковаться. А еще сложите руки вот так, — он переpleл пальцы рук, отставив большой палец правой и обхватив его кольцом из большого и указательного левой, — и подышите как следует хотя бы четверть часика. Эта мудра называется «поднимающей». Очень хорошо помогает при легочных заболеваниях.

— Мудра? — переспросила Вера.

— Мудрами у йогов называются лечебные жесты. Мартин покажет вам несколько других. Сейчас пришлю его к вам.

— Погодите! Я вот теперь при каждом выдохе должна представлять все это... про смерть? Это же кошмар какой-то!

— Напротив, постоянное размышление о смерти низводит ее восприятие до нормального обыденного уровня. Ведь что такое смерть? Всего лишь переход в новое воплощение.

— Вы что, верите в метемпсихоз? Вы же врач!

— Во-первых, я врач тибетской медицины. Про Петра Бадмаева слыхали? Который самого Николая Саньча Романова пользовал? Вот, как он, только лучше, хе-хе. А во-вторых, я — буддист. Вы бы ещё спросили электрика, верит ли он в электричество! — Шоно разразился театральным ухающим смехом.

— Ну, вы сравнили! — возмутилась Вера. — Электричество существует, подтверждается всякими опытами, оно работает, наконец! А душа? Что это вообще такое?

— Душа тоже подтверждается и работает. А что она такое?.. Вы знаете, что такое электричество?

— Ну, я не специалист... — замялась Вера. — Но есть, наверняка, какое-нибудь определение! Как бы там ни было, я точно знаю, что электричество существует! Меня им било, вот!

— А я вот специалист по реинкарнациям. И точно знаю, что переселение душ не менее реально, чем этот ваш электрический ток.

— Это, видимо, какое-то особенно тайное знание! — саркастически усмехнулась Вера.

— Не бывает никакого тайного знания! — серьезно и даже торжественно сказал Шоно. — Тайна и знание в принципе несовместны, как гений и злодейство. Там где начинается одно, кончается другое. Большая часть того, что принято называть тайным знанием, валяется под ногами, как камни, надо только не лениться поднять. Иногда нужно перевернуть несколько камешков, реже — несколько валунов, и уж совсем изредка приходится вооружаться лопатой и киркой, чтобы докопаться до основания огромной скалы. Это называется наукой и к тайнам не имеет никакого отношения.

— Как-то вы все абстрактно говорите. Моему слабому женскому разумению без примеров недоступно.

— Извольте! Человечество накопило огромный опыт в отношении здорового образа жизни, и что же? Многие ли учатся на нем? Отнюдь! Вот и вы отказываетесь от правильного дыхания! — Шоно улыбнулся, похлопал Веру по руке и встал, намереваясь уходить.

— Я не отказываюсь, просто мне сейчас и обычным способом дышать трудно.

— Это ничего, это скоро пройдет. Что ж, мне пора. Сейчас меня сменит Мартин, с ним вам будет повеселее, чем с таким нудным стариканом, как я.

— Одну секунду! — удержала его Вера. — Вы не сказали мне, что же такое, по-вашему, тайна?

— Тайна — это цветок, растущий в идеальном мире, скажем, на Древе Жизни. Иногда он превращается в плод, который, созревши, роняет свои семена в мир материальный. И тогда в нашем мире может произрасти двойник или, вернее, отражение тайны. Но для этого необходимо сочетание многих условий — как и для обычных земных растений. Так вот, если этот двойник прорастает, то он рано или поздно превращается в знание для тех, в чей сад угодил. Но источаемый им аромат притягивает не только садовников, но и тех, кто жаждет пожрать оный плод. Эти последние обладают поразительно чутким нюхом, но интересует их не знание, а единственно удовлетворение некоей страсти, вроде властолюбия или похоти. Понимаю, что сия метафора требует комментария, но объяснять на бегу невозможно, а я и вправду должен откланяться. Но обещаю, что мы еще с вами вернемся к этой теме, — так сказал Шоно, учтиво поклонился и вышел, оставив Веру в глубокой задумчивости.

* * *

Вера слышит, как Шоно и Мартин обмениваются в коридоре парой коротких фраз на неведомом, похожем на кашель, наречии, а через минуту раздается деликатный стук в дверь. Вера напускает на себя вид скучающей одалиски и грудным голосом отвечает:

— Входите!

Появляется Мартин, смахивающий на усталого рыжего клоуна, только что смывшего с лица грим. Его глаза совершают ряд трудноуловимых движений, словно следя за полетом мухи, и замирают, вперившись в точку над Вериной головой. Вера невольно поднимает взгляд, пытаясь понять, куда он смотрит, но не обнаружив ничего, достойного внимания, интересуется:

— У меня там нимб? Или рога?

Мартин заметно розовеет и переводит взор на подушку.

— Пророка Моисея часто изображали с рогами на голове, — сообщает он неожиданно, помолчав немного, — а все потому, что по-древнееврейски «рога» и «лучи» называются одним словом — *карна́им*. Вот и получились рога мудрости, вместо лучей.

Вера весело хохочет:

— А я-то думала, что ему жена изменяла! Кстати, у него была жена, да? А как ее звали?

— Ципора, то есть птица. Но интересно, что это имя можно перевести и как «лучезарная». Только я не думаю, что она изменяла мужу. Хотя бы из чувства благодарности. Он ведь был ее избавителем.

— О, вы не знаете женщин! Мы такие змеи! — продолжает резвиться Вера, — А от чего он ее избавил?

— Видите ли, э-э... это, собственно, только гипотеза... — смущенно мнетя Мартин, — К тому же она довольно пикантного свойства...

— Давайте, выкладывайте вашу пикантную гипотезу! Я уже давно не школьница! — Вера делает большие глаза, подпирает подбородок кулачками и становится похожа как раз на любопытную школьницу.

— Что ж... Я вас предупредил. Дело в том, что в те времена была широко распространена религиозная проституция.

— Как это — религиозная? — изумляется Вера.

— Это явление подробно описано еще Геродотом. В Вавилоне каждая женщина должна была раз в жизни прийти к храму Афродиты, или Милитты по-ассирийски, и там отдаться во имя богини любому пожелавшему этого чужеземцу. Плата же отходила в пользу храма. А кроме такой одноразовой, существовала и постоянная религиозная проституция — девушки, посвященные богине любви Иштар, то есть Астарте, жили при храме на полном содержании, а их дети воспитывались в царском дворце. Это было весьма почтенное

занятие. Во времена Моисея женщины служили богам и богиням таким образом практически повсеместно — и в Египте, и на Кипре, и в Персии, и в Индии. В Земле Израиля хиеродулы, как правило, сидели у источников в оазисах, через которые проходили все караванные пути. Таких... э-э... служительниц культа называли хозайками колодца — *baaláth beér*.

Вера прыскает в кулак.

— Что вас так рассмешило? — удивляется Мартин.

— Извините, просто по-русски грубое название проститутки очень похоже на это вот, что вы сказали. Продолжайте, прошу вас!

— Ну, это-то как раз не странно. Да, на чем я?.. А! Так вот, Ципора была дочерью главного священника, человека бесспорно богатого. И тем не менее Моисей — которого все принимают за египтянина, то есть чужестранца — встречает ее возле колодца. Спрашивается, чем занималась там девушка из богатой религиозной семьи? Навряд ли она пришла туда за водой. Священник должен был бы иметь для этого слуг, согласитесь! Позднейшие предания объясняют это дочерним усердием, оно и понятно — иудаизм со времен царя Иосии крайне негативно относился к блуду во славу Ашер, сиречь Астарты.

— А в чем же заключалось избавление?

— Моисей прибыл к источнику в тот момент, когда Ципору и ее шестерых сестер обижали семеро пастухов — здесь, по всей видимости, имеет место гиперболоа, вполне обычная для древних текстов. Скорее всего, и она была там одна, и пастух, который имел на нее виды вполне определенного толка, тоже. Трудно поверить в то, что Моисей справился бы в одиночку с семерыми мужчинами, хотя... *qui sat!*? Ну, а потом он взял Ципору в жены, избавив таким образом от ее... э-э... жертвенной деятельности.

— Потрясающе! — восклицает Вера и аплодирует. — Откуда вы только все это знаете?

¹ Кто знает? (*лат.*).

— Ну, это просто входит в сферу моих интересов... — помявшись мгновение, отвечает Мартин.

— Какие у вас интересы интересные! А что еще в нее входит? Я же про вас ничего не знаю, а вы про меня — все! А это нечестно! Расскажите мне про себя! Пожалуйста!

— Право же, я совсем про себя рассказывать не умею! К тому же это вам будет скучно!

— А вот и ни капельки не верю! Ну, пожа-алуйста! — и Вера умоляюще складывает руки на груди.

— Ох, ладно. С чего же начать?

— Как говорит ваш таинственный друг с рентгеновским взглядом, начните с начала! С самого рождения!

— С какого из них? — улыбается Марин и в первый раз глядит Вере прямо в глаза.

* * *

— Говорят, что я родился в сентябре 1899 года в Саксонии-Анхальт, в окрестностях Магдебурга. Во всяком случае, меня там нашли в одном из приютов, когда мне было всего три года.

— А кто говорит?

— Шоно. Только не спрашивайте, как он это вычислил — я не посвящен в тонкости его мастерства. Но ему можно верить — на моей памяти он ошибался всего единожды, да и то потому, что не ошибиться было практически невозможно.

— О, я охотно верю! Этот человек... В его присутствии мне отчего-то делается жутковато. Он похож на недоброго колдуна, уж простите.

— Я знаю Шоно всю мою жизнь, поэтому привык к его э-э... экстравагантности, но могу вас понять. В самом нежном возрасте я усвоил, что пытаться обмануть его бесполезно. Что же до вашего сравнения, то оно верно лишь отчасти — Шоно действительно можно назвать колдуном, да только я не припомню случая, чтобы он причинил кому-нибудь зло.

— Ну, хорошо, может, я действительно к нему несправедлива. Но он меня пугает. Бог с ним. Продолжайте, прошу вас! Вы сказали, что вас нашли. Кто?

— У меня в памяти запечатлелась картина — правда я не уверен, что это не ложная память, основанная на позднейших впечатлениях — двое мужчин в сюртуках, молодой и пожилой, сидящих в небольшом кабинете. У пожилого — на самом-то деле ему тогда было всего сорок пять лет — была большая квадратная борода, длинные закрученные кверху усы и добрые лукавые глаза. Но больше всего мне понравились его волосы, уложенные так, что напоминали те самые рожки на голове Моисея. Этот человек посадил меня к себе на колени, но пока он беседовал с директором приюта, я сполз на пол и развязал ему шнурки на ботинках. А второй человек, у которого не было вообще никакой растительности на голове, кроме густых бровей, сделал мне страшные глаза, и я спрятался от него под стул и оттуда показал язык. То было наше первое знакомство с Шоно. А бородатый оказался известным писателем-драматургом Германном Зудерманном.

— Ого!

— О, вам знакомо это имя?

— Еще бы! Разумеется, мы изучали Зудерманна в институте. И пьесы его я видела — «Честь» и «Служанку».

— Понятно. Но я-то, разумеется, узнал о том, к какому выдающемуся человеку в руки попал, значительно позже. Тогда же я заинтересовался, отчего он принял во мне такое участие. Он объяснил, что хорошо знал моих родителей, а после их гибели при загадочных обстоятельствах приложил все усилия, чтобы меня найти. Как выяснилось в дальнейшем, это было полуправдой.

— В каком смысле?

— Долгая история. Об этом я расскажу как-нибудь в другой раз. Как бы то ни было, мне очень повезло — мой опекун был человеком замечательной доброты

и глубокого ума, и к тому же весьма обеспеченным. У него была любимая дочь Хеде, но и ко мне он относился, как к сыну. Так что у меня никогда не было матери, но зато было два отца.

— Второй — это Шоно?

— Именно. Правда, он часто уезжал и подолгу отсутствовал — и тогда я безвыездно жил у Германна в его замке в Бланкензее, к югу от Берлина. Получал домашнее образование, учился рисованию и музыке, постепенно превращался в книжного червя — библиотека в доме была превосходная. Когда же Шоно возвращался из своих вояжей, он забирал меня к себе, в свою берлинскую квартиру, и проводил со мной очень много времени, в отличие от вечно занятого светского льва Германна. Когда мне сравнялось шестнадцать, я поступил в Гейдельбергский университет, на медицинский.

— А отчего не в Берлинский?

— Мне тогда ужасно хотелось глотнуть свободы и расширить горизонты, да и студенческие традиции Гейдельберга богаче. К тому же милитаристский угар там ощущался меньше, чем в столице, хотя и не намного, конечно. Впрочем, все каникулы я проводил в Берлине или в Бланкензее, и это было незабываемо. У Германна часто бывали в гостях разные замечательные люди. Например, Эйнштейн, который снимал дом неподалеку от Бланкензее, или министр иностранных дел Ратенау...

— Это тот, которого убили за мирный договор с Россией?

— И за это в частности. Германн очень тяжело переживал... Да и с ним самим тоже было безумно интересно разговаривать — он был глубоким человеком с очень славным чувством юмора.

— Когда он умер?

— В двадцать восьмом. У него случился удар, началась пневмония. Я незадолго перед этим получил приглашение на работу в Геттинген и перебрался туда с женой. Когда я приехал в Берлин, было уже поздно...

- Вы сказали — с женой? Где она теперь?
- Ее нет. Она скончалась при... родах в двадцать девятом. А я не смог ее спасти.
- Ох, простите!
- Не страшно.
- Я знаю по себе, чего стоит это «не страшно». Как вы это все пережили?
- С трудом. Если б не Шоно... Я тогда прекратил заниматься медициной, вообще всем. Тупо сидел на пепелище и заживо истлевал. Он просто силком выдернул меня с того света и утащил с собой в Тибет.
- Вы долго там пробыли?
- Почти десять лет. Успел совершенно отвыкнуть от Европы. В Тибете ведь все иначе. И время, и пространство.
- А чем вы теперь занимаетесь? Вернулись в медицину?
- Нет, я не практикую больше. Ваш случай был исключением. Я заканчиваю книгу.
- Художественную?
- Научную. По музыкальной семиологии, хотя такой науки пока что и не существует.
- У вашей книги уже есть название?
- Рабочее. «Сегментация мелоса в древних нотациях Востока и Запада».
- О, Господи! Я только сейчас поняла, насколько безобразно относилась к занятиям по теории музыки! Нич-чего не поняла!
- Уверяю вас, что название — это самое сложное, что есть в моей работе. Если пожелаете, я вам как-нибудь объясню в общих чертах.
- Обязательно пожелая! Простите за нескромный вопрос, а чем вы зарабатываете на жизнь?
- Беэр выделил мне стипендию. Он сказал, что всю жизнь мечтал побыть меценатом. К тому же он организовал договор об издании книги в Принстонском университете.
- А кто такой Беэр?

— Наш с Шоно друг. Вы с ним познакомились первым делом, как очнулись. Помните — чернородый великан со шрамом?

— Ой, я была уверена, что он мне приснился! Я приняла его за разбойника из детской книжки!

— Вы были недалеко от истины. Он такой разбойник!.. Сейчас он, наверное, где-нибудь на большой дороге добывает для вас документы, без которых мы вас даже на прогулку вывести не можем.

— Думаете, у него получится?

— Не сомневаюсь. У него всегда все получается. Он обещал зайти завтра. А теперь вам надо отдохнуть, вы устали, у вас слипаются глаза.

— Вы меня гипнотизируете? Я не поддаюсь...

* * *

Под утро ей приснилось что-то приятное, и она пробудилась с улыбкой.

Она смутно помнила свое сновидение, однако в нем точно фигурировал Мартин, играющий на рояле. Вера попыталась восстановить еще какие-нибудь подробности и, когда ей это удалось, почувствовала, как заливается краской. Она резко села в кровати и схватилась за горящие щеки. «Ой-ой-ой, что ж это с тобой, девочка, такое делается? — начала выговаривать себе мысленно, — Даже думать не смей об этом! Он, конечно, ужасно симпатичный и милый и к тому же, может быть, даже спас от тебя смерти, ну и что с того? Что с того, что он добрый и умный? Ты — сука, волчица, и должна вести себя соответственно. А иначе... Ты знаешь, что будет иначе... А этого ты не имеешь права допустить. Ты и так слишком много потеряла. И нечего тут».

Отчитав себя хорошенько, Вера встала и поразилась ощущению легкости в теле. Она накинула халат и отправилась в ванную, а когда вернулась, обнаружила у себя в комнате симпатягу Мартина.

— Доброе утро! — поприветствовал он Веру и улыбнулся. — А я уж было решил, что вы выздоровели и упорхнули обратно на небо.

«Если б я могла!» — с тоской подумала она, а вслух сказала:

— Есть такая русская поговорка: рад бы в рай, да грехи не пускают. Да и крылышки мне, боюсь, насовсем подрезали.

— Извините, — понурился Мартин, — Я что-то совсем никакой шутник стал. А вы замечательно выглядите! Как самочувствие?

— Спасибо, превосходно! Были бы крылья — и впрямь бы взлетела! Вы — прекрасный врач!

— О, нет, это Шоно — прекрасный, его и благодарите. Кстати, он велел заниматься с вами дыхательной гимнастикой. Вы можете принять позу лотоса?

— Боюсь, у меня сейчас получится разве что поза приямтой ромашки. А лотос — это как?

Мартин живо скинул туфли и уселся, скрестив ноги, на пол, где стоял:

— Вот таким образом.

— Я после попробую, если вы не возражаете. Не очень-то прилично заниматься этим в дезабилье.

— Хорошо, тогда просто сядьте, расслабьтесь и выпрямите спину!

— На это я, пожалуй, способна. Что теперь?

— Теперь сложите пальцы рук в такую фигуру и положите свободно на колени. Это мудра жизни — она придаст вам сил и выровняет энергетический потенциал.

— Надо же, точно так крестятся старoverы — двумя перстами.

В этот момент со стопкой одежды в руках вошла Берта и остановилась, внимательно прислушиваясь к разговору.

— А кто такие старoverы? — спросил Мартин.

— Это такие консервативные православные христиане, которые из-за неприятия церковной реформы

готовы были сжечь себя заживо, лишь бы не креститься по-новому.

— Святые мученики, — с одобрением заявила Берта, — точно как наши.

— А-а, — протянул Мартин, — Наверное, эта традиция имела какой-то сакральный смысл, ради которого они были готовы идти на смерть. Вы знаете, что и обычай осенять себя крестным знамением гораздо старше христианства?

— Нет, откуда же!

— На самом деле, древние описывали перед собой восьмерку — восточный символ бесконечного единства идеального и материального миров, дарующий защиту и силу — сочетание двух сильнейших магических знаков — круга и креста. Занятный факт — если над кровоточащей ранкой несколько раз описать в воздухе лемниск, кровь быстрее остановится — я проверял. А один знакомый швейцарец убеждал меня в том, что правильное фондю получается только если помещивать его не по кругу, а той же восьмеркой.

Берта шумно хмыкнула и сообщила:

— Господин доктор, там по вашу душу энтот Голиаф пришел. Непонятный он мне. Выряжен как миллионщик, а лезет через черный ход, будто точильщик какой. В будущий раз в дымоход нырнет, помните мое слово.

— Берта, он не Голиаф, а совсем наоборот. А в дымоход ему нельзя — застрянет. Вера, извините, я вас покину. Если хотите, присоединяйтесь к нам — я вижу Берта принесла вам платье.

Глядя вслед Мартину, Берта покачала головой:

— Вот ведь, умный человек, а и то иногда чепуху несет. Все-то у него восточное, все-то идеальное. А я тебе одежду кой-какую собрала — твою-то стирала-стирала, да все одно — грязно. У меня племянница нынче на сносях, так она в энти платья не влезает уже. На вот, держи, все стирано-глажено. Тут вот и туфли, должны быть тебе впору.

— Ох, огромное спасибо, Бертхен! Я у вас в долгу! — Вера вскочила с кровати, бросилась к Берте и попыталась обнять ее монументальный стан.

— Другим отдашь, кому нужней! — отрезала старуха, но было заметно, что она тронута. — Ну, я вижу, что ты уж не хворая, коли так скачешь, а, значит, нужды во мне боле нету. Так что пойду я — тут хорошо, а дома все лучше.

Когда Вера, приодевшись, вошла в Мартинов кабинет, Беэр — кстати, вполне похожий на Голиафа, если бы не шикарный костюм — вылетел из кресла и разразился восторженными возгласами на разных языках, иные из которых Вера даже не смогла определить. Гигант галантно поцеловал ей руку и усадил в свое кресло, а сам опустился перед нею на колено:

— Приветствую вас, любезнейшая фрау Элиза Гольдшлюссель!

— Почему Гольдшлюссель? — удивилась Вера.

— Потому что отныне вы — законная супруга вот этого хмурого типа. Ну, если не перед Богом, то перед людьми, а главное — перед полицией! — и он протянул Вере маленькую красную книжицу, которая при ближайшем рассмотрении оказалась паспортом гражданина Вольного Города Данцига.

Вера раскрыла документ и вздрогнула — с левой стороны была ее собственная фотография с двумя вытисненными на ней печатями. Она подняла встревоженный и недоумевающий взгляд на Беэра.

— Покорнейше прошу простить, но нам пришлось воспользоваться вашим семейным фото! Но, не волнуйтесь, это копия, а оригинал ничуть не пострадал. Обратите внимание на качество ретуши! Все приметы соответствуют — рост, форма лица, цвет глаз и волос! Каково? — затараторил Беэр убедительно, как восточный торговец древностями.

— Погодите, вы меня совсем сбили с толку! Это что, настоящий паспорт? — пролепетала Вера растерянно.

— Он лучше, чем настоящий! Его делал вдохновенный мастер, с фантазией и душой, а не какой-нибудь унылый доходяга-конторщик.

— Но как вам это удалось?

— Исключительно благодаря личному обаянию и умению находить полезные знакомства! Ну и немножко денег, естественно. Так что, берете?

— А чего мне это будет стоить? — смеясь, осведомилась Вера.

— Вам придется совершить со мной поход по лучшим магазинам этого грешного города — вы одеты по позапрошлогодней моде, а это не пристало такой роскошной женщине. Мартин, ты доверишь мне охранять честь твоей благоверной? Обещаю, что буду паинькой!

— Беэр, тебя заносит! — ответил тот, поморщившись.

— Что поделаешь, у меня большая масса, и оттого я сильнее прочих подвержен инерции.

— А какой вам профит с этого времяпрепровождения? — в отличие от Мартина, Вера вполне приняла шуточный тон Беэра.

— О, мне с того большой профит! — великан закатил глаза. — Во-первых, пройтись под руку со сногшибательной дамой, так чтобы все поумирали от зависти. Во-вторых, избавиться хотя бы от небольшой части своего состояния — Марти вам сказал, что я неприлично богат? А в-третьих, вволю потрепаться на родном языке — по-немецки я говорю с таким чудовищным английским акцентом, что вызываю здесь всеобщую неприязнь. Итак? Идем?

— Идем, идем. Грех лишать вас стольких радостей одновременно, — милостиво кивнула Вера.

— Марти, ты слышал? Я умыкаю сию сальфиду немедленно. Верну нескоро, — Беэр поднялся на ноги и изысканным жестом протянул Вере руку.

— Вера же еще не завтракала! — запротестовал Мартин.

— Я тоже. Позавтракаем в кафе, — отмахнулся Беэр, — И пообедаем тоже.

— Протестую! Вера еще не настолько оправилась, чтобы так долго гулять!

— Напротив, — возразила Вера, — я ощущаю необычайный подъем сил и воодушевление!

— В крайнем случае, я буду иметь счастье носить вас на руках, — проворковал Беэр ей на ухо. — Ciao¹, Марти! Не скучай без нас.

* * *

Вера с Беэром возвращаются затемно. Верин залихватый хохот слышен еще с улицы. Мартин отрывается от рукописи, с недоверием смотрит на часы, потом в окно, потирает пальцами веки, глубоко вздыхает и идет в прихожую, сопровождаемый пробудившимся Докки.

Женщина, что второй раз в жизни перешагивает порог Мартинова жилища так, словно делает это уже многие годы, теперь похожа не на промокшую до нитки принцессу из сказки Андерсена, а на королеву, и думать забывшую о горошине, которой она обязана своим положением. На ней короткое оливковое платье — чуть ниже колен, темно-зеленое болеро, отделанное бронзовой тесьмой, зеленый же берет с фазаньим пером, надвинутый на правую бровь, замшевые туфли и перчатки того золотисто-коричневого цвета, в какой окрашены олениа на кануне зимы. В руках — сумочка в тон платья. Прекрасные волосы Веры слегка завиты и укорочены так, что едва достигают плеч. Карие глаза, оттененные зеленовато-коричневым, смеются, левая бровь приподнята, малиновые губы сложены в победительную улыбку.

Вера останавливается перед Мартином, совершает пируэт и застывает в картинной позе:

— Каково?

¹ Пока (*итал.*).

— Волшебнo! — искренне восхищается Мартин. — Диана-охотница!

Докхи обходит Веру кругом, словно видит ее впервые, шумно втягивая носом незнакомые запахи, и затем на всякий случай прячется позади хозяина.

За спиной у Веры появляется Беэр, обвешанный коробками, картонками, пакетами и свертками. Шляпа его сбилась на затылок, глаза блестят, в зубах зажата потухшая сигара. Великан заметно навеселе.

— Еще какая охотница! А вот и добыча! — зычно трубит он, освобождаясь от поклажи. — Мы нынче много настреляли. Разделявать и ощипывать будешь ты, Марти, а мне нужно бежать — чего доброго, таксист укатит вместе с моими обновками. Мадам, позвольте ручку! Это был лучший день моей угрюмой холостяцкой жизни за последние двадцать лет! Докхи, малыш, дай я тебя чмокну! Марти, see you soon!¹

И Беэр грузным мотыльком выпархивает за дверь, взвихрив воздух так, что портьеры колышутся еще с полминуты после его ухода.

Вера проходит в гостиную и падает на диван.

— Этот человек едва не уморил меня своими анекдотами! У меня все ребра от смеха болят! — жалуется она, снимая берет и перчатки. — Поразительный тип! Безумно обаятельный, остроумный, щедрый и хвастливый одновременно!

— О, Беэр хвастлив только с теми, кого числит в друзьях, а таких крайне мало. И это ведь всего лишь клоунада, которая нас весьма забавляет. Мы-то знаем, что внутри он гораздо больше, чем снаружи, если так можно выразиться.

— Неужели возможно быть еще больше? — Вера комически хлопает ресницами. — Кто он вообще такой на самом деле? Бизнесмен? Биржевик?

— Он вам не сказал?

— Отшутился, дескать, промышляет разорением гробниц.

¹ До скорого! (англ.).

— Отчасти так оно и есть. Беэр — выдающийся ученый-палеограф, и имел бы мировое имя, если б того пожелал. Но его не интересует этот аспект научной деятельности, и...

— Ну вот, теперь мне стыдно, что я столько потратила!

— Ничего, ограбит пару-тройку гробниц и поправит дела.

— У него было такое счастливое лицо, когда я что-то выбирала. И, представляете, он мне помогал! Я ему сказала, что у него прекрасный вкус, а он ответил, что этого нельзя утверждать наверняка, пока не откусишь кусочек.

— Он так и ходил с вами повсюду?

— Да, только когда я была в парикмахерской... как вам моя прическа?

— Вам очень идет.

— Спасибо! Да, так вот, пока я была в парикмахерской, а потом мне делали маникюр, — Вера показывает Мартину свои ногти, покрытые золотым лаком, — тогда он меня оставил ненадолго. Объявил, что скоро начнется сезон охоты на слонов, и ему надо экипироваться. Вернулся через час с большим рюкзаком и сумкой — это очень забавно сочеталось с его костюмом. Вам правда нравится, как я выгляжу?

— Правда. Вы похожи на эту актрису... Гарбо, кажется. Мы... Я видел ее в кино. Давно. Только она была черно-белая и немая, а вы — цветная и говорящая. И еще хорошо, что вы не выщипываете брови, как все.

— Это мне просто повезло — они и так достаточно тонкие. А я больше люблю Марлен Дитрих, но и за сравнение с Гарбо я на вас, так и быть, не обижусь.

— Ох, извините, ради всего святого! Это был неуклюжий комплимент. Я сто лет не практиковался. С тех пор, как ухаживал за своей женой.

— Как же вы тогда общались с женщинами, несчастный?

— Да я и не общался особенно. Разве что с Бертой...

Вера ошеломленно смотрит на Мартина:

— Что же вы делали десять лет?

— Учился жить заново. И еще много чему. Книгу писал, я уже вам говорил...

— Да я не в том... О, Господи! Это же вредно!.. Ох, простите, я лезу не в свое дело...

— А, вы об этом! Ничего особенно вредного, существуют специальные даосские техники, — Мартин говорит совершенно спокойным, ровным голосом, но на лицо его набегают тени. — Впрочем, я бы предпочел сменить тему.

— Да-да, конечно, простите еще раз! — Вера до боли кусает губы и трижды мысленно обзывает себя идиоткой.

Мартин неспешно закуривает и лишь после этого бросает Вере спасательный круг:

— Как вам показался наш город?

Вера с радостью хватается за предложенную тему:

— Он чудесный! И совершенно не похож на Питер, на Ленинград, то есть. Но, надо признаться, я пока мало что видела.

— Если хотите, я завтра проведу вас по лучшим местам. Обидно будет уехать, не посмотрев.

— С огромным удовольствием! — Вера некоторое время теребит браслет новых часиков, а после спрашивает напряженным голосом: — Мартин, а куда уехать? Что со мной будет дальше?

— Это будет зависеть от того, успеет ли Беэр достать для вас американскую визу и билет. Видите ли, мы с ним и Шоно должны были сегодня отплыть в Нью-Йорк.

— Успеет до чего?

— До того, как начнется война.

— И вы из-за меня остались? — у Веры моментально пересыхает во рту, а сердце наполняется жидким свинцом, вместо крови.

— Ну, не могли же мы вас бросить тут одну! — Мартин каким-то образом умудряется улыбаться, опуская уголки губ книзу.

— А если Беэр не успеет?

— Тогда мы придумаем какой-нибудь другой план, — уверенно говорит Мартин, и Вера неожиданно для себя успокаивается.

— Что ж, если мне завтра предстоит еще один долгий поход, то я, пожалуй, быстренько приму ванну и юркну в постель. Вы не против?

— Это самое правильное, что можно сделать! Я дам вам кое-какие травы для ванны.

Вера встает с дивана и направляется в свою спальню, но внезапно останавливается:

— Мартин! А что вы делали, пока меня не было?

— Книгу писал, — отвечает Мартин.

* * *

Наутро Вера вышла к завтраку в шикарном изумрудного шелка халате поверх персиковой пижамы, а перед выходом переделась в льняной брючный костюм — простой, но элегантный, поколебавшись, обула бежевые легкие туфли на низком каблучке и повязала на шею шелковый платок цвета молочного шоколада. Посокрушалась, что нет подходящей сумочки, ввиду же ясной и теплой погоды головной убор и перчатки решила не надевать. Из косметики ограничилась лишь коричневатыми тенями для глаз и темно-красной помадой. Повертелась перед зеркалом и нашла себя вполне готовой к намеченной кампании.

Выходя из дома под руку с Мартином, все косилась — оценил ли? По всему, должен был, но кто его, монаха эдакого, знает? Сам-то он был одет скорее удобно, чем хорошо — темный полотняный пиджак, мешковатые светлые брюки с отворотами, некогда белая мягкая шляпа, расстегнутая на шее рубашка в крупную полоску, поношенные, хотя и до блеска начищенные ботинки. Первым делом Вере сразу захотелось приодеть своего спутника получше, однако, по

здравом размышлении, она подумала, что такая небрежность может сойти и за богемный стиль — в присутствии эффектной дамы рядом, разумеется. С приятным удивлением Вера почувствовала, что рука Мартина, на которую она — зачастую без особой надобности — налегала, весьма мускулиста. Видимо, эта его хитрая китайская гимнастика была значительно эффективнее, чем могло показаться на первый взгляд.

Наверное, Мартин был прекрасным гидом — для человека, прожившего в Данциге менее двух лет, он знал на удивление много — и чудным рассказчиком, но уже через полчаса прогулки Вера осознала, что с упоением слушает не повествование, но самый голос Мартина, завораживавший ее, как завораживало в детстве весеннее падение капель с карниза или пляска языков пламени в очаге. Подобно гаммельнским ребятишкам, она зачарованно следовала за этой музыкой, растеряв из головы все свои мысли — и в ней теперь топтались, как в чистилище, толпы королей, магистров, палачей, купцов и философов. Там же громоздились сваленные бессмысленной грудой пыльного бурого кирпича башни, ворота, храмы и бастионы вперемежку с сухими ворохами дат и цифр. Время от времени Мартин прерывал свою речь, чтобы раскурить трубку или пропустить лязгающий трамвай, и Вера ненавидела и трубку, и трамваи, и вообще все, что мешало ей наслаждаться волшебными звуками.

Очевидно, эти переживания настолько отчетливо отражались на ее лице, что в конце концов были замечены Мартином, потому что он внезапно смутился, скомкал фразу и проговорил обычным, будничным голосом:

— Я вижу, что совсем вас заговорил. Извините, что так увлекся. Довольно истории и географии! Давайте разговаривать просто так!

— Вы совершенно напрасно извиняетесь! Я, верно, мало что запомнила, зато получила невероятное

удовольствие, слушая вас! Ваш голос... это что-то необыкновенное! Словно гипноз! Я готова была идти за вами на край света!

— Надеюсь, что так далеко нам заходить не придется! — засмеялся Мартин. — А вот в свой любимый табачный магазин я бы с вашего разрешения зашел. Тут неподалеку, на углу. Заодно посетим остров Шпайхер и сможем оттуда посмотреть на старый город новыми глазами. Вы не против?

— Конечно же, нет! А если вы купите мне там каких-нибудь дамских сигарет, то будет совсем замечательно!

Вера уже оправилась от морока и вновь начала резвиться. Проходя сквозь Коровьи ворота, она громко замычала, а на одноименном мосту заявила, что им с Мартином ни в коем случае нельзя шагать в ногу, иначе мост рухнет. Узнав, что тот — разводной, фыркнула и сказала, что даже самый маленький разводной мост в Питере будет вдвое больше этого, а самый маленький переулок даст фору любой здешней улице, и что вообще непонятно, как можно жить в такой тесноте. Потом сравнила улицы с челюстями, посаженными острыми однообразными зубами, которые веками пережевывают людей, а сами крошатся от древности. Через несколько минут, впрочем, безо всякой видимой логики Вера назвала город «миленьким» и «уютным», сообщила, что готова прожить в нем всю жизнь, восхитилась видом на набережную Лангебрюкке и спросила, что это там за дивное место по онпол Моттлау, несмотря на то, что прошла по нему меньше часа назад. Мартин только посмеивался уголками глаз и покашливал при самых неожиданных выходах Веры.

Получив в табачной лавке легкие сигареты и длинный янтарный мундштук в придачу, Вера сказала, что ей безумно хочется курить, но курить натошак — это моветон, и Мартин покорно повел ее обратно в главный город по Зеленому мосту в «один довольно приличный ресторанчик». Вера уже перестала вздрагивать

при виде полицейских в серо-зеленой форме, после того, как Мартин успокоил ее, объяснив, что хорошо одетая красивая женщина совершенно не вызывает подозрений у блюстителей порядка, и теперь с таким любопытством рассматривала их, что на Йопенгассе один усатый вахмистр даже улыбнулся ей и молодцевато вскинул руку к лаковому козырьку своего *чако*.

После обеда в «довольно приличном ресторанчике», который привел Веру в восторг и кухней, и убранством, Мартин предложил посетить собор Мариенкирхе, благо тот находился поблизости. Вера милостиво согласилась, однако при условии, что Мартин не заставит ее карабкаться на стометровую колокольню.

Церковь, угрюмо нависавшая над окружающими домами, как какой-нибудь химерический шипастый единорог из средневекового bestiaria — над сбившимися в кучу кроликами, снаружи произвела на Веру мрачное впечатление, но изнутри оказалась поразительно светлой и воздушной. Больше часа Вера с Мартином провели в этой поражающей воображение базилике, изучая знаменитый триптих Мемлинга и прочие картины, детали декора и полустертые надписи под ногами. Им даже повезло послушать орган, счастья играть на котором, по утверждению Мартина, безуспешно пытал в молодости сам Иоганн Себастьян Бах.

Выйдя из-под каменных сводов, Вера заявила, что с нее хватит духовного, и потребовала немедленно прокатить ее на трамвае. Но в уютном полупустом «пульмане» она скоро сделалась грустна и молчалива. На вопрос Мартина, что ее так опечалило, сказала невпопад, что в родном городе ежедневно ездила на службу в трамвае. Мартин сделал вид, что удовлетворился этим объяснением, и до кольца они ехали, не разговаривая. По выходе из трамвая, впрочем, Вера снова развеселилась и легко дала уговорить себя совершить поездку в наемном экипаже вдоль холма Хагельсберг, пыталась болтать по-польски с суровым мазуром-извозчиком, и была счастлива, когда сумела с грехом

пополам втолковать ему, что в этом месте Данциг очень похож на ее родное Вильно. Утомившись сим подвигом, она всю дальнейшую прогулку промечтала об удивительном голосе Мартина, тем более, что сам он бесед не заводил и лишь время от времени, спохватываясь, называл Вере очередную достопримечательность.

Когда коляска въехала в город, миновав большую площадь с конной статуей какого-то кайзера, в глаза Вере бросилось некое вопиющее зияние — прореха в плотной ткани города. Мартин прочитал вопрос во взгляде спутницы и ответил с экскурсоводческой интонацией:

— Здесь еще пару месяцев назад было одно из красивейших строений Данцига. Если использовать вашу стоматологическую метафору, то отсюда вырвали еврейский зуб мудрости. Это была великолепная синагога в неоренессансном стиле, с органом и крупнейшей коллекцией иудаики. В прошлом году нацисты пытались сжечь здание. А в начале этого года Сенат попросту выкупил за триста тысяч гульденов всю еврейскую общественную недвижимость, и к концу июня тут осталось пустое место.

В этот момент молчавший всю дорогу извозчик вдруг повернул голову и процедил сквозь зубы:

— Wnet pomści Pan na nas te czyny. Spuści Pan na miasto deszcz z siarki i ognia, jak spuścił na Sodomę i Gomore.

— Что он сказал? — спросил Мартин Веру.

— Кажется, что-то вроде того, что Господь Бог за это еще поразит город огнем и серой.

Чуть позже, когда они под руку возвращались домой, Вера тихо сказала Мартину:

— Странно, вот ведь ничего во мне еврейского нет, кроме отчества: языка не знаю, к религии никакого отношения не имею — в семье ни о чем таком никогда не говорили, воспитана в атеистическом обществе, но когда вы сказали про эту синагогу, почувствовала в сердце непривычную боль. Новую.

— Наш возница и вовсе не еврей, но не у него одного в городе та история вызывает такие эмоции. Думаю, что дело тут в наличии совести. Вам ведь знакомо чувство жгучего стыда за других?

— Конечно, знакомо, но здесь совсем другое что-то! — возразила Вера. — То есть, если бы снесли... не знаю... к примеру, тот собор, где мы сегодня были, то было бы тоже больно и стыдно, хотя я и не лютеранка, а тут... Тут еще и обидно, что ли?.. Не могу объяснить толком. Вот брат мой Ося, тот вообще крестился и поступил в семинарию. Его, правда, за блуд с прихожанками три раза от церкви отлучали, а он после строчил покаянные письма, а когда религию запретили и стали разрушать храмы, устроился от нечего делать в оперетту — у него богатый серебрянный баритон. Ну, да это я так, к слову. Вот ему понятно, за что обидно — он эту религию сам выбрал. А мне-то сейчас почему? Какое мне дело до иудаизма?

Мартин отозвался не сразу:

— Наверное, когда у дерева подрубают корень, ветвям тоже становится больно. А вы не так далеки от своих корней, как вам кажется. Человек уж так устроен, что ему необходимо чувствовать себя частью какой-то общности. Даже если это общность людей, отрицающих свою причастность к чему бы то ни было, — он усмехнулся невесело: — Мне в этом смысле еще сложнее, чем вам — в моей родословной такое смешение кровей, что стыдно и обидно практически за всех.

— А вам известна ваша родословная? Насколько глубоко?

— Порядочно.

— Завидую вам! — вздохнула Вера. — Сама я дальше прапрадеда по материнской линии никого не знаю, а ведь, в отличие от вас, росла в родной семье.

— Мне просто повезло. Если б не Шоно, я бы знал куда меньше вашего.

— Расскажите мне о своих предках?

— Обязательно. Но как-нибудь в другой раз — мы уже пришли.

— Потрясающе, я умудрилась забыть, как выглядит ваш дом снаружи! — заразительно засмеялась Вера. — Какая я все же дуручка!

— Скажите, Вера — только не оборачивайтесь резко — вы уже видели сегодня вон тот автомобиль серого цвета? — Мартин, продолжая улыбаться, показал ей глазами направление.

— Бог с вами! Для меня они все на одно лицо, или как у них это называется! А почему вы спрашиваете?

— Дело в том, — сказал Мартин, придерживая перед ней дверь, — что, кажется, я его слишком часто встречаю на своем пути в последнее время.

— Ужас какой! — притворно испугалась Вера, а потом вцепилась острыми коготками в руку Мартина и заговорила «страшным» голосом: — Он на вас охотится! Я читала у одного русского писателя рассказ, который так и назывался — «Серый автомобиль». Про то, как человека преследует в сером авто прекрасная женщина, которая на самом деле ожившая механическая кукла, а этот человек ее разоблачил и пытался уничтожить. В результате его упекли в сумасшедший дом. Я только так и не поняла, он и впрямь был безумен, или кукла действительно ожила.

— Или и то, и другое вместе... — проворкотал Мартин, сняв шляпу и ероша волосы на затылке.

* * *

Пока Докхи в прихожей бурно изливает свою радость по поводу долгожданного возвращения хозяина, Вера стоит в сторонке и внимательно наблюдает за обоими, потом с тоской говорит:

— А я даже не успела толком попрощаться со своей собакой. Отвела к сестре и убежала поскорее... Он что-то такое чувствовал, не хотел даже по лестнице подниматься.

— Да, — печально кивает головой Мартин, — больше всего в жизни они боятся, что их оставят. Как люди боятся быть оставленными Богом.

— А вы боитесь?

Мартин смотрит куда-то сквозь стену, кривит губы и отрицательно качает головой:

— Уже нет. Бог умер.

— Мы убили его. Вы и я, — восклицает Вера. — Это Ницше, я знаю!

— Нет, ни мы, ни Ницше тут ни при чем. Это случилось значительно раньше. Хотите чаю? — спрашивает Мартин.

— Не откажусь, — отвечает Вера, несколько удивленная столь резкой переменной темы. — Скажите, что это за порода? Никогда не видала таких огромных собак. Я думала, они бывают только в сказках.

— Это тибетский мастиф, храмовая собака. Их осталось очень мало. Докхи еще сравнительно невелик — судя по древним костям, которые я видел, его предки достигали размеров пони, — охотно объясняет Мартин, почесывая псу спину и бок, отчего тот уморительно дергает задней лапой. — Добрейшие существа, совершенно безобидные, несмотря на устрашающую внешность.

— Ну уж и безобидные! — усомнится Вера.

— Разумеется, они будут защищать тех, за кого чувствуют ответственность, до последнего. Но только в случае настоящей опасности. Я часто видел, как дети и маленькие тибетские терьеры терроризируют мастифов совершенно безнаказанно. Вы с Докхи подождете меня в гостиной, пока я приготовлю чай?

— Обещаю, что не стану его терроризировать! Разве что немного потискаю, ладно?

— Хорошо, только остерегайтесь Беэра — он станет ревновать, если узнает! — улыбается Мартин.

— Кого к кому? — смеется Вера.

— К вам обоим. У него большое сердце.

Когда Мартин возвращается с подносом, он застаёт Веру стоящей возле кабинетного роля.

— Какой у вас прекрасный инструмент! — говорит она, подходя к чайному столику. — Интересно, как его втащили на третий этаж по такой узкой лестнице?

— Думаю, что дом попросту построили вокруг него, — разливая чай, отвечает Мартин. — Я, собственно, эту квартиру и купил из-за фортепиано. Ваш дядя был профессиональным музыкантом?

— Нет, — помедлив, отзывается Вера, — любителем. А что удивительного? У нас, например, стоял дома дивный «Мюльбах», хоть я тоже не профессионалка.

— «Мюльбах»? Звучит по-немецки, но я никогда не слышал о такой марке.

— Была такая немецкая мануфактура в России. Хозяин был вынужден закрыть ее из-за войны и уехать из Петербурга в Германию. Как раз когда я приехала в Петербург.

— Понимаю. А про дядю вашего я спросил потому, что внести сюда рояль можно лишь через окно с большим трудом, да и инструмент этот весьма дорогой. Для любителя было бы проще приобрести пианино.

— Ну, не знаю, возможно, он, как и вы, купил квартиру вместе с роялем! — Вера нетерпеливо пожимает плечами и переводит разговор на другое: — Мартин, можно я попрошу вас сыграть мне что-нибудь?

— Отчего же нельзя? Только предупреждаю — вряд ли вам особенно понравится. Я весьма посредственный пианист.

— Я почему-то вам не верю! — Вера идет к роялю. — Я выберу сама, хорошо? — и, не дожидаясь разрешения, начинает рыться в нотной папке. — Вот, сыграйте мне это, пожалуйста!

Мартин подходит и, заглянув в ноты, хмыкает:

— Я почему-то так и думал, что это будет что-то из Шуберта. Но эта вещь предполагает исполнение в четыре руки — вы присоединитесь?

— О, нет! — энергично протестует Вера. — Я уже почти два года не прикасалась к клавишам, да и с таким

маникюром играть стыдно. Наибольшее, на что я способна — это переворачивать вам страницы.

— Что ж, тогда усаживайтесь поудобнее! — Мартин похлопывает по широкому бархатному сиденью слева от себя, открывает крышку и некоторое время внимательно вглядывается в клавиш: — Петь я с вашего решения не буду. А вы, если почувствуете желание, не сдерживайтесь, пожалуйста!

Вера пристраивается рядом с Мартином. От соприкосновения с его бедром по телу ее разбегаются горячие мурашки. Вера искоса смотрит на Мартина, но тот, похоже, ничего такого не ощущает. «Видимо, это оттого, что женская материя много тоньше мужской», — нервно шутит она про себя.

Мартин набирает полную грудь воздуха и на выдохе осторожно, как в горячее молоко, окунает кончики пальцев в слоновую кость клавиатуры.

Сперва Вера наблюдает за его руками — он держит кисти плоско и вольно, слегка наклонив к мизинцам, то мягко и нежно поглаживая клавиши, то требовательно теребя их, то снова успокаивающе лаская — и Вера завидует клавишам. В переворачивании листов нет никакой необходимости — Мартин уверенно играет по памяти, прикрыв глаза, и Вера вдруг спохватывается, что совершенно не слушает музыку, и тоже закрывает глаза и пытается сосредоточиться на звуках. Это дается ей с трудом, ибо Мартин то и дело легко касается локтем ее плеча, отчего у Веры каждый раз прерывается дыхание и электрическая лава тяжело выплескивается из сердца. В один из пассажей, когда левая рука Мартина спускается низко в басы и ненароком задевает грудь Веры, она вдруг обхватывает его шею и жарко шепчет в самое ухо:

— Ты сказал, чтобы я не сдерживалась, если почувствую желание!

Мартин смотрит на нее неясным, отрешенным взглядом и раскрывает губы, чтобы что-то произнести, но Вера стремительно приникает к ним своими так, словно хочет проглотить его ответ...

- Что ты считаешь?
- Твои родинки. Ты ими усеян, как небо — звездами. Никогда не видела родинок на ладони. И между пальцами. Кстати, у тебя красивые пальцы.
- А у тебя красивое все.
- Да, я знаю. Можно, я тебя укушу вот сюда?
- Пожалуйста.
- Мм... А сюда?
- Сделай одолжение.
- Вкусно. А сюда?
- Не стоит. Хотя, ладно. Только не увлекайся! Вдруг еще понадобится зачем-нибудь?
- О чем ты думаешь?
- О тебе.
- И что ты обо мне думаешь?
- Ты сама знаешь.
- Что я похотлива и развратна?
- Да. Ай! Нет! Ты — само целомудрие! И у тебя очень острые зубы.
- Между прочим, я действительно целомудренна. Просто ты так прекрасно играл, что я не могла не выразить свое восхищение.
- Ты всегда его выражаешь таким экстравагантным способом? Ай-ай! Все, больше не буду! Я только хотел убедиться в собственной уникальности!
- Ты — гадкий, негодный музыкантишка!
- Вот и мой преподаватель утверждал, что я никогда не добьюсь серьезного успеха, однако ты — прямое подтверждение обратному. Или мой успех у тебя нельзя считать серьезным?
- Не знаю, не знаю. Не помешало бы его поскорее закрепить!
- Прямо сейчас? Я не уверен, что мне это по силам. Видишь ли, мой организм...
- Я все вижу!

...

...

— Передай мне зажигалку, пожалуйста! Так что там говорил твой преподаватель?

— Он был вечно недоволен моим звукоизвлечением.

— Он был несправедлив к тебе, милый. Ты хорошо извлекаешь звуки.

— Ты имеешь в виду фортепиано или?..

— Нет, это невыносимо! Я сейчас тебя снова укушу!

— Все, молчу, молчу. У тебя бешеный темперамент. Я не думал, что такой бывает у русских.

— У русских чего только не бывает.

— Кстати, он тоже был русский. Вернее, из русских немцев.

— Кто?

— Мой учитель. Из эмигрантов. До революции преподавал в Петербургской консерватории. Шоно познакомился с ним в двадцать пятом году — он же сам родом из России и все время поддерживал связи с земляками в Берлине. Не странно, что они сошлись — профессор тоже обладал весьма своеобразным чувством юмора.

— В чем оно выражалось?

— Однажды, разучивая сложную пьесу его сочинения, я все время упустил один бемоль и в ответ на замечание имел наглость заявить автору, что этот бемоль противоречит логике фразы. Тогда он вскричал: «Противоречит? Ах, он мерзавец!», бросился к инструменту, сделал вид, будто вырвал из нот крошечный кусочек — брезгливо, как блоху, ногтями — швырнул на пол и стал с остервенением топтать ногами, приговаривая: «А мы его вот так, вот так!»

— Забавно. Как его звали?

— Александр Адольфович — он требовал, чтоб я его так и именовал, по-русски, а фамилию я запомнил, как-то на «в». Винер? Винкель?

— Бог ты мой!

— Что такое?

— Винклер! Он был мамин большой друг! Это его «Мюльбах» стоял у меня дома! Невероятно! Мы потеряли связь в тридцать четвертом. Ты что-нибудь знаешь о нем?

— Он умер в том самом году. Меня здесь тогда не было, ты же знаешь. Но это действительно поразительное совпадение.

— Ох, да... Между прочим, я тоже забыла, какая теперь у меня... у нас фамилия.

— Гольдшлюссель.

— Смешно.

— Почему?

— Есть такая сказка... Неважно. А какое у нее происхождение?

— Искусственное — Шоно выдумал. Это тоже своеобразная шутка, потом объясню.

— Ну, а настоящая фамилия у тебя есть?

— Есть. Только это секрет. Ты умеешь хранить секреты?

— Вот еще! Женщина должна уметь хранить очаг, и только. Но ты можешь быть спокоен — мне некому проболтаться. К тому же у меня дырявая память.

— Ладно. Моя настоящая фамилия — Барабас.

— Ка-ак?

Часть вторая

Anno Domini ini millesimo centesimo octuagesimo octavo quidam Turcus nomine Saladinus cepit Sanctum Sepulcrum et Acaron et multas alias civitates. Unde Fridericus imperatore Romanorum exivit contra eum cum plus quam centum milia hominum; et fuerunt ex ipsis nobiles milites quadraginta milia et obiit imperator cum suo exercitu. Et Venetici cum magno navigio et milites et magna multitudo populorum ivit in adiutorium Sancti Sepulcri.

Annales venetici breves.

Марко Барабассо очнулся от жуткого кошмара, в котором его закопали в землю так, что лишь голова торчала наружу, и долго били колотушкой по затылку. Он попытался подняться, но с ужасом понял, что ничего не видит и не в состоянии пошевелить ни рукой, ни ногой, а голова от боли и впрямь вот-вот разлетится на куски, будто перебродивший египетский арбуз. Марко дико завопил и стал биться и извиваться всем телом, как уголь на жаровне, и через несколько секунд умудрился выпростать руку из окутавших его пелен. Дальше было проще — выпутавшись из тенет, оказавшихся влажным от росы куском парусины, в который Марко, видать, сам и замотался во сне, и попытавшись встать на колени, он тотчас схлопотал увесистую мокрую оплеуху ветра, повалился на спину и проснулся окончательно.

Разлепить глаза не получилось — так бывает, когда реснички из шалости сплетают спящему нижние и верхние ресницы в косички. Тут надобно запастись терпением и подождать, пока от слез они не распутаются сами. Марко знал об этом, и потому сосредоточился — насколько это позволила гудящая голова — на звуках. Судя по размеренным ударам тимпана, парусному хлопанию, деревянным скрипам и водяному плеску, он находился там, где и должен был — на своей *galia*¹, а судя по качке и ветру — *in alto mare*². Барабанный ритм внезапно изменился — за сильным ударом тотчас следовал слабый, и это означало, что гребцы по левому борту пропускают гребок, и галера принимает влево — гораздо быстрее, чем с помощью одного лишь руля. «Заметили риф, — подумал Марко, — или поворачиваем домой. Только это вряд ли. Ох, Господи, что ж это с башкой творится?»

На лицо ему упала тень, и хриплый голос *comito* спросил: «Очухался?» Марко приоткрыл один глаз и промывчал нечто невразумительное.

— Да задрывался вроде, — весело ответил за него откуда-то справа и снизу голос Николо Майрано, — Всю ночь чуркой провалялся. Крепко огреб вчера — на башке гуля с мой кулак. Кабы я не подоспел, был бы упокойник.

— Сам-то как? — поинтересовался комит. — Ходить можешь?

— Да, чепуха, командир, пара царапин! Вот видели бы вы, как я этого нормандского барана разделал! — возбужденно откликнулся Николо, — Подставился ему справа, а он, дурилка, купился...

— Кончай трепаться! — жестко прервал его начальник. — И коли можешь ходить, принеси ему воды! Герой хренов.

— Вы чего, маэстро? — возмутился Николо. — Я ж его спас! Франки первые начали задираться, а этот

¹ Галера (*итал.*).

² В открытом море (*итал.*).

петух полез с малым пером на вертел! Что ж я, должен был смотреть, как его вздрючат?

— Якорь тебе в зад и провернуть, Майрано! — заорал комит. — Тебя самого вздрючить надо! И кабы не твоя семья, Мамой Пресвятой клянусь, я б тебя приковал к веслу и не спускал с цепи до самого Константинополя! Как, черт тебя в дупло дери, вы там оказались? Или не было приказа держаться от франков подальше? Я не верю, что Барабассо поперся к этим шлюхам по собственному почину! И помяни мое слово: если еще раз ты полезешь куда не следует, я не знаю, что с тобой сделаю, но тебе это сильно не понравится!..

Он задохнулся от злости, круто развернулся и ушел на корму, бормоча под нос что-то совсем не похожее на «Отче наш».

— Старый пердун! — прошипел тихонько Николо, весело подмигнув Марко, — На баб уже, небось, не стоит, вот он и бесится. Приказ у него! А у меня уже все ладони в волдырях, как у последнего *galioto*! И всё одно — щегла дыбится, хоть спать не ложись! Те бабенки были ничего, а? Хотя против девочек из Ядеры — деревенщина, конечно. Чертовы франки! Так обломать!.. — застонал он и откинулся на тюфяк.

Поскольку приказ принести воды никто исполнять не собирался, а во рту у Марко было сухо, как в глазах мертвеца, пришлось предпринять путешествие к бочке ползком на карачках. По пути мутная картина давешнего происшествия немного прояснилась.

Сказанное Николо комиту не совсем соответствовало истине. По правде говоря, задираться с франками начал именно он, а законопослушный и миролюбивый Марко как раз пытался его удержать и попал под удар, предназначавшийся приятелю. Дальнейшее по понятным причинам стало ему известно лишь нынче — да и то со слов Николо, веры которым было мало. И получалось, что по всем понятиям Марко теперь обязан жизнью не только своим родителям, но и Майрано,

¹ Галерный гребец (*итал.*).

тогда как на самом деле одною лишь Божьей милостью тот не сделался причиной его гибели. Это было очень в духе Николо — всегда и все вывернуть себе на пользу.

Вообще, чрезвычайно забавно, что в глазах окружающих Николо и Марко были что твои Ахилл и Патрокл, ибо невозможно вообразить себе более разных людей с непересекающимися интересами: Николо — из родни крупнейшего венецианского арматора Романо Майрано, сын владельца салины¹, отпетый шалопай, здоровенный забияка, наглый темноволосый красавец, тупой, как турнирное копьё, но обаятельный, как куафер, с трудом разбирающий буквы, но ловко считающий деньги, и Марко — приемный сын небогатого книжника и лекаря Чеко, рыжеватый худощавый блондин, тихий и замкнутый малый, спокойно сносящий насмешки по поводу своего пристрастия к книгам, говорящий чуть ли не на всех языках Средиземноморья. Единственным, что объединяло юношей, было то, что оба отправились в круасаду не по жребию, а волонтерами. Что же до мотивов, то и они разнились бесконечно — Николо в войне искал выхода своей кипучей разрушительной энергии, страсти к рискованным играм и авантюрам, но более всего — женобесию, поскольку был одержим поистине сатировой похотью, а Марко исполнял последнюю волю отца, который на смертном одре только и говорил о том, что судьба сына ждет его в Святой Земле. Правда, после разноса Ядеры, а особенно — после разграбления Керкиры Марко понял, что попасть в Святую Землю ему не суждено, и как ни претило примерному христианину участие в несправедном деле, выхода у него не было — за измену присяге полагалась петля. Тут оставалось лишь выжидать и постараться не замарать себя. И, слава Создателю, за полгода похода Марко удалось не пролить ни капли христианской крови — ни чужой, ни своей. Во время баталий он исполнял роль вестового, поскольку, по общему мнению, другого толку в бою от него не было.

¹ Соляная копь (итал.).

Дело в том, что соратники Марко держали его за маляхольного и слегка юродивого, и на то у них были причины, помимо его отстраненности и любви к чтению. В отличие от всех, он носил за кушаком странный кривой меч, доставшийся ему в наследство от отца, что само по себе было смешно, на стоянках часто куда-то пропадал, а однажды Николо со товарищи случайно застал его на пустынном берегу, выделяющим с этим инструментом такие несуразные движения, что всем сделалось ясно, что фехтовать парень не умеет совершенно и, стыдясь этого, тщетно пытается научиться самостоятельно. Вот тогда-то Николо и решил взять Марко под свою эгиду. Сурово пресекая издевательства команды — эту прерогативу он оставил за собой — Николо принялся обучать Марко тонкостям владения мечом. Успеха в этом предприятии он не добился, ибо ученик ему достался безнадежный, но продолжал таскать того повсюду с собой, точно красавица, что появляется на людях, оттеняя свою прелесть уродством спутницы. Марко покорно сносил это покровительство, хотя при каждом удобном случае норовил улизнуть в укромный уголок с книгой — у него время от времени случалась такая возможность благодаря комиту, который пускал его в свою каюту и даже снабжал собственными манускриптами. Разговоры, вернее, монологи Николо, крутившиеся вокруг одной излюбленной темы, Марко научился пропускать мимо ушей, но вот походы «по ласку», в которые тот неизменно тянул «постника и святошу», и последующие похабные рассказы о них на борту, превратились для Барабассо в нескончаемую муку.

И вот теперь придется к тому же многократно слушать про собственное спасение!

Марко осторожно потрогал затылок и тихонько застонал. Не столько от физической боли, впрочем, сколько от душевной.

Тем временем солнце вошло в зенит, и даже под навесом стало жарко. Цепляясь за бочку, Марко встал на

ноги и подставил лицо свежему бризу. Спокойное, нестерпимо блестящее море было от края до края усеяно судами крестоносной армады. Там и сям приплясывали на мелкой зыби похожие на скорлупки грецких орехов крутобокие навьы, выполаскивая в небесной синьке пестрые рыцарские флажки. Неуклюжие, тучные остиарии с лошадьми и провиантом в объемистых черевах, напрягая изо всех сил паруса, натужно врезались в волны, точно самоходные плуги. В полумиле же справа по борту алой стокрылой стрекозой хищно и величаво скользила по-над водой огромная галера дожа, а за нею вслед мчался прицепившийся к мачте крылатый лев Сан-Марко с лапой на книге.

— Видишь, *ньоко*¹, — неслышно подошедший Николо хлопнул Барабассо по плечу, отчего тот дернул головой и скривился от боли, — книжка-то у него закрыта. Не время сейчас читать. Пока молодой, надо покрывать себя славой... ну, и баб, само собой. Глядишь, тогда и про нас напишут. Хотя в этих твоих книжках — одно сплошное вранье.

— Может быть... Но что бы ни написали тут, там, — Марко воздел к небу указательный палец, — все будет записано точно. И ответ нам придется держать по той книге.

— Помрем — увидим, — заржал Майрано и удалился, донельзя довольный своей шуткой.

...

— Антракт! У меня во рту пересохло.

— У меня тоже — слушаю тебя, как дура, с открытым ртом. Нет-нет, не вставай, я принесу чего-нибудь!

— В холодильнике, кажется, есть початая бутылка белого мозельского. Не задерживайся — я буду скучать!

...

¹ Здесь «парень» (вен.).

— Вот, я уже тут.

— Что был за шум?

— Споткнулась о твоего черного пса, который занял стратегический пост в самом темном месте коридора. Счастье, что он такой большой и мягкий, а то тебе бы пришлось снова меня лечить. Но мне не терпится узнать, что там было дальше с этим твоим Марко. Только прежде чем ты продолжишь свой увлекательный рассказ, проясни мне, пожалуйста, некоторые моменты!

— С удовольствием!

— Во-первых, к стыду своему, я плохо знаю историю. Какой это крестовый поход? Их же был чуть ли не десяток.

— Четвертый и самый загадочный из всех. Взятие Константинополя франками и венецианцами.

— А, я вспомнила! У нас это было в курсе по Средним векам. Венецианцы поймали на крючок крестоносцев и использовали их в своей игре с Византией. Там ведь все плохо кончилось, да?

— Для всех, кроме Венеции. Для нее-то это стало началом многовекового расцвета.

— Ясно. Тогда второе — я не поняла несколько слов. Про большинство я догадалась по контексту, но что это за «щегла» такая?

— Мм... Это от древнескандинавского слова *sigla*, то есть мачта. Видишь ли, я же не знаю, как говорили венецианцы в начале тринадцатого века — да и никто не знает, потому что писали-то они тогда только по-латински — вот я и решил: пускай говорят на современном нам языке, изредка вставляя всякие архаичные словечки. Я понимаю, что стилизатор из меня никудышный...

— Нет-нет, у тебя очень живо получается! Во всяком случае, мне нравится. И держу пари, что ты — поэт!

— Давно уже нет.

— Так не бывает. Если поэт, то это на всю жизнь.

— Та моя жизнь давно и кончилась.

— Ладно, оставим эту тему, хотя я с тобой и не согласна. Объясни мне, что мешает Марко послать этого

Николо к черту? Он боится остаться в одиночестве? Ведь нет?

— Конечно же нет. Одиночество — его любимое состояние с тех пор, как умер отец. Хорошо ли ты себе представляешь плавание на боевой галере в те времена?

— Боюсь, что очень приблизительно.

— Вообрази себе длинную узкую ладью, метров сорок длиной и пять-шесть шириной. Вдоль бортов — банки для гребцов, ворочающих тяжеленные весла — по три человека на каждое. На Средиземноморье их называли пренебрежительно *chiurma*, или *zurma* в венецианском варианте. Я думаю, что это слово заимствовано у арабов, у которых *sh'warma* означает тонкие ломти мяса, жарящиеся на вертеле.

— Звучит цинично.

— Что поделаться, в те времена гребцами были рабы, а их не считали за людей. Так вот, между банками остается неширокий проход — метра полтора от силы. В трюме — припасы и оружие, так что для команды места остается совсем чуть-чуть — небольшой кубрик на корме. При этом отдельная каюта есть только у комита...

— Это капитан, да?

— Именно. Позже так стали называть начальника гребцов. Кстати, французское *comte* — граф — тоже происходит от этого слова. Короче говоря, жизненное пространство крайне ограничено, и по нему целыми днями болтаются два десятка изнывающих от скуки молодцов, поскольку делом заняты только моряки, а *virii navi pugnantes*¹ возможность размяться выдается редко. Это я говорю затем, чтобы ты поняла, что способов уединиться там ни у кого не было. Кроме Марко с его книгами.

— Но на суше-то он мог отделаться от Николо?

— Мог, но не хотел. Причина в том, что Марко составил для него гороскоп — да, он был весьма сведущ

¹ Морским пехотинцам (*лат.*).

в астрологии — согласно которому выходило, что Николо не вернется из похода, погибнув от руки единоверца, а еще — что он попадет в историю. Первую часть предсказания Марко утаил — к чему зря расстраивать молодого человека, не обремененного ни семьей, ни какими-либо обязательствами? — а то, что про него напишут в книге, конечно, сказал. По картам же он прочел, что погибнуть Николо суждено из-за блудницы. Вот Марко, без особой, впрочем, надежды перебороть фагум, и пытается по мере сил охранять своего распутного друга, и затем (и только затем!) сопровождает его во всех загулах, считая это своим христианским долгом. Николо к гаданию отнесся внешне скептически, однако, как видно, мысль о том, чтобы стать книжным персонажем, крепко засела у него в голове.

— Как трогательно! А что говорит Марко его собственный гороскоп?

— А собственный гороскоп Марко составить никак не может, потому что не ведает ни часа, ни дня, ни даже года своего рождения. Тут надобно сказать, что у него имеется к сарацинам личный счет.

В году от Рождества Христова тысяча сто девяносто первом на захваченном венецианцами недалеко от Акры египетском судне врач-путешественник Антонио Чеко... Почему ты смеешься?

— Нет, ничего... Продолжай, пожалуйста!

— ...заметил среди смуглых и черноголовых невольников мальчонку лет шести-семи, с золотыми волосами и фиалковыми глазами. И хотя ребенок был обрезан и говорил только по-арабски, Антонио ни на миг не усомнился в его христианском происхождении, поэтому усыновил и окрестил именем Марко — а как еще назвать венецианцу найденьша, если не в честь святого патрона Республики? Данное же им впоследствии сыну прозвище *Barabasso* — золотоцвет или огоньтрава, по-нашему — он объяснял тем, что тот был худой, долговязый и желтоголовый, как это целебное растение, распространенное повсеместно в странах

Середины Земли, по которым лекарь Чеко бродил в поисках медицинских знаний, ибо ими мусульмане в те поры были несказанно богаче европейцев. К этим сокровищам он стал приобщать сызмальства и Марко, оказавшегося на редкость смышленным парнишкой. К восемнадцати — приблизительно, разумеется — годам Барабассо вызубрил наизусть труды Гиппократ, Диоскорида, Галена и Павла Эгинского, которых читал по-гречески, изучил все работы Альбукасиса, Гебера, Альхазена, Разеса и Авиценны — по-арабски и на латыни. Сверх того он основательно проштудировал по-арабски же все доступные рукописи древних индийских врачей Чараки и Сурушты и досконально знал анатомию Бхатта...

— О, Боже мой! Из всех этих имен я слышала только два или три!

— Представь себе, что европейские врачи тогда ведали немногим больше тебя. И только благодаря Востоку мудрость древних пришла на Запад. Венецианцы в силу своих занятий находились как раз на границе между Востоком и Западом, и поэтому достижения восточной цивилизации были для них доступнее, а сами они оказались восприимчивее прочих европейцев. Но я отвлекся. На чем я остановился?

— На том, что Марко к восемнадцати стал ходячей библиотекой. Бедный мальчик!

— Ну, в остальном-то он был вполне нормальным юношей... Когда отец почувствовал, что стареет, и осел в родном городе, то решил, что Марко нужно получить лицензию врача и послал его в знаменитую медицинскую школу в Салерно. Но проучиться там Марко удалось лишь полгода, потому что Антонио серьезно заболел. Пока его письмо достигло сына, пока тот добрался до Венеции... В общем, Марко застал отца при последнем издыхании, в невнятном полубреду, из которого сумел понять только то, что он должен зачем-то отправляться в Святую Землю. Марко перерыл все бумаги Антонио в надежде найти хоть малейший

намек на смысл его наказа, но тщетно — и это было тем более странно, что отец всегда аккуратно заносил в свой архив все сколь-нибудь важные мысли и события.

— А откуда Марко знал, что это не было просто навязчивым бредом умирающего?

— Он и не знал. Он лишь допускал вероятность того, что это не так, и ему этого было вполне достаточно, чтобы ничтоже сумняшеся отправиться в поход. Бедный Марко не предполагал, что его соотечественники развернут корабли совсем в другую сторону. И вот долгие месяцы он мучается неизвестностью и невозможностью выполнить волю отца, и подолгу украдкой разглядывает загадочный медальон...

— Что за медальон?

— А я не сказал? Как же так? В любой мало-мальски интересной истории непременно должен фигурировать загадочный медальон. В нашем случае это была небольшая прямоугольная бляха темного серебра, с четырьмя квадратными камешками разных цветов и двумя выдавленными значками посреди, похожими на древнегреческие «дзету» и «каппу». А на обратной стороне значков было пять: первый — вроде перевернутого «Е», третий слева — такой же, как второй на лицевой, то есть, как бы «каппа», четвертый напоминал перевернутую «ро», а второй и пятый — одинаковые и вовсе ни на что не похожие.

— Я плохо воспринимаю такие детали на слух. Мне надо увидеть. Так откуда у него этот медальон?

— Медальон вложил ему в руку Антонио. Это было его последнее осмысленное действие.

— А что означают эти таинственные закорючки? И вообще, история и впрямь ужасно увлекательная, но с какой целью ты мне ее рассказываешь?

— Неужели ты из тех, кто заглядывает на последнюю страницу, чтобы узнать, чем кончится роман? Ты так удивилась, услышав мою фамилию — кстати, почему? — что я решил посвятить тебя в семейную легенду.

— Почему я удивилась, расскажу тебе, когда ты окончишь повествование. Мне тоже охота подержать тебя в напряжении.

— Ладно, тогда я, пожалуй, выпущу пару месяцев пути и даже само взятие Константинополя — не думаю, что батальные сцены придутся тебе по душе. Скажу лишь, что за все это время Марко удалось не обогреть рук ничьей кровью, а Николо, напротив, весьма отличился, поскольку был в передовом отряде, водрузившем знамя Сан-Марко на первую захваченную башню города и устроившем в нем первый пожар, а также участвовал в грабеже сарацинского каравансарая и других не менее славных делах, и в повторном взятии Нового Рима — спустя восемь месяцев, которые я тоже пролистну, как несущественные для нашего сюжета. Итак, двенадцатого апреля 1204 года началось великое разграбление Константинополя.

— Надо же, это мой день рождения!

— О, мне будет легко запомнить! Так вот, в этот дважды знаменательный день Марко, увлекаемый Николо, попадает в самое пекло как в прямом, так и переносном смысле этого слова.

* * *

Началось все с того, что за два дня до начала осады из лагеря на правом берегу Кераса вытурили всех шлюх. По сему печальному поводу Николо пребывал в мрачайшем расположении духа. Попытался было сунуться в Эстанор, но обыкновенно кипучий еврейский квартал словно вымер от чумного поветрия, лишь тут и там изредка от двери к двери перебежали трусцой пугливые отцы семейств, прижимая почтенные бороды к животам. И теперь сержант Майрано ходил с укусным лицом, срывая злость на подчиненных, занимавшихся подготовкой кораблей к штурму крепостных стен, и, похоже, не было во всем войске человека,

более него жаждущего через эти стены перебраться. Так шастал он взад и вперед, поглядывая на набычившийся и ощетинившийся свеженадстроенными укреплениями город, точно приравнивался, как половчее обратить этого гигантского зверя. Не случайно на второй день штурма он перепрыгнул с реи «Пилигрима» сразу следом за храбрым Альберти — упокой Господь его душу! — и какими-то тремя франкскими ноблями на верхний ярус сторожевой башни и умудрился принайти к ней брошенный с мачты конец, положив таким образом аллегорическое начало неслыханному унижению величайшей из земных империй маленькою морскою республикой.

Канат же с мачты бросал ему Марко. Впервые за все время похода военные действия казались ему оправданными — узнав о вероломстве и злокозненности греков и, в особенности, их вечно нахмуренного предводителя, подло умертвившего юного василевса и узурпировавшего пурпурные сапожки, он испытал доселе неведомый гнев и желание восстановить справедливость. К отмщению зывали также и сложившие накануне головы товарищи, сделавшись, как это зачастую бывает с покойниками, гораздо привлекательнее в воспоминаниях тех, кто остался в живых.

Впрочем, по странной случайности ему за три часа битвы так и не довелось ни обагрить меч, ни даже толком скрестить его с чужим — то ли из-за привычки быть в бою на подхвате, то ли из-за какой-то своей нерешительности — он все время мешкал, и кто-то из соратников успевал вклинитья меж ним и противником. Да и противник, надломленный неожиданной изменой Фортуны, отбивался вяло и скоро показал тыл, а пырнуть человека в спину Марко ни за что бы не смог себя заставить. Тем не менее пьянящее воодушевление всецело охватило его, и в пылу погони за неприятелем он сам не заметил, как вместе с горсткой своих попал в переплет узких извилистых улочек и проулков. Глухие высокие стены столь враждебно нависали над

зарвавшимися преследователями, что те скоро утратили азарт и остановились, испуганно озираясь. Где-то вдалеке — понять, где именно, в этом каменном ливере было решительно невозможно — трубы сыграли отбой атаки и общий сбор.

Николо стащил с головы шишак и, растерев собственный пот и чужую кровь по распаренному лицу краешком плаща, обвел запыхавшихся товарищей по оружию оценивающим взглядом:

— Не робей, братва! — нарочито бодрым голосом завел он речь на правах старшего по званию. — Гречики от нас улепетывают без оглядки, как жид — от свиного духа. Так что прорвемся!

— Знать бы только, куда рваться-то? — пробормотал коренастый Ризардо, с опаской поглядывая на стены, словно ожидал от них какой-нибудь каверзы.

— Вот если б на домах писали названия улиц! — подал голос Марко, — Тогда с хорошей картой можно было бы легко находить дорогу!

Остальные посмотрели на него, как на чокнутого.

— Ты совсем спятил со своими книжками, *бауко!* — ухмыльнулся Николо. — Скажи еще, что всех надо научить читать! Эй, цыц там, вояки! — бросил он загого-тавшей ватаге, — Мы тут не на своей палубе! Есть идеи получше?

— Ветер с утра б-был северный... — неуверенно начал долговязый заика Бенинтенди.

— Бэ-бэ... Ты захватил с собой парус? Нет? Тогда слушай меня все! — оборвал его Николо, хитро прищурился и спросил: — Спрашивается, за каким хреном нам возвращаться в лагерь? Нет, правда, ребята? Чтобы завтра кусать локти, глядя на то, как баронья будет делить сладкое с нашим начальством? Так, может, лучше порезвимся сейчас и возьмем свое? Имеем полное право!

— Дело рискованное, — неуверенно сказал дюжий Рамбальдо, поигрывая топором, — однако стоящее. Пожалуй, я — за!

¹ Дурень (*вен.*).

После недолгого препирательства решили проголосовать. В итоге Ризардо и малыш Бучелло высказались против, Бенинтенди колебался.

— Ну, что скажешь, дружище? — на сей раз льстиво обратился Николо к Марко. — Дело за тобой! Разделяться нам нельзя. Ты подумай хорошенько, у этих грамотеев, небось, в каждом доме столько книг, сколько ты за всю жизнь не видал!

Бог знает, почему Марко, намеревавшийся с самого начала высказаться категорически против, кивнул головой утвердительно. Впоследствии он часто задумывался о причинах своего поступка, но так и не смог объяснить его ничем, кроме вмешательства самого Провидения.

Он даже удивиться не успел, как оказался в арьергарде мародерского отряда. Через несколько минут кружения по пустынным закоулкам Майрано, что бежал впереди всех, раздувая ноздри, как кровавая гончая, внезапно остановился перед мраморными ступенями, что венчались небольшим изящным портиком с массивной железной дверью, украшенной медными накладками и монастырскими гвоздями.

— Стой! — скомандовал он. — Я чую запах женщины. И дом, по всему видно, богатый. Отсюда и начнем!

— Дверь шибко крепкая, — со знанием дела сказал Рамбальдо. — Топором такую не возьмешь, а тарана у нас нет.

— А ты головой своей попробуй, дубина! — беззлобно отозвался Николо, внимательно разглядывая забранные решетками арчатые окна. — Только ведро с нее сними, чтобы тихо было... Но лучше, — заявил он после недолгой паузы, — подсади-ка Бучелло на стену!

Сказано — сделано. Маленький жилистый Бучелло хорьком взлетел на плечи Рамбальдо и, изучив обстановку, отрапортовал:

— Все чисто. Пойду открою ворота, — и с теми словами скрылся за стеной.

Марко, все это время пребывавшему в некоем оцепенении от осознания ужасного факта собственного участия в банальном разбое, показалось, что прошло не меньше часа, прежде чем из-за двери донеслось негромкое звяканье и одна створка приоткрылась со звуком, напоминающим старческое кряхтение. В просвете показался Бучелло и махнул рукой, подзывая товарищей:

— Шевелитесь! Кажется, меня заме...хак! — тут раздался звонкий щелчок и Бучелло изумленно выкатил глаза, а изо рта у него далеко высунулся острый черный язык. Рухнув ничком, бедолага съехал по ступенькам и уткнулся головой в ноги Марко. Тот нагнулся и увидел торчащий в затылке Бучелло — ровнехонько под обрезом шлема — арбалетный болт.

— Ах вы, педерастовы дети! — взревел Рамбальдо и ринулся во двор, потрясая топором.

Следом за ним, заслоняясь *таржами*¹, рванулись Бенинтенди и Ризардо, и тотчас воздух наполнился лязганьем, воплями и запахом крови. Николо же, не спеша, сторожко заглянул за дверь, поморщился и бросил Марко, стоявшему на коленях возле трупа:

— Чего копошишься, как Иов на гноище? Затащи его внутрь и закрой ворота! Я вхожу, — и, слегка помедлив, скрылся из виду.

Когда Марко заволок тело наверх, звуки битвы уже смолкли. Отрешенно он ступил во двор, и его взору открылась печальная, хотя и привычная картина. Сразу подле входа на красиво вымощенной дорожке валялся с арбалетной стрелой во лбу Рамбальдо. Чуть поодаль сидел, прислонясь к колодцу, какой-то грек с рассеченной надвое головой. Далее лежали вповалку Бенинтенди и Ризардо, первый — с рубленой раной на груди, второй — со стрелой под лопаткой. Марко наклонился и проверил пульс у обоих — увы, они были мертвы, как камень, на котором лежали. Закрыв им глаза и прошептав коротенькую молитву, Марко двинулся к дому.

¹ Здесь — небольшой щит (от старофранкского *targa*).

На пороге он увидел раскинувшегося в луже крови человека. Вопреки ожиданиям, то был не Николо, а греческий воин, судя по раззолоченному нагруднику и дорогой кольчуге, весьма высокого звания. Лицо его было красиво и молодо, однако темно-русые ухоженные волосы обильно серебрились на висках. Сильная рука продолжала сжимать окровавленный меч — видимо, это от него пал Бенинтенди. «Что ж, он всего лишь защищал свой дом. Но где же Николо? И кто стрелял из арбалета?» — подумал Марко. В этот миг ромей открыл глаза и что-то прошептал. Марко приблизил ухо к его губам, но не смог разобрать ни слова, кроме «спаси». Затем раненый закрыл глаза, глубоко вздохнул, словно собирался уйти под воду, и умер. Перекрестив ему лоб, пробормотав *requiscat in pace*¹ и добавив на всякий случай *кирие элейсон*², Марко шагнул в дом и поразился его роскоши. Но разглядывать прекрасные мозаики, яркие фрески и кедровые плафоны было недосуг. Миновав вестибюль и просторный двухсветный триклиний с небольшим бассейном посреди, он после секундного замешательства направился на второй этаж — ведь стрелы-то летели сверху вниз. Марко взбежал по лестнице и прислушался. Ему почудилась какая-то негромкая возня справа, и он повернул туда, стараясь ступать как можно тише и не бряцать доспехом. Зрелище, представшее перед его глазами, когда он вошел, раздвинув тяжелые парчовые занавеси, в небольшую светлую горницу, заставило его остолбенеть.

В помещении было перевернуто вверх дном все, кроме огромной кровати, на краю которой лежала навзничь рыжеволосая девушка в разодранной надвое тонкой зеленой тунике. Запястья девицы были туго привязаны к затылку ее собственными косами, ноги в изысканных античных сандалиях закинута чуть ли не к самой голове, а между ногами тяжело пыхтел и раскачивался Николо. По полу были раскиданы

¹ Да почиет в мире (*лат.*).

² Господи помилуй! (*греч.*).

впережку кольчужная рубаха, лазурная шелковая стола с золотой каймой, перевязь с мечом, жемчужины с разорванного ожерелья, а наброшенный на треногу светильника красный плащ с белым крестом кольхался от сквозняка, словно бы осеняя и благословляя творимое здесь злодеяние.

Девушка, чье лицо было повернуто к Марко, лежала с закрытыми глазами, скорбно сведя брови и закусив верхнюю губу — нижняя была разбита до крови — и не произносила ни звука, лишь изредка негромко вскрикивая от особенно мощного толчка. Зачарованно глядя на то, как добрый *пые*¹ налитой плоти то и дело яростно таранит ее тайные врата, Марко ощутил неопишное возбуждение. Но внезапно он поймал на себе пронзительный темный взгляд сухих глаз насилуемой и содрогнулся от нестерпимого отвращения к себе самому — сообщнику ужасного надругательства. Что было силы он ударил себя кулаком в пах и перегнулся пополам от боли.

Услышав сдавленный стон Марко, Николо обернулся — правая щека его была расцарапана, а глаз заплыл.

— Ты цел? — поинтересовался он, не прекращая своего занятия, — Хорошо. Поможешь мне зайти эту гадину насмерть. Убить ее, суку, мало. Жаль, ребята не сподобились. Ну, ничего, мы ей за них отомстим.

— Что ты творишь, Николо? Ты же третьего дня вместе со всеми на Библии клялся не чинить насилия над женщиной! — вскричал Марко.

— Это не женщина! Это сколопендра в женском обличье! — Николо даже приостановился на миг от возмущения. — Ты что, не понял, что эта шлюха застрелила Бочелли, Рамбальдо и Бенинтенди? — он с удвоенной энергией возобновил движения, приговаривая: — Ничего, ничего, парни, сперва я уделаю ее спереду, потом хорошенько вставлю в зад, и так — покуда не надоест, а после засуну ей во все дыры ее же стрелы.

¹ Фут (*фр.*).

— Она защищалась от разбойников, как могла! Прекрати немедленно или!.. — Марко сделал шаг в сторону Николо и сжал кулаки.

— Или что? — насмешливо спросил Николо. — Больно ударишь меня кулачком? Не дури, приятель! Лучше не рыпайся и жди своей очереди, понял? — и отвернулся.

Все это время девушка неотрывно смотрела на Марко. Он судорожно вдохнул и бросился на Николо с такой силой, что отшвырнул его к дальней стене. Тот вскочил на ноги, глаза его побелели от бешенства, на губах выступила пена. В сочетании с вздыбленным фаллосом, которому позавидовал бы сам Приап, это выглядело настолько нелепо, что Марко невольно улыбнулся.

— Смеешься, гаденыш? Сейчас заплачешь! Я тебя распотрошу к чертям собачьим! — рявкнул Николо так свирепо, что ладонь Марко сама собой легла на рукоять меча.

Заметив это движение, Николо, не спуская глаз с вероломного приятеля, стал шарить рукой по бедру в поисках эфеса, но рука вместо того схватилась за другое — и единственное оружие, что было при нем.

— Ты меня *этим* собрался потрошить? — уже в голос засмеялся Марко. — Длина порядочная, но осмелюсь все же порекомендовать тебе что-нибудь потверже и поострее, — и он, подцепив носком сапога португепю Николо, кинул ее ему под ноги.

— Зря ты это сделал, щенок, зря, — заправив хозяйство в штаны и вооружась, Николо повеселел, — У тебя был шанс, но ты его упустил. Но в память о нашей прежней дружбе я убью тебя быстро! — пообещал он и встал в позицию.

По этой позиции Марко понял, что Николо не шутит, поскольку из нее он обычно наносил свой излюбленный удар, который мог удержать только очень сильный и высокий человек. Когда-то, когда Николо еще пытался научить Марко фехтованию, тому никак

не удавалось толком парировать этот прием, отчего все левое плечо у него было в огромных синяках. Но теперь в руке бывшего друга был не деревянный меч, а в глазах — нечеловеческая злоба.

Марко тяжело вздохнул и принял стойку. Меч его по-прежнему оставался в ножнах, а ладонь — на рукояти.

— Не думай меня разжалобить! — презрительно процедил Николо. — Вытаскивай свою смешную сабельку и защищайся, если хочешь умереть, как мужчина, а не как собака!

— Нападай! — тихо ответил Марко.

— Как знаешь, — пожал плечами Николо. — Тогда получай!

Он раскрутился всем корпусом и с невероятной силой разрубил пополам... воздух в том месте, где только что стоял Марко, и с изумлением уставился на свой живот, пересеченный горизонтальной красной линией. Потом перевел оторопелый взгляд на Марко, застывшего у него за спиной — на коленях, с клинком в расслабленных руках.

— Откуда, черт?... — прохрипел он, уронив меч и тщетно пытаясь удержать расседающееся чрево.

— Из книг. В книгах, Николо, — грустно ответил Марко, поднимаясь с колен, — не всегда пишут вранье. Оттуда можно почерпнуть много полезных сведений. Мне жаль, что все так закончилось.

Впрочем, последние слова были обращены уже к трупу.

Марко вытер о крестоносный плащ, потерявший хозяина, лезвие, одним точным движением вогнал его в ножны и лишь затем повернулся к безмолвной свидетельнице разыгравшейся драмы. Та лежала на прежнем месте с раскинутыми врозь ногами — не бесстыдно, но бессильно — и продолжала буравить Марко взглядом. Марко ненароком скользнул глазами по ее распахнутым чреслам цвета сверкающей меди, задохнулся и опустил взгляд.

— Хочешь занять место его? — неожиданно спросила девушка звучным голосом по-латински, слегка пришепетывая подобно всем грекам.

Не поднимая головы, Марко отрицательно помотал ею из стороны в сторону.

— Ежели так, то руки прошу развязать мне, ибо вовсе не чую уже их, — латынь гречанки сильно отдавала Вергилием.

— Ах простите меня, я — болван! — вскричал Марко, бросаясь на колени у изголовья пленницы, и добавил, как бы оправдываясь: — Но я хорошо знаю греческий!

— Это, конечно, в корне меняет дело! — ехидно ответила на родном языке девица, страдальчески морщась от его попыток распутать хитрый узел у нее на затылке.

— Увы! — через пару минут бесплодных усилий отчаянно воскликнул Марко, — Это невозможно расплести. Подлец Николо продел пряди в браслеты!..

— Тогда возьми нож и отрежь! — спокойно, будто речь шла не о ее роскошных волосах, а о ветке дерева, заслоняющей вид из окна, приказала девушка и добавила, поощряя Марко: — Я давно мечтала это сделать, но не было случая.

Горестно вздохнув, юноша вытащил кинжал и стал осторожно пилить тугие косы. Высвободив руки, девушка со стоном перекатилась на живот.

— Позволь мне размять твои плечи, дабы восстановить в них ток лимфы! — сказал Марко и, не дожидаясь разрешения, принялся за дело мягкими уверенными движениями, притом, что от каждого прикосновения к пациентке у него внутри все обмирало.

— А ты ловкий малый! Как тебя зовут? — спросила та уже без прежней едкости в голосе.

— Марко, к твоим услугам, — вежливо представился он. — Могу я узнать твое имя?

— Ты это заслужил. Меня зовут Тара.

— Тара? Но это не греческое имя!

— А кто тебе сказал, что я гречанка? Ты разве не заметил смуглоты моего тела, когда пялился на него, пока твой приятель насаживал меня на вертел? Тебя ведь это возбудило, верно? — Тара живо перевернулась на спину и вперилась своими яшмовыми глазами в глаза Марко, который тотчас отвел их, чтобы не смотреть на ее вновь раскрывшиеся прелести, — Не стесняйся в том признаться! Все мужчины этого грешного города были готовы отдать любые деньги за сие зрелище. Но я позволяла смотреть лишь избранным, не говоря уж про обладание мной. Так что тебе повезло — ты получил свое почти бесплатно — жизнь этого ублюдка стоила недорого.

— Господи Иисусе! — возопил Марко схватившись за голову, — Так ты!.. — он не договорил фразы, потрясенный до глубины души неожиданным пониманием того, что только что привел в исполнение приговор им самим предсказанной судьбы Николо.

Но Тара поняла его превратно и холодно произнесла, сузив глаза:

— Что, Андромеда на поверку оказалась блядью? — грубое, базарное слово, вырвавшееся из уст нежной девы, болезненно хлестнуло Марко по ушам, но вывело его тем самым из оцепенения. Тара же продолжала, саркастически усмехаясь: — И свою христианскую душу ты загубил напрасно, и дружка зря прикончил? Пусть бы себе тешился, раз я нечестная девушка, да? Только будь я честная, этот вонючий сатир меня в ключья бы изорвал своим пестом! Да по его глазам видно было, что он только того и желал!..

— Ты не поняла меня, Тара! — перебил ее филиппику Марко. — Я вовсе не скорблю о содеянном! Просто я до сего дня никогда не был рукой Судьбы. Но я также поражен и тем, что услышал — как такая прекрасная девушка могла предаваться блуду за мзду, да еще и со многими похотливцами одновременно?

— Им не вино давала я, но отстой! — ответила Тара.

— Я знаю, то слова гетеры Фрины. Но она-то была язычница!

— А ты на удивление образованный варвар! Но с чего ты решил что я — христианка? Да и любила я по-настоящему только Луку. Он был удивительным мужчиной, ученым и воином. Твой подлый дружок поразил его в спину.

— Перестань! Николо никогда не был моим другом. И я сожалею о твоём возлюбленном. Но ты сказала, что не христианка. Тогда кто? Иудейка? Мусульманка?

Тара отрицательно помотала своей по-мужски остриженной головой:

— Расскажу потом, если удастся унести отсюда ноги до того, как заявятся твои доблестные соратники, — она с трудом поднялась с кровати и охнула.

— Что, так больно? — участливо поинтересовался Марко, подавая ей руку.

— Сядь на кол, и узнаешь, как именно! — огрызнулась Тара. — Без помощи мне не обойтись, так что тебе придется идти со мной.

— Да мне и некуда больше идти, наверное, — задумчиво проговорил Марко.

— Вот и ладно. Поди к той нише, в ней есть мужская одежда. Выбери франкскую и принеси. Пожа-луйста!

Облачившись в мужское платье и даже перепоясавшись мечом, Тара сделалась похожа на хорошенького оруженосца, вроде тех, которых любили держать при себе иные воинственные епископы.

— Плащ придется позаимствовать у твоего... — Тара запнулась, — ...твоего бывшего союзника. Внизу есть потайной ход. Подождем, пока франки заполонят город, а ждать, я боюсь, придется недолго, выскользнем и смешаемся с ними. Так будет проще добраться туда, куда нам надо.

— Нам? — переспросил Марко.

— А ты до сих пор полагаешь, что оказался здесь случайно? — Тара приподняла бровь. — Пойдем-ка

вниз. Там есть еда и вино. Дай мне руку. Занятно, ты пахнешь совсем не как латинянин. Но и не как ромей.

— А как?

— Как ангел. Но грязный. Которому не помешает помыться. Да и мне тоже, после всего этого... Слуги разбежались, поэтому топить печь и носить воду придется самим, ну, то есть, тебе. А пока что расскажи, где ты научился индийской защите?

* * *

— Уфф... На сегодня хватит, пожалуй.

— То есть, как это? Я протестую! На самом интересном!..

— Продолжение завтра!

— Завтра, завтра, не сегодня — так лентяи говорят!

— Нет, я решительно более не в состоянии лежать в постели с восхитительной женщиной, рассказывать сказки и одновременно сдерживать свое звериное начало! Это какая-то «Тысяча и одна ночь» наоборот получается. Я прекращаю дозволенные речи!

— Так вот почему ты наговорил всех этих непристойностей! А я-то наивно полагала, что это необходимая часть повествования!

— Конечно, необходимая! К тому же, как говорил один мой знакомый писатель — кстати, русский — немножко эротики в серьезном тексте никогда не помешает. Это взбадривает заснувшего было читателя.

— Неправда, я не засыпала, а просто закрыла глаза! И все время, кстати, чувствовала это твое... звериное. Скажи, только честно, а тебя бы возбудило, если б ты увидел, как меня, ну... вот как эту Тару?

— Разумеется, ибо это естественная реакция подкорки головного мозга — мы, мужчины, в этом смысле весьма примитивно устроены. Другое дело, что затем кора моментально перехватила бы контроль, ведь тем

люди и отличаются от животных, что имеют возможность постоянно противостоять своим первобытным инстинктам. Жалко, что мало кто этой возможностью пользуется...

— Знаешь, в твоём рассказе меня многое удивило. Я не предполагала, например, что в Константинополе, где была тысяча церквей, и все ходили замотанные в материю от головы до пят, бытовали такие разнужданные нравы. То, что ты описал, скорее, похоже на Древний Рим в эпоху упадка.

— Знать предавалась разврату везде и во все времена. А чем сильнее религиозные ограничения, тем больше соблазн их нарушить.

— Ну, допустим. Но эта... куртизанка! Сперва расстреляла троих человек, потеряла любимого человека, была изнасилована, а после как ни в чем не бывало разговаривает с Марко, ехидничает и чуть ли не заигрывает с ним! Таких женщин не бывает! Даже в России.

— Видишь ли, эта Тара существовала на самом деле и была необыкновенной женщиной. И моей пра — во семь раз — прабабушкой. Но об этом ты узнаешь завтра.

— Ты же говорил, что это семейная легенда! А теперь выходит, что это — быль?

— У каждой легенды есть реальные корни. У этой — манускрипт тринадцатого века, история, записанная со слов Марко его сыном. Я лишь по мере сил беллетризировал ее и допускаю, что погрешил против истины в мелких, несущественных деталях. Я ведь не специалист по медиевистике и не глубокий знаток византийских реалий.

— Да-да, ты сказал что он вошел в триклиний, в котором был бассейн, а это помещение, насколько я помню, называлось атрием.

— Нет, в Византии это слово стало означать просто парадный зал. Но это все совершенно неважно.

— А что важно?

— То, что ты — тоже необыкновенная женщина. И поэтому во мне опять пробуждается животное!

— Какое именно? Кролик?

— Молчи...

...

— Ты спишь?

— Да. И вижу сны. А ты?

— Не могу. Я счастлива. Впервые за много лет. Может быть, и вовсе — впервые.

— Не надо плакать.

— Это не слезы. Это ночная роса. Ничего. Обними меня. Крепко-крепко.

— Вот так?

— Да. Чтобы мое счастье было между нами и не могло убежать.

— Все убегает.

— Да, но знаешь, я даже поверила в то, что сказал Шоно. Что у меня будет долгая жизнь.

— Шоно зря не скажет.

— Но ты ведь будешь со мной? Зачем мне долгая жизнь без тебя?

— Очень постараюсь. Я ведь тоже заинтересованная сторона.

— Я тебе тоже почему-то верю. Хотя у тебя и лукавые глаза.

— Хочешь молчать или разговаривать?

— Разговаривать. Сейчас мне кажется, что я никогда в жизни не разговаривала. А о чем?

— О чем хочешь. Расскажи, почему тебя так удивила моя фамилия.

— О, это очень забавно! Один русский писатель — ссылаясь на разных русских писателей уже становится доброй традицией наших с тобой бесед — написал детскую сказку «Золотой ключик». Я читала ее... своему сыну. Так вот, помимо того, что название сказки звучит почти так же, как твоя выдуманная фамилия, так еще и одного персонажа там зовут Карабас-Барабас. Суди сам — могла ли я не удивиться такому двойному совпадению?

- Про что эта сказка?
- Про приключения деревянного человечка. Что-то вроде «Пиноккио», но гораздо веселее и без всякого морализаторства. Почему ты вскочил?
- Кажется, мы с тобой ссылались не на разных, а на одного и того же писателя. Как зовут твоего?
- Толстой. Но не тот, который с бородой, как метла, Лёв...
- Знаю, знаю! Это он! Черт побери, теперь все стало ясно! Шоно был прав, как всегда, нет, как никогда!..
- Да что случилось-то? Отчего ты так разволновался?
- Оттого, что это вовсе не совпадение! Отнюдь нет! Ты должна мне сейчас все рассказать!
- Что именно, дорогой?
- Все, что тебе известно про этого человека и его сказку. Ты хорошо ее помнишь?
- Думаю, да... Ну, то есть, более или менее. Ты уверен, что дело не терпит отлагательств? День был такой... насыщенный, я устала.
- Нет, прощу тебя, сейчас! Хотя бы в общих чертах, и главное — чем она отличается от «Пиноккио»!
- Боже, какая ажитация! Можно подумать, это вопрос жизни и смерти!
- Это именно что вопрос жизни и смерти! Я тебе потом все объясню. Но сперва мне надо узнать как можно больше о той сказке. Особенно интересно, не показалось ли тебе что-нибудь в ней странным. Итак?
- Итак... Кое-что и вправду показалось. Ну, то есть, я не придавала особого значения. Но моя сестра Катя, которая работала редактором в издательстве детской литературы, говорила что у Толстого был с ними договор о переводе «Пиноккио», но тот все никак не сдавал рукопись, потом речь шла уже не о переводе, а о создании сказки по мотивам, но дело опять не двигалось, а зимой тридцать четвертого у него случился очень тяжелый инфаркт, и он забросил остальную серьезную

работу и написал-таки сказку. Это тем более удивительно, что в тот момент он вообще не был уверен, что выживет.

— Это-то как раз не удивительно. Что еще?

— Еще? Не знаю... Ну, разве что, предисловие. В нем Толстой объяснял читателям, что он-де читал в детстве сказку Коллоди, а потом часто пересказывал ее другим детям, каждый раз прибавляя что-то от себя, пока она не превратилась в его собственную. Но, как я только что сказала, он работал над переложением «Пиноккио» во вполне зрелом возрасте, к тому же я точно знаю, что первый перевод на русский был сделан никак не раньше тысяча девятьсот восьмого года, когда Толстой уже не был ребенком. Конечно, возможно, что он читал в оригинале...

— Он не знал итальянского.

— Тогда, выходит, что это — вранье?

— Скорее, чересчур явная мистификация. Своего рода предупреждающий знак о том, что текст нельзя воспринимать буквально. Прием, известный с античных времен.

— О, знающим людям это и без того было ясно! Он написал по сути дела одну большую карикатуру на многих известных деятелей искусств, а некоторые усматривали там даже сатиру на советскую действительность, хотя лично я ничего такого не заметила...

— Полагаю, что все не так просто. То было ложное двойное дно для отвода глаз.

— ...зато я уловила там массу христианских аллюзий.

— И неслучайно. Они есть и у Коллоди. Не могла бы ты вкратце пересказать мне саму сказку?

— Как я понимаю, ответ «не могла» тебя ведь не устроит? Ох... Дай мне, пожалуйста, сигарету!

— Второе название сказки — «Приключения Буратино». Толстой выбросил Пиноккио и сделал итальянское слово, обозначающее марионетку, именем собственным. Все начинается с того, что некий пьяница-столяр Джузеппе, обнаружив у себя в мастерской говорящее полено, преподносит его, от греха подальше, своему другу — уличному шарманщику Карло, и рекомендует вырезать из полена куклу, которая будет петь и плясать на потеху публике. Тот принимает подарок и следует совету приятеля.

— Пока что, кроме имен, всё так же, как у Коллоди.

— Это пока. Живет Карло под лестницей в убогой каморке, на стене которой висит кусок старого холста с изображением очага и котла над ним. Оставшись один, деревянный человечек сует в котел свой длинный нос и проделывает в холсте дыру. Сквозь отверстие он видит потайную дверцу. Далее следует бой с крысой, от которой Буратино спасает Карло. Этого у Коллоди не было.

— И это очень важный момент! Я имею в виду холст и дверцу.

— Затем все развивается в точности как в оригинале, только в театре Буратино устраивает потасовку на палках с Арлекином, а длиннобородого хозяина кукол зовут Карабасом-Барабасом.

— Барабас — это понятно почему. А Карабас... Наверяд ли он намекал на историю Флакка Авилия, скорее, просто взял созвучное сказочное имя из французских сказок — для усиления комического эффекта. Хотя, кто знает...

— Я не совсем понимаю.

— Извини, все комментарии потом. Продолжай, пожалуйста!

— Дальше все снова, как у Коллоди, только девочка с лазурными волосами у Толстого — никакая не Фея, а кукла Мальвина, сбжавшая от хозяина театра. Кот

и лиса подвешивают Буратино на дерево — но за ноги — потом по приказу синевласой девочки животные снимают его, а трое врачей собираются на консилиум, потом он сбегает и снова попадает в дурную компанию. Но с того момента, когда Буратино теряет свои золотые монеты, сюжеты утрачивают всяческое сходство.

— Ну, на сцене повешения Коллоди планировал завершить сказку, поэтому дальнейшие перипетии, досочиненные по настоянию читателей, к делу отношения не имеют. А вот то, как с этого места продолжал Толстой, мне очень интересно.

— А у Толстого героя бросают в пруд, где он, разумеется, не тонет. Затем хозяйка пруда, древняя черепаха, жалеет его и дарит ему золотой ключик, который некогда обронил в воду Карабас-Барабас. Ах, да! Я забыла сказать, что когда Буратино был в руках у хозяина кукол, он поведал тому о виденной за холстом потайной дверце в каморке папы Карло, отчего Карабас-Барабас пришел в страшное возбуждение и отпустил Буратино, одарив золотыми монетами. Далее хозяин ключа узнаёт от все той же черепахи, кому та отдала его утерянную собственность — я так и не смогла понять, зачем черепахе понадобилось выдавать этот секрет — а Буратино хитростью выведывает у него самого, где находится потайная дверца. После нескольких баталий Буратино, Карло, кукла с голубыми волосами, ее воздыхатель-поэт и верный пудель оказываются перед заветной дверцей, на которой изображен мальчишка с длинным носом — еще одна загадочная деталь — и, через подземный ход убежав от преследования Карабаса-Барабаса и полиции, обнаруживают волшебный кукольный театр-мечту и становятся его хозяевами и актерами. Злой же кукольник остается в дураках. Вот такой вот светлый коммунистический финал. И еще одно наблюдение — случайное, впрочем. Я читала сыну эту книжку на сон грядущий, каждый раз останавливаясь с наступлением

ночи в сказке, и сосчитала, что от сотворения Буратино действие заняло ровно семь дней. Исчерпывающе?

— Вполне!

— А теперь я требую разъяснений!

— Изволь. Но, предупреждаю, это длинная история!

— Ничего, спать мне уже расхотелось, а до утра осталась еще целая пара часов.

— Что ж, слушай.

* * *

Осенью двадцать второго года, хотя, возможно, и весной двадцать третьего, не помню, но точно по окончании интернатуры, я жил весьма расслабленной жизнью в Берлине у Шоно — позволил себе небольшую передышку от учебы и работы. Как-то раз, прогуливаясь с моим учителем музыки герром Винклером по Курфюрстендамм, я увидел элегантно одетого, дородного человека с редковатыми волосами и в старомодном пенсне. Человек этот стоял у витрины какого-то дорогого магазина и мрачно ее разглядывал. Обут он был в умопомрачительные желтые ботинки, напоминавшие лыжи — эта деталь накрепко засела у меня в памяти из-за ассоциации с известным историческим анекдотом про императора Франца-Иосифа и генерала фон Бека. Человек в лыжах и пенсне оказался знакомцем Винклера, который тут же бросился к нему чуть ли не с распростертыми объятиями. Тот, однако, как я заметил, особой радости от встречи не выказал и ограничился вялым рукопожатием. Обменявшись со знакомым парой фраз по-русски, Винклер подтащил его ко мне и восторженно объявил: «Марти, позволь тебе представить нашу знаменитость! Граф Толстой, талантливейший литератор!» Надо сказать, что в те годы Берлин просто-таки кишел русскими знаменитостями — нельзя было и шагу сделать, чтобы не наступить на ногу

русской знаменитости, или члену семьи русской знаменитости или, в крайнем случае, другу семьи русской знаменитости. По сему поводу я воспринял представление почтенного Александра Адольфовича весьма скептически, и, недолго думая, брякнул что-то вроде того, что счастлив увидеть воочию гения русской словесности в добром здравии. Тяжелое, как посмертная маска, и при этом почти женское лицо графа — каким-то образом одновременно холеное и потасканное — на мгновение поморщилось и тотчас изобразило холодную и надменную улыбку. Не ощутивший двусмысленности моего приветствия Винклер продолжил: «А это мой добрый друг и ученик Мартин, сын Германна Зудерманна!» В тот же миг взгляд Толстого внезапно сделался живым и цепким, а лицо — симпатичным. Очевидно, названная фамилия была ему хорошо знакома.

— Приемный сын, — поспешил внести определенность я, но это известие никак не отразилось на писателе.

— Рат познакомится, господин Зудерманн! — звучным баритоном пророкотал он с ужасным акцентом и как старший первым протянул мне руку, вылепленную из сырого белого теста. На ощупь рука, впрочем, оказалась сухой, теплой и даже весьма энергичной. На пальце ее искрился крупный бриллиант.

— Моя фамилия Гольдшлюссель, с вашего позволения. Доктор медицины Мартин Гольдшлюссель, — отрекомендовался я сухо.

— Мои предки в тринадцатый век покинули Германию, поэтому я, увы, не хорошо говорю по-немецки, — заявил он торжественно.

— Мои предки в тринадцатом веке только переселились в Германию, — в тон ему ответил я, — Видимо, они разминувшись с вашими. Но мы можем перейти на французский, английский или итальянский, если вам будет угодно!

— О, нет! — рассмеялся он весело и покачал головой — Мой немецки будет причинять вам наименьший страдание. Я совсем не способный к языкам, совсем.

Этим он меня подкупил. Мне всегда импонировали люди, умеющие смеяться над своими недостатками. В те же времена — а я был еще мальчишкой — самоирония и вовсе казалась мне величайшей из добродетелей человеческих.

Убедившись, что контакт налажен, профессор тепло распрощался и ускакал на концерт какой-то очередной знаменитости. Граф светски взял меня под локоток и завел беседу о моих предках. Когда он узнал, что те прибыли из Константинополя, то сообщил, что и сам там побывал, убегая от большевиков. Разговор плавно перетекал с темы на тему, а мой собеседник умело направлял и поддерживал его и при этом больше слушал, нежели говорил. Через некоторое время неуклюжие словесные конструкции перестали резать мне слух, ласкаемый прекрасно модулируемыми звуками голоса, их произносящего. Что говорить, я был совершенно очарован графом и, сам того не замечая, распустил язык.

В конце концов речь коснулась нынешних занятий Толстого, и он, в частности, поведал о том, что переводит в соавторстве с некоей дамой знаменитую сказку Коллоди — «ну, вы понимает, переводит она, а я делает его настоящий литература» — и посетовал, что материал «добротный очень» до определенного места, а после оного начинается страшно заунывная, вымученная чепуха, и что у него «причесываются руки» — именно так он сказал — все взять и переписать по-своему.

Эта часть разговора происходила уже в ресторане «Schwanepesk», куда, как будто ненароком, затянул меня граф. Он сделал роскошный заказ на двоих, долго морщился, принимаясь к предлагаемым винам, и вообще производил впечатление завсегдадая, необычайно искушенного в желудочных радостях. Заполучив, наконец, достойный своего высокого титула напиток, он собственноручно и весьма ловко разлил его по бокалам, после чего всем своим видом изъявил готовность внимать каждому моему слову.

Я в те поры не был чужд юношеского тщеславия, а умудренные жизнью сорокалетние мужи редко прислушивались к моему голосу, тогда как в голове у меня роились сонмы гениальных идей и оригинальных силлогизмов. Неудивительно, что заполучив такую завидную аудиторию, я распустил перья, что твой павлин. Немалую роль, конечно, сыграло и мозельское, которое мой неутомимый сотрапезник то и дело подливал мне в бокал.

Для начала я рассказал ему историю написания «Пиноккио», затем, коснувшись с небрежностью посвященного вопросов герменевтики, в коих граф оказался на удивление несведущ, спросил его, читал ли он Майринкова «Голема». Тот с видимым сожалением ответил, что за неимением времени не успел ознакомиться с недавно сделанным переводом, и лишь в общих чертах знает содержание. Тогда я поинтересовался, не бросилось ли ему в глаза странное сходство обрабатываемой им сказки с «Сирано» Ростана — ведь там тоже длинноносый забияка в самом начале попадает в *театр*, затем выдает себя за красивого *настоящего* мальчика, а в конце погибает от сброшенного на голову *полена*? Знает ли граф, что реальный Сирано, родившийся в Париже и никогда не бывавший в Гаскони, имел вполне заурядный нос? Было видно, что Толстой поражен этим откровением до глубины души — он выпучил глаза и даже приоткрыл рот, придав лицу глуповатое выражение. Правда, потом мне говорили, что он был прекрасным актером, а судя по твоему рассказу, он многое хорошо запомнил и ввел в действие сцену дуэли в кукольном театре неспроста. Как неспроста, полагаю, появилась кукла Мальвина — ведь настоящее имя Роксаны было Мадлен, то есть Магдалина. Кстати, история с лазурными волосами весьма забавна, но об этом позже.

Но, продолжал я тогда, наслаждаясь его реакцией, у меня есть доказательство того, что за обоими этими произведениями стоит некая легенда семнадцатого

века о создании искусственного деревянного человека! Более того, я лично читал по-древнееврейски рукопись середины шестнадцатого века, в которой повествуется об этом событии! И, наконец — разошелся я под винными парами — имею все основания утверждать, что деревянный человек действительно был создан — и неоднократно!

Тут граф вежливо выразил сомнение и, пожав плечами, заявил, что ни капли не верит ни в каббалу, ни в какое-либо прочее тайное деланье. Вот как? — в запальчивости вскричал я. — А если я вам скажу, что это случилось с моим предком? И более того — что мне известна вся магическая процедура! На это граф с иронической улыбкой осведомился, отчего же я тогда сам до сих пор не сотворил своего гомункулуса.

И тогда я рассказал ему Настоящую Историю о Деревянном Человеке.

Не знаю, насколько граф сумел понять ее — в азарте я, наверно, злоупотреблял слишком сложной лексикой — но впечатление, похоже, произвести мне удалось. Во всяком случае, когда я по окончании рассказа на нетвердых ногах удалился по естественной надобности, он пребывал в состоянии крайней задумчивости и что-то чертил ложечкой на недоеденном десерте. Вернувшись же, я вместо него обнаружил на столе нацарапанную с орфографическими ошибками записку, в которой он благодарил меня за чудесный обед и в высшей степени увлекательную беседу. Счет, прилагавшийся к записке, был страшен.

На следующий день Винклер предолго сокрушался по поводу того, что не предупредил меня об известной всему русскому свету склонности графа к красивой жизни за чужой счет. По его словам, это извинялось необычайным талантом Толстого. Что ж, хоть я и был зол, как тысяча чертей, в одночасье лишившись половины месячного бюджета, но не мог не признать, что граф произвел экспроприацию и впрямь необычайно талантливо. Некоторое время я злился и на самого

себя, за чрезмерную болтливость, но впоследствии выбросил это из головы, решив, что граф, имевший в отношении меня совсем другие виды, не обратил особого внимания на мои излияния, да и просто по большей части их не понял. Как выяснилось сегодня, я глубоко заблуждался.

* * *

— Ну и ну! Даже не знаю, чему больше удивляться — самой истории или тому, как ты ее изложил!

— А что не так с моим изложением?

— Как тебе сказать... Когда я закрывала глаза, у меня возникало стойкое ощущение, что ты читаешь мне вслух из книги.

— И что с того?

— Да нет, ничего! Просто, обычно люди так не говорят. Слыхивала я блестящих рассказчиков — филологов старой школы, но даже они тебе в подметки не годятся.

— Ну, ничего особенного тут нет. Это дрессировка Шоно. К тому же я прежде излагал сей анекдотец как минимум раза три, не считая нынешнего, вот и выучил текст наизусть.

— Экий ты скромник! Но каков граф! Определенно, в образе авантюриста Буратино он запечатлел сам себя!

— На самом-то деле, когда я сообразил, что он в точности разыграл сцену в харчевне «Красный рак», где в роли простофили Пиноккио выступил твой покорный слуга, то очень долго хохотал. Это действительно был тонкий розыгрыш, хотя и жестокий.

— Наверное, он решил, что раз ты — сын Зудерманна, то непременно богат. Не думаю, что в противном случае он бы так поступил.

— Хочется верить. Да и я не остался внакладе — получил не только урок, который дорогого стоил, но и нечто гораздо более ценное.

— Что именно?

— Потом скажу.

— Ты несносен! Все потом да потом! Я умираю от нетерпения узнать, что это за легенда о деревянном человеке и что это за магический ритуал такой?

— Хорошо. Графу я по понятным причинам излагал сокращенный вариант легенды — тебе же расскажу всю целиком.

* * *

В славном городе Кракове на холме Вавельском жил мудрец по имени Йефет Барабас, благословенна память его. И служил он при дворе у доброго короля Зигмунда, защитника евреев. Был он сведущ во всех науках: врачевании, астрологии, алхимии, а уж каббалу знал не хуже самого рабби Иссерлеса. Однако учеников у него не было, и все свои знания он передавал только сыну своему Йосефу. Но в помощи Барабас не отказывал никому, хотя и пользовал самого короля, и денег с бедных людей не брал. Злые языки говорили: «Зачем ему деньги, если он умеет делать золото из воздуха?» Может быть, он и умел, но жил скромно и много жертвовал общине. Христиане же утверждали, что Барабас водится с нечистой силой, и чурались его.

Однажды он увидел, как скверные мальчишки повесили черного кота, выколов ему перед тем один глаз и всячески измучив. Барабас прогнал мальчишек и спас кота, и тот стал служить ему верой и правдой. А в другой раз Йефет вытащил из капкана лиса и тоже взял к себе домой, и хромой лис сделался его верным помощником.

У доброго короля Зигмунда была любимая жена Барбара — первая красавица в королевстве, а может — и во всем свете: глаза — как темный янтарь, губы — как кораллы, зубы — как жемчуг, кожа — как золотистый атлас, а волосы — как морской песок. Но вот беда —

никак не могла она родить королю дитя. Зигмунд решил, что этому виной ворожба его матери, которая ненавидела невестку, поэтому призвал к себе мудреца и велел ему снять с жены порчу. Барабас же быстро понял, что бесплодна не Барбара, а король, и тут уж ничего не поделаешь. Но как о том сказать Зигмунду?

А когда Барбара узнала, что ей не суждено родить любимому мужу наследника, то стала горько плакать и говорить, что теперь уж старая королева ее наверное изведет, а если и нет, то заставит Зигмунда ее бросить. Так горевала красавица и убивалась, что дрогнуло сердце старого мудреца, и решил он взять большой грех на душу, чтобы ей помочь. И сказал он Барбаре: «Готова ли ты ради счастья мужа своего пойти на великий обман?» Барбара поняла его по-своему и разгневалась не на шутку, но Барабас сказал, что подразумевал не измену, а подмену. «Читал я в древних книгах про то, как чародеи изготавливали человеческий идол и вдыхали в него жизнь, — сказал Йефет, — И вот думаю сделать тебе сына из дерева. В глазах у всех будет он как настоящий живой младенец, который вырастет и станет великим королем, потому что мои чары и твоя любовь дадут ему волшебную силу убеждать людей». Так сказал Барабас.

Королева спросила, как же скрыть от мужа то, что в самом деле не чревата. На то Барабас ответил, что даст ей особую мазь, от которой на коже возникнет видимость язв и сыпи, но — успокоил он красавицу — достаточно будет протереть их водой с уксусом, и все исчезнет бесследно, и уговорит Зигмунда как бы из-за опасности заразиться не прикасаться к жене девять месяцев, хотя это будет и нелегко, ибо король и дня не мог прожить без ласк своей возлюбленной. Но это все пустяки в сравнении с тем, чтобы сотворить деревянного мальчика.

И Барбара согласилась, не долго думая. Тогда Барабас попросил королеву с нынешней ночи хорошенько запоминать все, что ей приснится, и ушел.

В третью ночь Барбара увидела во сне незнакомый город. Она пошла по безлюдным улицам, и те привели ее к широкой реке. Там королева встретила прекрасного белокурого юношу, стоящего на каменном мосту. Юноша был печален. Барбара подошла к нему и спросила, отчего он грустит. «Я уронил в воду золотой ключ от счастья», — ответил тот.

В пятую ночь юноша вновь приснился Барбаре, но теперь он уже стоял, тоскуя, подле маленькой дверцы в высокой каменной стене. Барбара спросила, что опечалило его на сей раз, и молодой человек горестно воскликнул, что даже будь у него ключ, как бы смог он пройти в такую маленькую дверь?

Все это рассказала мудрецу королева, не забыв описать в подробностях город, и так узнал Барабас то, что ему требовалось. Он снабдил Барбару обещанной мазью и сказал, что уедет на несколько месяцев.

Скоро он собрался в путь, сел в повозку и направился в город Магдебург, который узнал по описанию королевы. А кот и лис, само собой, поехали вместе с хозяином. А поскольку в Майсенскую марку въезд евреям был тогда заказан, прикинулся Барабас странствующим лекарем из Италии.

Через месяц или через два прибыли они в Магдебург, и стал Йефет думать, как достать из реки ключ. Тут кот и говорит ему, (а Барабас понимал язык птиц и зверей): «Дай-ка, хозяин, я попробую!» Пошел кот на реку, встал под тем самым мостом и начал ловить рыбу. Наловил много, да все попадалась не та. И только на десятый день выловил он, наконец, рыбку, которая приходилась дочерью Хозяину реки. За то, чтоб кот отпустил ее, Хозяин реки предлагал ему все монеты, которые люди уронили в воду, а было таких несметное количество, но кот вытребовал у Хозяина реки золотой ключ и принес его Барабасу.

А Барабас тоже времени даром не терял и отыскал дверцу, которую надо было отпереть золотым ключом. И когда они отворили дверь, пришла очередь хромому

лису сослужить свою службу. Узким подземным ходом пробрался он в тайную комнату, обманул трех железных собак, стороживших ее, и принес Барабасу то, что тому было надобно — древнее кедровое полено и кусок холстяного полотна.

С тем вернулся Йефет в Краков и тотчас засел за свои магические книги. Прошло еще два месяца, прежде чем он понял, что может свершить замысленное.

Барабас пришел к королеве в ее покои, а с ним кот и лис, а оттуда все вместе они спустились в подвал, где не было ничего, кроме стола. Полено они поставили на стол, а сами встали по четыре стороны. Барабас начертил на холсте невидимые магические знаки и накрыл им полено. Потом он велел королеве закрыть очи и строго-настрого запретил ей подглядывать, иначе случится несчастье. И коту с лисом он сказал то же самое, а еще залепить уши воском. И все по его приказу взялись за концы холста и закрыли глаза. И Барабас пропел необходимые заклинания. И сделался свет такой силы, что ослеплял даже сквозь веки, и был звук, от которого содрогнулись стены старого замка.

И все бы кончилось хорошо, кабы на беду свою Барбара из женского любопытства на миг не приоткрыла глаза. Она не выдержала удара небесного света и умерла, успев лишь на прощанье поцеловать в чело свое обретенное ценою жизни чадо.

В великой печали Барабас отнес тело королевы в ее опочивальню и тайно покинул дворец, забрав с собой созданное им существо.

С того дня стал Барабас сам растить деревянного человечка, которого назвал Кедровым Орешком. Малыш рос весьма умным и пригожим, но то ли оттого, что ему не хватало материнской любви, что сделала бы его добрым, то ли из-за того, что волшебная холстина была немного прорвана посередине, злое начало *yetzer-hará* в нем проявилось с первых дней. Еще лежа в колыбели, он так сильно дергал Барабаса за бороду, что

у того слезы текли из глаз, а едва научившись ходить, принялся мучить кота и лиса. Но Барабас сдерживал свой гнев, ибо жалел и любил маленького чертенка. К тому же он полагал, что действия единственного поцелуя хватит ненадолго, и без поддерживающей силы материнской любви творение его скоро зачахнет. Так думал Барабас.

Однако Орешек оставался на удивление бодр и резв. Бывали дни, когда он вдруг просыпался поутру милым мальчиком, был красиво причесан и шалил не более обычных детей, но уже через пару дней каверзы возобновлялись. Барабас ломал голову, но не мог постичь причин такого странного явления.

Орешек, как и предсказывал Йефет, обладал необычайным даром убеждения и к тому же был прирожденным, если так можно про него сказать, лицедеем — часами он мог торчать перед зеркалом, кривляясь и строя всевозможные гримасы, или подражать голосам людей и зверей. Эти свойства природы всегда помогали ему избежать наказания за проделки.

Но вот однажды произошло событие, которое пролило свет на загадочные перемены в поведении Орешка. Как-то раз своей очередной пакостью он окончательно вывел из себя Барабаса, и тот решил его хорошенько проучить и приказал коту и лису подвесить злобесного мальчишку на крюк в темном чулане, чтоб провисел на нем с вечера до утра. Что и было исполнено к вящему удовольствию кота и лиса, немало пострадавших от Орешковых проказ. Той ночью Барабасу явилась душа Барбары и стала требовать снисхождения к несчастному сироте. Пораженный маг уступил ее просьбе и снял сорванца с крюка. Бесплотный дух королевы тотчас подлетел к ребенку, обнял его и стал ласково гладить по лохматой голове. Поскольку Орешек ничуть не испугался, а, напротив, стал ластиться к призраку, урча и мяукая от наслаждения, стало ясно, что происходит такое не впервые. И тогда понял Барабас, почему тот до сих пор жив.

Так продолжалось несколько лет, и Орешек начал ходить в школу, и хотя учился он без должного рвения, но благодаря своим талантам ходил в первых учениках. Призрак матери посещал его каждую ночь после исхода субботы, пока не случилось несчастье.

Овдовевший Зигмунд лишился сна и покоя. И ничего он в жизни уже не хотел, кроме того, чтобы еще раз увидеться со своей любимой. И нашлось двое нечестивых чернокнижников, что за большие деньги предложили обезумевшему от горя королю устроить свидание с нею. Поймав в хитроумную западню из зеркал несчастную душу Барбары, они предъявили ее Зигмунду. Забыв про строжайший наказ не приближаться к призраку, король попытался заключить милый образ в объятия, но лишь разбил одно из зеркал. Из-за этого бедный дух потерял дорогу на небеса и должен был в наказание вновь воплотиться в земную женщину. Так сказал призрак, когда с громкими стенаниями прилетел проститься с сыном в неурочный час. Барабас, присутствовавший при том, заклинал духа сказать, в кого ему надлежит переселиться, но ответа не получил, ибо духам запрещено открывать эту тайну. «Ответь хотя бы, в каком краю искать тебя!» — взмолился Орешек. «В Англии», — был ответ. Тут прокричал петух, и призрак исчез.

А на следующий день бесследно исчез и Орешек. Говорили, что кто-то видел его в таборе бродячих английских комедиантов, но свидетельство о том недостоверно.

* * *

lomio_de_ama:

Привет! Вот только сейчас удосужился прочитать то, что ты мне послал. Это здорово, слушай! Если б не знал сюжета, ни за что б не понял, к чему ты клонишь. :) Честно говоря, когда я давал тебе тему, думал — что протосказка и будет итогом книги, а у тебя вон все еще только начинается.

8note:

Привет! Видишь, твоя тема оказалась еще глубже, чем мы предполагали.

lomio_de_ama:

Я вот еще, что хотел сказать — только ты не обижайся, пожалуйста — у тебя немножко жульверн получается. В том смысле, что на одного любопытствующего идиота приходится три профессора. Услышав вопрос, профессор охотно садится на любимого конька и выдает содержательнейшую лекцию про религиозные предпочтения попугаев или способы размножения минералов. Причем говорит гораздо больше, чем способен понять и запомнить любопытствующий идиот. Я, конечно, утрирую, но тенденция имеет быть.

8note:

Ох, Мигель, ты, безусловно прав — в свете современных реалий. Нынче так не бывает. Нынешние идиоты нелюбопытны и сами норовят прочесть лекцию профессору. Или потребовать, чтобы он излагал материал оригинальным способом — так мои студенты однажды попросили меня изобразить им звуковую волну пантомимой. А я ведь отчетливо помню времена, когда люди сообщали друг другу важную информацию в обычном разговоре.

Я — ретроград, и тебе придется с этим смириться, о мой дорогой читатель!

lomio_de_ama:

Ладно, при случае приобрету смирительную рубашку от «Кардена».

8note:

И к ней — пеньковый галстук от «Диора».

Но лучше расскажи, как ты там обустроился, чем занимаешься? Розенкрейцеры не обижают? Хорошо ли питаешься?

lomio_de_ama:

Все прекрасно! Тут замечательные конференции — после них всегда устраивают фуршеты. Я даже слегка округлился лицом. А занимаюсь все тем же — читаю папирусы.

8note:

И много у тебя работы?

lomio_de_ama:

Навалом. В папирологии забавная специфика: на сегодня в разных собраниях находится тысяч триста непрочитанных папирусов, а количество специалистов — в триста раз меньше. Даже если каждый папиролог будет в год разбирать по десять — а это совершенно нереально! — то на все понадобится тридцать лет, а за это время откопают еще столько же. Самое забавное заключается в том, что чем больше обнаруживается новых материалов, тем меньше становится наше удельное знание о предмете.

8note:

Это как?

lomio_de_ama:

Ну вот представь, что найдены следы древней цивилизации. На единичные образчики письменности стаей пираний набрасываются лучшие умы человечества — и через некоторое время мы уже знаем все то немногое, что сохранилось. Если же таких образчиков тонны, а мы прочитали всего несколько килограммов? Тогда наше знание — капля в море.

8note:

:)))

lomio_de_ama:

Это жабры? :)

Вообрази еще, что ученые ветвят свои гипотезы, возводят теории — а где-то на дне хранилища пылится один-единственный папирус, который способен обратить в прах их построения или вообще разрушить привычную картину мира! И ведь этот документ может попасть в руки вчерашнего нерадивого студента, который — единственный во всем свете — будет распоряжаться

его судьбой! Вот у меня сейчас в работе один очень странный документ, похожий на писанину шизофреника, хотя уж больно грамотно и красиво написанный. (Ты знаешь, как я к этому чувствителен — у меня слабый вестибулярный аппарат, и укачивает даже от неровного почерка). Так вот, я ведь могу пойти к научному руководителю и сказать, что смысла в дальнейшей работе нет — и он не станет меня проверять, у него просто не хватит на это времени. А если это на самом деле не бред, а шифр? Все, конечно, обстоит не так просто, но очень похоже на то.

8note:

Скажи, а если б тебе в руки попался такой разрушительный папирус, что бы ты предпринял?

lomio_de_ama:

Сложная дилемма. Я недавно думал об этом, но так и не решил пока что. Все будет зависеть от того, что именно он сможет разрушить. Кстати, у меня к тебе есть просьба. Ты же помимо прочего и графикой занимаешься у нас? Не сделаешь мне постер для конференции по еврейской магии? Шеф поручил, поскольку это моя нынешняя тема, а я с рисованием поспорил еще в раннем детстве. Текст простой: Jewish Magic. In context: Hidden Treasures from The Cairo Geniza. Bobst Hall, 83 Prospect Avenue. Девятого октября сего года, в час тридцать пополудни.

8note:

Не вопрос! Я даже знаю, как это будет сделано: нарисую тебя в виде хасида с бородой, вытаскивающего из шляпы белую еврейскую букву «צ» — как кролика за уши. А ногой ты будешь наступать на хвост вылетевшего из раскрытой книги демона. Знаешь, в стиле афиш престижиджитаторов начала прошлого века? Пойдет?

lomio_de_ama:

Здорово! Они тут все обалдеют. Заранее спасибо!

— Ну, что ты на это скажешь?

— Сказать, что я потрясена — значит ничего не сказать. Поэтому я лучше просто помолчу.

— Но тебе не показалась странной эта легенда?

— Ничуть. Она показалась мне красивой, но и только. А что в ней странного?

— Много чего. Во-первых, это похоже не на легенду, а на хронику реальных событий, которую почему-то попытались выдать за сказку — и весьма неуклюже, надо заметить.

— Отчего же?

— В ней слишком много правдивых исторических деталей, а сказочные элементы производят впечатление приклеенных для маскировки. Ведь король Зигмунд — это не кто иной, как Сигизмунд Август Второй, а его жена...

— Барбара Радзивилл. Каждый, кто родился и жил в Вильне, знает ее историю. И видел икону Остробрамской Богородицы, на которой изображена Барбара — Богородица с пустыми руками. А про алхимиков с магическими зеркалами мне няня рассказывала — их звали пан Твардовский и пан Мнишек. Только в той легенде, которую слышала я, Барбару отравила све-кровь — Бона Сфорца.

— Эта версия не выдерживает никакой критики. Старуха к тому времени была уже в Италии.

— Но, говорят, она оставила в Кракове своего человека — Монти, который медленно отравлял молодую королеву.

— Посуди сама, зачем отравлять медленно, ежедневно рискуя жизнью, когда искусство *аква тофана* позволяет сделать это молниеносно? Нет, у Боны, возможно, и были грехи, но в смерти невестки она неповинна. А вот саму ее, кстати, точно отравили. Но речь не об этом.

— Ты сказал «во-первых». А во-вторых?

— Во-вторых, эта легенда написана на иврите очень образованным человеком, хотя там и сям в ней встречаются слова на идиш, а иногда даже и на латыни — еврейскими буквами — по всей видимости, в тех местах, где автор не мог подобрать точного термина. Но! Ни один религиозный еврей никогда не стал бы в те времена использовать иврит для создания профанного текста!

— Почему?

— Да потому, что это было попросту святотатством! И выходит, что перед нами правда, притворяющаяся ложью, написанная к тому же языком тех, кто почти наверняка ее читать не станет! Добавим к тому же, что в рукописи довольно точно указано время ее написания.

— Я не заметила, чтоб там упоминалась хотя бы одна дата.

— Тогда бы это было совсем уж непохоже на сказку. Но есть косвенные намеки. Например, в ней сказано, что Йефет Барабас на тот момент уже умер, а вот при упоминании рабби Иссерлеса не добавляется «да будет благословенна память праведника», а следовательно, он был еще жив. Поскольку скончался Моисей Иссерлес в том же году, что и Сигизмунд — в тысяча пятьсот семьдесят втором, а Барбара — в тысяча пятьсот пятьдесят первом, то у нас есть довольно точные временные рамки. Эти и другие сведения, щедро разбросанные по всему тексту, в совокупности наводят на мысль, что автор, кстати, единственный, кто мог им быть — сын Йефета Йосеф, обращался к какому-то очень специфическому читателю.

— Такому, как ты.

— В частности. Но, вернее — таким, как Шоно и Беэр.

— Но ты говорил, что эта... легенда послужила прототипом сказки Коллоди, но в ней нет ничего ни про длинный нос, ни про фею с голубыми волосами.

— А, это смешной момент. Скажи, по ходу повествования у тебя не возникло ассоциаций с какой-нибудь другой сказкой?

— Если честно, то она мне показалась гораздо более похожей на «Крошку Цахеса», чем на «Пиноккио».

— Умница! Ведь это и доказывает тот факт, что услышанная тобой легенда была переведена как минимум один раз на немецкий язык, а в дальнейшем искажилась до неузнаваемости, как это свойственно сказкам, пошедшим гулять в народ.

— Ты ждешь, чтобы я с глупым видом спросила «почему»? Считай, что уже спросила!

— Нет, это я спрашиваю, почему у Крошки Цахеса было прозвище Циннобер? Никто не знает, и сам Гофман в том числе. Какая связь между уродливым карликом и ртутной рудой? Никакой. Попросту переводчик не знал, что для обозначения кедрового или соснового орешка автор за неимением термина позаимствовал из родственного ивриту арабского языка слово *цинбар*, которое при отсутствии огласовок, можно прочитать и как *циннобер*. Коллоди же явно читал перевод, сделанный человеком, не поленившимся выяснить происхождение странного слова, поэтому героя своего называет Кедровым Орешком, ведь «пиноккио» означает орешек кедровой или сосновой шишки, от слова *pinus* — сосна.

— С ума сойти! А откуда взялся длинный нос?

— Тоже ошибка переводчика. На иврите существует идиома *heerikh apó*, означающая «сдержал свой гнев», которую можно понять и как «удлинил ему нос». Смешно? Таким же образом из *seár kekhol' yam* — волос, как морской песок, то есть золотисто-рыжеватых, получились *seár kakhól yam* — волосы голубые, как море. Можешь себе представить, как менялось и все остальное.

— Я сейчас, пожалуй, и сама представиться бы не смогла, прости за плохонькую *jeu de mots*¹. Я ведь не совсем уж глупа, и понимаю, что ты все это неспроста мне рассказываешь... Но и не настолько умна, чтобы мгновенно сообразить, к чему ты клонишь. Мне нужно несколько тактов паузы. Извини.

— Значит, спим?

— Спим. Обними меня.

¹ Игру слов (*фр.*).

23 авг.

В 19:42 "Кукла" вошла в квартиру "Пианиста" на Фрауенгассе.

В 20:34 появилась его прислуга (далее объект "Домна"), а сам "Пианист" вышел в 20:55 и направился на Ланггассе 41, на квартиру к "Азиату". В 21:43 "Пианист" вышел от "Азиата" с большим бумажным свертком и вернулся домой. В 22:00 вышел на прогулку с собакой, проследовал по Лангебрюкке до Альтштедтишер Грабен и в 22:58 вернулся обратно. По дороге ни с кем в общение не вступал. Свет в одном окне горел всю ночь.

24 авг.

7:00 "Пианист" вышел с собакой на прогулку, покрутился во внутреннем дворе двадцать минут и вернулся.

7:34 "Домна" вышла с сумками и ушла в направлении Лангермаркт. Агент "Длинный" вел ее всю дорогу, доложил, что никуда, кроме лавок, она не заходила. Вернулась в 9:15.

20:00 "Пианист" вышел с собакой, прошел по обычному маршруту и вернулся в 21:02.

25 авг.

"Пианист" выходил четыре раза. В 7:00 с собакой, в 18:20 в бакалейную лавку на Бротбанкенгассе и на рыбный рынок на Лангебрюкке, в 15:44 купил французскую булку на Бротбанкен, затем дошел до табачного магазина на углу Мильханненгассе и Хопфенгассе, с 20:00 до 20:59 выгуливал собаку.

26 авг.

7:00 "Пианист" вышел с собакой. В 9:10 пришел "Азиат". В 9:38 появился новый объект (далее "Медведь"). В 10:31 "Медведь" открыл окно и курил возле него около четверти часа. Ушел неизвестно когда (до 14:30), как выяснилось, через черный ход. Агент "Длинный" получил взыскание. Черный ход взят под постоянное наблюдение. В 14:52 черным ходом ушел "Азиат".

27 авг.

В 11:00 пришел "Азиат". Ушел в 19:25.

28 авг.

10:48 "Медведь" пришел через черный ход.

В 11:02 вышел через парадный вход с "Куклой" под руку. До 20:40 водил ее по магазинам, дважды в кафе "Дерра" и "Гранд Кафе Имперяль", и один раз в ресторан "Данцигер Ратскеллер". (Карта маршрута прилагается). В 15:15 оставил "Куклу" в парикмахерской на Бротбэнкенгассе и посетил спортивно-оружейный магазин на Брайтегассе. Купил штуцер 12 калибра с оптическим прицелом, гладкоствольное ружье, патроны к ним, рюкзак и прочую амуницию подробнее выяснить не удалось, так как объект проявлял признаки старости, часто оглядывался. Платил везде наличными. В 16:20 вернулся за "Куклой" и взял такси. Дальнейший маршрут неизвестен по причине транспортного затора, из-за которого такси было потеряно из виду. В 21:18 "Медведь" и "Кукла" подъехали к дому "Пианиста", зашли в квартиру, а через три минуты "Медведь" вернулся, сел в ожидавшее его такси и отбыл в направлении Оливы. "Левша" проследил его в Оливе до Вальдштрассе, однако, по всей видимости, "Медведь", выйдя из автомобиля, заметил хвост и сумел уйти от наблюдения. Личность "Медведа" выясняется. Приметы: рост чуть более двух метров, чрезвычайно мощного телосложения, волосы темные, короткие, вьющиеся, глаза карие, лоб низкий, тип лица "итальянский", от левой брови до линии волос вертикальный белый шрам, как от сабельного удара, осанка прямая, двигается легко, по-немецки говорит с тяжелым английским акцентом. Одевается дорого, носит бриллиантовый перстень в виде треугольника на правой руке.

Важное:

1. "Медведь" и "Кукла" разговаривали между собой по-русски!

2. За весь день по приблизительной оценке "Медведь" потратил около 57,000 гульденов!

29 авг.

С 10:05 "Пианист" водил "Куклу" по городу. (Карта следования прилагается). В 12:32 оба посетили табачный магазин на углу Мильхканненгассе, что на острове Шпайхер, "Пианист" купил коробку трубочной смеси и дамские сигареты "Стелла". С 13:17 до 14:30 объекты сидели в ресторане Лаутенбахера на Йопенгассе, 8. С 14:42 до 15:53 находились в церкви Св. Марии, в контакты ни с кем не вступали. В 16:28 на рыночной площади сели в трамвай №8 и доехали до конечной остановки на Ганзаплатц. Там взяли извозчика и доехали по Променаду до Полицейского управления, свернули на Райтбан и сошли у театра, а затем пешком по Хайлигегассе вернулись домой к 17:44.

Важное:

С момента посещения ресторана до самого дома за ними следил мужчина (лет тридцати, рост средний, телосложение крепкое, глаза серые, волосы русые, выгоревшие, на лице и руках сильный южный загар, нижняя часть лица белая, очевидно, след недавно сбритой бороды и усов. Далее "Домино"). Слежка велась непрофессионально, однако нашими подопечными он замечен не был. Некоторое время "Домино" стоял возле дома, дождался, пока в окнах загорелся свет и ушел. "Длинный" провел его до отеля "Данцигер Хоф" и выяснил у портье, что это оберштурмфюрер СС Эрнст Шэфер, недавно возвратившийся из экспедиции по Тибету. (Газеты с фотографиями и статьями прилагаются). Взят под наблюдение.

30 авг.

С 19:00 "Домино" сидел в ресторане на Фрауенгассе, наблюдая за входом в дом "Пианиста". Выглядел очень напряженным. Когда "Пианист" возвратился с прогулки с собакой, в 20:45, "Домино" быстро расплатился, перебежал через улицу и вошел вслед за ним. В 21:24 "Домино" вышел из дома и направился в гостиницу. Шел, не оглядываясь, был заметно возбужден, разговаривал сам с собой. Слов разобрать не удалось. Через полчаса он спешно выехал на аэродром. В 00:00 вылетел с почтовым рейсом на Берлин.

Я врезалась в Него с размаху, как в дерево — до потемнения в глазах, до помрачения рассудка, до зубовного скрежета.

В единый миг очистилась от скверны — будто черный стержень мой выдернули клещами — едва увидела Его. И поняла, кто Он, и что никогда не искуплю страдания, причиненного Ему моим явлением, и захотела умереть. Но Он вернул меня к жизни.

Такое вот Евангелие от Веры...

Два желания скифскими конями разрывали меня — влюбить его в себя и уберечь его от любви. И я выбрала второе, хотя мука моя была нестерпимой. Я старательно изображала пустышку — Бог знает, чего мне это стоило! — кокетку, кокотку, куклу, которую — я знала — он ни за что не сможет полюбить. Я играла, как никогда в жизни, и обманула бы любого, но не его. Он видел меня насквозь — такую, какой не знала себя даже я сама, и посмеивался исподволь — глазами — над моими ухищрениями. Он все решил за нас обоих, и я была бессильна что-либо изменить.

Одно лишь утешает меня все эти годы — когда поняла, что моя игра проиграна, отдала ему все, что могла. Но как же этого было мало, как ничтожно мало!.. Господи, отчего он не взял мою жизнь?

В тот день проспала до полудня, а потом еще долго — терзая зубами мокрую подушку, чтобы не зареветь в голос — слушала стук сердца в ушах. В детстве ужасно боялась этого стука — он заставлял думать о смерти, а теперь совсем наоборот — успокаивал, утишал, утолял.

Плакала от обиды — за то, что могла быть собой впервые за последние двадцать лет.

До встречи с Марти никогда не теряла контроля над собой — ни от чего. Не впадала в забытье, когда

в одиннадцать лет свалилась в адское пекло «испанки» — слышала, как старенький профессор — в халате, накинутом на шубу, говорил свите: «Какая исключительно красивая девочка! Жаль, что не выживет!» Не кричала во время родов. Не позволила себе не то что забиться в истерике — когда умер Мишенька, но даже зарыдать на людях. Мне бы и хотелось забиться или кричать, но вечно какая-то проклятая сила заставляла наблюдать за собой со стороны. Я так привыкла к этому соглядатайству в себе, что даже просыпалась всегда в том же положении, в котором засыпала.

Теперь же плакала просто оттого, что могла.

Мысли плавали в голове, как неясные закорючки в глазу — такие медленные, что кажется — вот-вот поймешь, а они — порск! — и отпрыгнут куда-то на периферию сознания, ищи их.

Меня втянули в шахматную игру, как Алису в Зазеркалье — пешкой — которой все, кому не лень, читают лекции и нотации, делают намеки и задают наводящие вопросы, вместо того, чтобы коротко и ясно объяснить правила — пешкой, с которой почему-то обращаются как с королевой. А я столько лет была картой — какой-нибудь червонной дамой — из крапленой колоды, и не умела ходить, а умела только ложиться — лицом вниз или вверх — и уже не верила в существование благородных игр — и игроков. А тут — поверила. И испугалась: как скажу ему?

Поняла, что ничего не надумаю, силком подняла себя с кровати, привела лицо в порядок, поплелась разыскивать.

Он нашелся в кухне — в переднике, перепачканный мукой, ни дать, ни взять — белый и рыжий клоун в одном лице. Подошла и вжалась в его спину. Он повернул голову и клюнул напудренным носом в висок. Сказал озабоченным голосом, не отрываясь от лепки:

«Вот, решил сделать для тебя китайские пельмени. Меня Шоно научил».

Шоно! При каждом упоминании его имени падало сердце. Этот взгляд... Знала одного человека с таким взглядом — контрразведчика, служившего сперва в Белой армии, а потом и в Красной — ему было все равно. Под таким взглядом ощущаешь себя ресторанным аквариумом. Но только Мартин имел право видеть меня насквозь!

Помнится, тогда заявила, что, мягко говоря, не в восторге от Шоно, а Мартин укоризненно ответил: «Это потому, что ты его совсем не знаешь! Я тебе расскажу историю Шоно, и ты поймешь, как глубоко заблуждаешься на его счет». Попыталась робко возражать, но он был полон решимости изложить жизнеписание любимого учителя. Рассказ оказался весьма занимателен и заставил меня изменить взгляд на Шоно, хотя и не так, как рассчитывал Мартин — к интуитивной антипатии прибавились уважение и вполне осознанный страх. Разумеется, нынче не смогу воспроизвести все до мельчайших подробностей, однако основные детали намертво засели в памяти. Память — единственное, что не подводило меня никогда.

* * *

Вольф Шёнэ был по национальности бурятом и, вероятно, единственным в мире *тулку*¹ с дипломом доктора философии.

Осенью 1878 года немец-меннонит Вильгельм Роу, перебравшийся незадолго до этого вместе с семейством из Алтайского края в Забайкалье в поисках хорошего места для новой колонии, подобрал в лесу замерзающего мальчика лет семи-восьми. Тот был неизмеримо истощен, оборван, а едва отросшие волосы на голове указывали на то, что он, скорее всего, сбежал из

¹ Перерожденец (*тиб.*).

буддийского монастыря. Мальчик, русский которого был еще немогуще, чем у спасителя, смог объяснить лишь, что его зовут Шоно, что по-бурятски означает «волк», и что в монастыре ему было очень плохо. Роу без долгих размышлений принял мальчонку в семью. Так немецкий язык стал для Шоно родным, а имя его было само собой онемечено. А поскольку он поначалу ужасно смешно путался в грамматике, за ним закрепилось забавное прозвище «Shöne-Wolf» (Красивая-Волк).

Однако через пару месяцев мальчишка уже лопотал по-немецки ничуть не хуже своих новообретенных братьев и сестер и смог внятно рассказать свою историю. Впрочем, рассказывать было особенно нечего — мать Шоно, потеряв кормильца, отдала своего младшего сына послушником в удаленный дацан в верховьях Витима. С наставником мальчику не повезло — тот был груб и нетерпелив, часто пускал в ход палку и загружал воспитанника непосильным трудом. После очередного особенно тяжелого наказания за незначительную провинность Шоно убежал — в чем был, с одной лепешкой в суме. Без малого две недели он блуждал по лесу, питаясь его последними скудными дарами, пока не вышел на стук Вильгельмова топора.

Будучи народным учителем, глава семейства много времени уделял образованию детей. Но всех научных знаний, которые он мог передать приемному сыну, хватило на полгода — Шоно впитывал их, как пересохшая земля — первый дождь. Вильгельм быстро понял, что имеет дело с вундеркиндом, и, заручившись поддержкой общины, послал мальчика в Иркутск — в гимназию. В неторопливом уме его созрела грандиозная идея — вырастить для колонии собственного врача.

В 1889 году Вольф Роу умудрился досрочно окончить классическую гимназию *cum laude*¹ и был отправлен общиной в медицинскую школу Йенского университета. Юноша учился прилежно, но карьера земского эскулапа его не прельщала, а душа лежала к занятиям

¹ С отличием (*лат.*).

совсем иного рода — все свое свободное время он уделял изучению языков и чтению философских трудов. В течение четырех лет чувство долга в нем боролось с увлеченностью и в конце концов капитулировало. Но община без врача не осталась — в конце 1893 года в далекую загадочную Сибирь приехал новоиспеченный доктор медицины — весьма романтически настроенный однокашник Вольфа. С собой он привез два письма от отступника — одно было рекомендательным, а второе — покаянным. Праведный гнев Вильгельма был страшен, но бушевал отец недолго, ибо сердце имел мягкое, а письмо было очень правильно составлено. В результате Вольф получил испрошенное благословение и мог со спокойной совестью предаться своей всепоглощающей страсти. Более того, Вильгельм, проникнувшись величием нарисованных сыном перспектив, даже продолжил субсидировать его дальнейшие штудии!

А перспективы и впрямь впечатляли. На исходе 1897 года Вольф помимо бурятского, немецкого, русского, французского, латинского и греческого владел еще английским, монгольским, китайским, древнееврейским и санскритом. Он перебирался из университета в университет, учился у Шрадера и Дельбрюка, Дейссена, Остхоффа, Брюгманна, а пуще всех философов почитал Шопенгауэра. Получив же докторскую мантию, честолюбивый молодой человек решил, что готов к осуществлению своей заветной мечты. Вольф собирался открыть для европейцев жемчужину Востока — Тибет.

В начале 1898 года он ушел из Монголии в Лхасу с караваном паломников. В Берлинском университете с нетерпением ждали его триумфального возвращения. Ждали год, другой, но так и не дождались.

Тибет не отпустил доктора философии Вольфа Роу.

* * *

lomio_de_ama:

Ты начисто лишил меня возможности сосредоточиться на работе. Несколько лет назад, в славном городе Бонне, в возрасте 90 с чем-то, умер завкафедрой института востоковедения Вальтер Хайзиг (он же В. Хайзиг-Розен) — специалист по монгольской религии, оккультизму и философии, человек неопределённой национальности, то ли русский, то ли немец, то ли монгол. По крайней мере, все эти языки были для него родными. Вальтер Хайзиг впервые посетил Монголию и Тибет в конце 30-х годов, в качестве офицера немецкой армии, где он искал что-то и к этому «чему-то» чертил карты. Его пытались (безуспешно) завербовать американцы, которым он и сдался как военнопленный в 1944 где-то в том же регионе. После этого Хайзиг почему-то сел в американскую тюрьму, где и просидел до 1950. Затем вернулся в Германию и натворил такого, что у всех востоковедов Принстона до сих пор слюни текут. Когда Хайзигу было 80, Принстон за безумные деньги купил право на приобретение его коллекции (а главное — тех самых карт!), которая до его смерти должна была храниться у Хайзига дома. Ну а Хайзиг взял да и прожил ещё 11 лет. И, наконец, коллекция в Принстоне, но карт почему-то нет, и никто не имеет понятия, где они. Но это все покрыто мраком тайны и аллергенной бумажной пылью. В результате ящики были упрятаны в книгохранилище так глубоко, что только два человека на нынешний момент знают, где они находятся — моя жена и я. Помнишь, я говорил, что Анна подрабатывает в библиотеке? Так вот, ей поручили разбирать эти архивы, присвоив ради такого случая звание старшего библиотечного работника.

Note:

Вот как. Теперь никто не поверит, что я выдумываю свои истории. Я уж и сам не верю. Мне иногда даже делается не по себе от всех этих совпадений. Взять ту же Барбару Радзивилл. Я ведь понятия о ней не имел, когда искал кандидатуру. Знал только, что должна найтись в шестнадцатом веке любовница или жена короля — скорее всего, в Восточной Европе. А тут такое попадание: *Посол Венеции писал о чудесной алебастровой коже, изящных руках, удивительных глазах цвета пива —*

для иностранцев эта смуглая блондинка была истинным воплощением северной красоты. Недруги Радзивиллов кричали, что к моменту встречи Жигимантаса Аугустаса и Барбары у нее было 38 любовников. И вот еще: Не отказывая Барбаре Радзивилл в уме, красоте и образованности, ее, тем не менее, нередко называли «великая блудница». Это же один в один описание Веры! А вчера я в английской статье обнаружил такую информацию о Шэфере, что чуть в обморок не упал, ей-богу, настолько она прояснила мне его интерес к тайне Мартина! А подобных совпадений с каждым днем все больше и больше. Похоже, мы с тобой раскачали-таки Маятник Фуко, мой дорогой! Так что, если завтра в полночь к тебе заявятся мрачные розенкрейцеры в черных плащах и кинжалах и потребуют разъяренных, не удивляйся!

Да, а что там с моим постером, пригодился ли?

lomio_de_ama:

Увы. То есть, он им очень понравился, но они сказали, что не могут его использовать. Я попытался выяснить, почему. Они долго мялись, а потом объяснили шепотом, что если повесить такую заманчивую афишу в кампусе, на довольно скучную, в общем-то, конференцию вместо обычных трех десятков специалистов припрутся сотни три студентов.

8note:

Так что же тут плохого, что припрутся?

lomio_de_ama:

Оно бы ничего. Но дело в том, что — я тебе говорил — после доклада полагается фуршет. А тут — триста голодных спартанцев!

Когда Мартин ушел выгуливать Докки, решила, перемыв посуду, тоже показать себя — теперь кажется смешным — и быстренько испекла свою коронную шарлотку. Меньше чем через час уже сидела у красиво накрытого к чаю стола, нервно заплетая бахрому на скатерти в косички. Марти вернулся, посмотрел на нас с пирогом, как на картину — наклонив голову к плечу, затем приблизился ко мне, поцеловал за ухом, и, не говоря ни слова, отправился в ванную. А через полминуты в дверь позвонили.

Звонок прозвучал неуверенно, будто звонил ребенок, еле дотянувшийся до кнопки. Я открыла.

Человек за дверью — сильный, моложавый, белобрысый, в черном костюме, шляпа — в руке, ариец с неарийской скорбью в водянистых глазах. Коричневой полосой — полумаска альпийского загара — такая была летом тридцать шестого у нашего инструктора Франца на «Домбайской поляне», когда он проиграл мне бороду.

По лицу судя, мог быть фанатичен, амбициозен, самоуверен, честолюбив, честен, дерзок, умен, наивен. Глаза — с безуминкой. И был бы почти красив — с бородой. Но нижняя часть лица — особенно верхняя губа — делала его похожим на вундеркинда, впервые получившего четверку.

Увидев меня, отпрянул на шаг, посерев, глухо пробормотал: «Здравствуйте, — и с судорожным движением кадыка, — Мари». Вот оно что! — подумала, а вслух, как можно приветливее: «Здравствуйте! Разве мы знакомы?» Несколько секунд по-тигриному смотрел мне в глаза, не выдержал — отвел: «Простите, очевидно, нет. Могу я поговорить с Мар... с господином Гольдшлюсселем?» — «Прошу!»

В прихожей встретил Докки — сразу поняла — знакомы и хорошо. Плюс загар, борода. Выходило — Тибет?

Увидев Мартина, бросился было к нему с рукой, но остановился, словно испугался — не подаст. Подал, хотя и не сразу, произнес мягко: «Здравствуй, Эрни! Вот уж не ожидал... — и, помолчав: — Познакомься: моя жена, Элиза!»

Жена — надо же!

— Элиза? А мне казалось, что раньше ее звали иначе!

Мартин поднял бровь:

— О чем ты? — ни разу не видела его таким непроницаемым.

— Сам знаешь, о чем. Но отчего же ты меня не представишь своей... супруге?

— Элиза, это доктор Эрнст Шэфер, почетный член многих научных обществ, первооткрыватель истоков Янцзы и большой панды, по совместительству — унтерштурмфюрер СС...

— Уже обер...

— Поздравляю! Оберштурмфюрер СС, в прошлом — мой друг.

— В прошлом?

— Прости, мне трудно представить себя частью твоей нынешней компании.

— Но ты же знаешь, как и почему я вляпался в это дерьмо! — почти криком, с неподдельной — детской — обидой. — В этом есть и твоя вина! Если б ты не исчез тогда, в двадцать девятом, когда она... Я же ходил за тобой, как тень, перебрался за тобой в Геттинген, моллился на тебя!.. А ты бросил меня, не оставив даже записки!.. Почему ты не взял меня с собой? — захлебнулся, в глазах — слезы.

Подошла со стаканом воды, положила руку на плечо — дернулся, но воду принял. Сказала: «Сядьте, пожалуйста!» — сел послушно, стал пить. Так и есть — большой ребенок.

Мартин долго молчал, глядя в темноту за окном. Потом мягко — без металла:

— Ты прав. Я виноват. И я должен был сказать тебе

об этом. Но тогда, в Амдо, был еще не готов, потому и сказал, где меня искать.

— Еще бы не виноват! — буркнул Шэфер. — Теперь-то я знаю, что ты искал в Тибете. И вижу — нашел, — мотнул головой в мою сторону.

— Эрни, ты бредишь!

— Рассказывай! Я никогда не верил во всю эту мистическую чепуху, но я верю своим глазам! Как ты объяснишь, что она снова жива? Тоже скажешь, что брежу? — снова начал заходиться, полез рукой за пазуху — схватился за сердце? Было непохоже, что у него большое сердце.

Мартин — терпеливо, точно диктуя:

— Успокойся, Эрни! Ве... Элиза — это не Мари. Мари умерла. Оживить человека нельзя. Я знаю о твоём горе...

— Знаешь? Нельзя оживить? Значит — можно сделать заново? Мне это подходит! Подскажи мне — как, дружище? — глаза Эрни помутнели, как закипающая вода. Докхи глухо заклокотал, Мартин положил ему руку на вздыбившийся загривок — успокаивая.

— Я не могу...

— Ты мне все сейчас выложишь! — Шэфер страшно взвизгнул, вскочил и выхватил пистолет. Так и думала. Ударила — ребром ладони — в ключицу, подхватила оружие у самого пола и отошла на несколько шагов. Пистолет стоял на предохранителе — но Мартин-то об этом не знал! Впрочем, он удерживал собаку.

Оба посмотрели на меня, один — оторопело, другой — по-новому. Не скрою, мне было приятно. Пожала плечами и улыбнулась — обезоруживающе.

Как истерик, получивший пощечину, Шэфер тотчас утомился — сел в кресло, баюкая онемевшую руку, и ровным голосом попросил выпить. Мартин дал ему — коньяку. Шэфер неловко прикурил от зажигалки — сигарета все же подпрыгивала в губах, закинул ногу на ногу — по-американски — и со струйкой дыма выдохнул:

— Не хочешь — не говори. Хотя ты и гнушаешься моей дружбой, но я приехал, чтобы предупредить тебя, — пепел упал на лацкан, и Шэфер с преувеличенным тщанием стал отряхиваться.

— Предупредить — о чем? — Мартин, придвигая к нему пепельницу.

— Наша контора сильно заинтересовалась тобой — не успел я вернуться, как сам шеф начал о тебе спрашивать. Похоже, на тебя охотятся. Так что, если тебе так дорога твоя тайна, советую поскорее сматывать удочки. Эти ребята никогда не мишальничают. И если я тебя нашел, то найдут и они. Если еще не нашли. Кстати, я сильно рискую. В знак былой дружбы, так сказать, — горечь в его словах была неподдельной.

— Эрни, старина!..

— Оставь, Марти! — совершенно нормальным голосом. — Ты прав, я — пропащий человек. Все это добром не кончится.

— Но почему бы тебе не бежать?

— С этого поезда можно спрыгнуть только в могилу, дружище. Вот Отто Ран попробовал, да ты его, впрочем, не знал... Но если бы Герта... — махнул левой рукой, встал, — ...я бы, наверное, попытался. Но раз ты сказал «нет», значит, нет. Желаю тебе выжить. Прощай! Сударыня! — коротко кивнул, подхватил шляпу и стремительно удалился.

Стоя под внимательным взглядом Мартина, как напрокудившая кошка, почему-то вдруг устыдилась и положила пистолет — рядом с пирогом. Сказала, пряча глаза — чтобы что-то сказать:

— Даже чаю не выпил. Что с ним стряслось?

— Где-то год назад он случайно застрелил на утиной охоте свою красавицу-жену. А увидев тебя, принял за Мари. Дальнейший ход его мыслей, полагаю, понятен, — Мартин помолчал, давая мне собраться с мыслями, и сказал: — А теперь садись и выкладывай то, что ты уже давно хочешь мне рассказать!

Докладная записка.

Зам. нач. ГУГБ НКВД СССР Деканозову В. Г.

В результате подробного разбора архивов сверенного мне отдела мною обнаружены документы оккультного характера, могущие, как мне видится, представлять значительный интерес. Эти материалы объединены под заголовком "Деревянный человек" и включают в себя служебную переписку, из какой мне удалось выяснить некоторые существенные подробности. В деле фигурируют:

1. Старинный манускрипт, написанный на древне-еврейском. Судя по сопроводительным документам, был вывезен Блюмкиным из Палестины в 1928 году. В тексте приложенного перевода изложена легенда о создании деревянного человека.

2. Документ на немецком языке, который представляет собой образец неизвестного шифра, из-за чего, очевидно, и попал в наш отдел. Есть основания полагать, что Бокию удалось разгадать этот шифр, однако никаких зацепок в сохранившихся бумагах Бокия пока не найдено.

3. Небольшое собрание сказок о создании деревянного человека.

4. Досье на некоего Мэттью Бермана, возможно агента британской разведки, которое начал собирать тот же Блюмкин, пересекавшийся с ним в Индии, Египте и Палестине. По всей вероятности, Берман - специалист по криптографии. При первой встрече с Блюмкиным пытался выторговать у него упомянутый в п. 1 документ.

С 1930 года архив не пополнялся вплоть до начала 1936 года. Далее следует стенограмма допроса Бокием писателя А. Н. Толстого, опубликованного незадолго до этого детскую сказку про деревянного человечка. Толстой показал, что опирался на информацию, полученную во время эмиграции в Берлине от некоего Мартина Гольдшлюсселя, утверждавшего, что создание деревянного человека возможно.

Очевидно, Бокий на свой страх и риск (никаких директив сверху к делу не приложено) принял решение выследить вышеупомянутого Гольдшлюсселя, и в 1936 году тот был обнаружен в Тибете - в компании с Вольфом Роу (он же "лама Лобсанг"). Роу - предположительно немецкий или английский шпион, но не исключено, что ведет в Тибете какую-то свою игру. Состоял в тесном контакте с Н. Рерихом, есть подозрение, что из-за его вмешательства экспедиция Рериха провалилась. По имеющимся данным три раза нелегально пересекал границы СССР.

Последний из наличествующих в деле документов от 30 марта 1937 г. - донесение из Данцига об установлении места жительства Гольдшлюсселя и Роу.

Все вышеизложенное могло бы показаться не стоящим внимания, как и большая часть разработок бокиевского спецлаба, если бы не перехваченная и дешифрованная нами неделю назад радиограмма на немецком языке, в которой речь определенно идет о проекте "Деревянный человек".

Прошу указаний.

Нач. 7 отд. ГУГБ НКВД СССР
Копытцев А. И.

13 января 1939 г.

Приписка Деканозова:

Лаврентий Павлович! По сведениям от нашего человека в СС, этим делом сильно интересуется сам Гиммлер. К тому же еще — англичане. Похоже, надо разбираться?

Резолюция Берия:

Вот и разберись!

Часть третья

Впервые я увидела Глеба в доме будущего свекра в двадцать восьмом.

В то вечер мы с Павлом отмечали сдачу мною последнего экзамена в институте — последнего, что отделяло нас от супружества — это было моим условием. В разгар вечеринки незаметно — для меня — появился худощавый военный вне возраста с усталым рысьим лицом и негромким, но очень слышным голосом. Обнявшись с хозяином, сел за стол — визави со мной — и ловко влился в общество. Глеб — тогда еще — Иванович казался совершенно расслабленным, часто и остроумно шутил, пил — наравне с хозяином — невероятно много, одной рукой скручивал желтоватые сигаретки с душистым табаком, пел небольшим, приятным баритоном какие-то украинские песни, словом — был очарователен. Но я то и дело ловила на себе — болезненно, кожей — взгляд его темных (потом оказались зелеными) и совершенно трезвых глаз. Сейчас назвала бы такой взгляд коллекционерским, тогда — нескромным, чуть ли не раздевающим — до костей.

Позже, когда мыла посуду, спросила Пашу — кто? Заговорил обильно, сбивчиво и почему-то шепотом:

— Да что ты? Это такой человек!.. Это же Бокий — его сам Ленин над Петрочека поставил, когда Урицкого — того!.. Соловки — он придумал! Сейчас в Москве живет, всех знает, все может. Огромный человечище!

— А как он — здесь?

— Они дружат со времен Гражданской — папка был наркомом путей сообщения в Туркестане, а Глеб Иванович — кажется, возглавлял там особый отдел ВЧК. Когда в Ленинград приезжает — всегда заходит, хоть на пару минут. Но в последнее время тут бывает все реже, оно и понятно — все дела там, в Москве.

Оказалось — не так уж и редко.

Как-то вдруг после свадьбы наша жизнь заскользила, словно по маслу: Пашу — молодого специалиста! — назначили главным инженером оборонного завода, дали роскошную квартиру в доме для совпелцов на улице Марата. В мае двадцать девятого родились наши близнецы. Я могла позволить себе не работать, в моем распоряжении была и домработница, и няня. Но через полгода стало безумно скучно. Возобновила занятия спортом — помогло, но ненадолго. Стала искать работу — но то, что предлагала биржа труда — школа или бюро технического перевода — не устраивало. Тоска и хандра — зимние демоны Петербурга — прочно вселились в душу.

Но однажды — 13 декабря — пришло, вернее — взялось откуда-то в сумочке — письмо без обратного адреса и подписи, которое рассекло мою жизнь надвое. На голубом листке было напечатано:

16. 12. 11. 30. 24 ft.

И больше — ни слова. И я — ни слова мужу. Почему-то поняла — нельзя.

Сказать, что сломала голову, решая этот ребус — не сказать ничего. Но через три дня и три бессонные ночи — шестнадцатого декабря в половину двенадцатого пришла на Аничков мост — мост двадцати четырех ног, не чужа — собственных. На самой середине кто-то крепко взял меня под руку и сказал на ухо — жарко: «Bravissima! Я в вас не ошибся! Вы умны, любопытны и бесстрашны, как мангуста».

Так я стала его мангустой.

Это было яркое проявление стиля — он не совершал ни одного лишнего движения без просчитанной наперед выгоды делу. Все движения — подготовка к броску и бросок — по кратчайшему расстоянию. Тебе не давалось никаких объяснений — лишь то количество информации, которого, по его мнению, было достаточно, чтобы добраться до сути самостоятельно. Заодно он таким образом проверял и свои построения.

Не знаю, наверное, правда то, что говорят теперь — у него руки были по локоть в крови. Но в те странные времена это не казалось чем-то особенным. Во всяком случае — моему поколению. Для нас — детей революции — закатской славы со всей очевидностью служила кровь — чужая ли, своя — неважно. Им — отцам — она снилась...

В тот день официально — в неофициальной обстановке конспиративной квартиры — «принята в органы» — стала внештатным сотрудником.

Ему — пятьдесят, мне — двадцать два. Меня это не смущало. Жизнь с ним — отрывочная и короткометражная — была на порядок насыщеннее и острее той, что продолжала течь там — за чертой, в тылу. Павел, знавший ровно столько, сколько ему полагалось, и не пытавшийся узнать больше, той жизнью был доволен — любящая жена, а у детей — заботливая мать, которая — что поделать — часто уезжает в служебные командировки, зато возвращается — и всегда с дорожными подарками. К тому же, думаю, он краешком сознания понимал — завидное счастье привалило ему не с неба, а совсем из другой инстанции. Пил несколько больше, чем стоило — но, в отличие от многих, в состоянии опьянения делался еще добрее и веселее.

Первые полгода Глеб *гранил* меня, вторые — *шлифовал*. Виделись мы не чаще двух раз в месяц, поэтому училась я заочно и весьма интенсивно — у его людей — криптографии, физиономистике, чтению по губам, стрельбе, джиу-джитсу и почему-то — истории

изобразительного искусства. При встрече брал то в оперу, то на художественную выставку, то на светский раут в посольстве — и всюду знакомил с людьми, а после просил подробно описывать и характеризовать увиденное и услышанное, а сам при этом усеивал страницы блокнота скорописными закорючками. Единственной страстью Глеба была информация — обо всем, что попадало в поле зрения. Обладание ею как будто делало его бессмертным, оно же его и сгубило, не дав состариться — даже скоро.

Цветы и коллекционные вина он приносил всегда, украшений не дарил никогда. Только однажды — уже в тридцать седьмом — преподнес старинного вида кольцо с изумрудом. Оказалось — в нем яд моментального действия из его лаборатории. «Зачем мне?» — спросила. «Подарить достойную тебя жизнь я не смог, так хоть смерть... Мало кому представляется возможность выбрать чистую, спокойную и мгновенную». — «А у тебя — есть?» — «Мне написано умереть от пули». До того случая я не подозревала его в мистицизме.

Юмор его был порой грубоват. Как-то поздним вечером заговорила с ним о счастье, которого, по моему утверждению, карательные организации принести человечеству не могут. Хитро улыбнулся, вышел, куда-то позвонил. Через полчаса привезли перепуганного насмерть великого тенора Лемешева — Глеб знал, что тот мне нравится. Услышав, что должен всего лишь «немного попеть для красивой женщины», Лемешев заявил, что никогда еще не был так счастлив. Попросила Глеба больше подобным образом не шутить.

Он умудрялся формировать мое мировоззрение, не как огранщик — вопреки его собственной метафоре — отсекая лишнее, но как опытный гончар — легкими движениями пальцев направляя весь имеющийся материал в нужную сторону — тогда как ноги, не видные под столом, неустанно вращали стремительный круг.

Все изменилось в августе тридцать первого. Он вызвал меня в Москву — для «последнего экзамена». На

самом деле — для участия в гнусном эксперименте. Велено было раздеться донага и выпить — «дабы расширить сознание и выпустить на волю подсознание» — какое-то зелье, от которого у меня начались галлюцинации — поначалу забавные. Мне сперва казалось, что я подлетаю в воздух при каждом шаге, затем — что помещение меняет объем и форму — раздвигаясь невероятно, и все время чудилась живая, очень цветная музыка — несомненно Скрябин, но никогда не слышанный прежде. Фигуры на супрематических картинах под пристальным взглядом начинали двигаться, как в кино, статуэтки оживали, когда я к ним прикасалась. Свои видения и ощущения мне следовало тотчас описывать. Потом отовсюду — из картин, мебели, окон, камина — стали появляться люди без лиц, ходячие мертвецы, существа в жутких масках — и все — во фраках! Они кланялись, кривлялись и слюнявили мне колени, а я должна была вести светский прием так, будто была их королевой, а не голой одурманенной душой. Страха и стыда наглоталась досыта...

К счастью, мое расширенное сознание не сохранило подробностей того, что последовало за мистерией. Очевидно, они ушли навсегда вместе с выпущенным на волю подсознанием. Судя по моему самочувствию наутро, это было банальной оргией на манер парижских, о которых мне нашептывал один мой подопечный — сластолюбивый французский коминтерновец. Как бы то ни было, той меня, что стала ее средоточием, во мне не осталось. Как не осталось и капли сантиментов в отношении мужчин. И в первую очередь — к Глебу. Я осталась мангустой — себя не переделаешь, но перестала быть — его. Он же утверждал, что именно этого и добивался. Когда спросила — кто были те люди, ответил уклончиво — посвященные — ученые, деятели искусств...

Лишь много лет спустя узнала о психотропных веществах, исследованием которых, как выяснилось, в числе прочего занимался мой любознательный шеф.

В конце же тридцатых говорили о каком-то «Едином трудовом братстве» — основанной им масонской ложе, ходили глухие слухи о кровавых магических ритуалах, коллекции засушенных фаллосов, разнузданных вакханалиях и тому подобных мерзостях — что ж, меня это ничуть не удивляло — пицци для подобных домыслов Глеб оставил по себе предостаточно.

С тех пор наши отношения сделались исключительно деловыми. Близости со мной он не искал — знал, что не найдет, да и, скорее всего, занят был *шлифровкой* других алмазов. Я могла бы простить ему жестокость — ради дела, но пошлости — никогда.

Дальнейшие задания поступали от него опосредованно — работа моя состояла в контактах с иностранцами и сборе информации о них. Спать с ними в мои обязанности не входило. Это оставлялось на мое усмотрение. Сколько их было?..

В последний раз видела шефа в тридцать седьмом — поседевшим, состарившимся — теперь он выглядел на свои почти шестьдесят. Он долго рассматривал меня, потом вздохнул и попросил прощения. На вопрос «За что?» ответил не сразу: «За то, что прикоснулся к тебе грязными руками. За остальное простить нельзя». Потом он спросил, может ли доверить мне хранение важного документа. Я легко согласилась. «Документом» оказался его зашифрованный блокнот. Когда Глеба расстреляли — впрочем, тогда объявили, что он умер под следствием от паралича сердечной мышцы — взялась за расшифровку. Он знал, что смогу, потому и оставил — мне. В последней записи он просил меня уничтожить блокнот. Для этого было достаточно поднести к нему сигарету — специальная бумага мгновенно превратилась бы в кучку пепла. Почему я не сделала этого — не знаю до сих пор.

Но ведь если б у меня в тридцать девятом при обыске не обнаружили блокнота, то я никогда бы не встретила Мартина!

- Теперь — все?
- Что — все?
- Теперь — прогонишь?
- И не подумаю!
- Ты не выглядишь удивленным.
- А я и не удивлен.
- Ты знал?
- Почти с самого начала.
- В чем я прокололась?
- На фотографии ведь — не твоя семья. Шоно сразу это увидел. К тому же ты зачем-то скрыла, что у тебя есть еще один ребенок, а потом случайно сказала — дети. Шоно считает, что это девочка, так?
- Да. Машенька.
- Где она?
- Осталась у сестры. Как залог моего возвращения...
- Мы так и думали.
- Что-то еще?
- Шоно не поленился навести справки в Вильно и узнал...
- ...что мои родители не были евреями. Ну да, легенду шили на живую нитку — чистить архивы времени не было. А отца звали Исаакием потому, что дед поссорился с деревенским дьячком, и тот записал младенца в приходской книге под первым именем, что стояло в святцах на четвертое сентября. Но, кроме этого, моя история — правда.
- Не сомневаюсь.
- Я не могу взять в толк, почему вы, зная все, продолжали играть партию?
- Да потому что совершенно неважно, как ты сюда попала! Важно — зачем!
- Ты имеешь в виду мое задание? Я ...
- Господи! При чем здесь твое задание? Ведь не думаешь же ты, что это они тебя прислали?

— Боюсь, что упаду в твоих глазах ниже нижнего, но именно так я и думаю.

— Хорошо, попробую иначе. Почему ко мне послали именно тебя?

— Потому что очень похожа на твою покойную жену, и, следовательно, вероятность того, что ты мной увлечешься, была выше.

— Так думали они — имея в распоряжении от силы пару фотографий и словесный портрет. На самом же деле — и ты могла в этом только что убедиться — тут гораздо больше, чем простое сходство черт! Отличить тебя от Мари можно только по голосу. И именно услышав твой тембр, я понял, чего не хватало ей. Мы знали тебя по подробнейшему описанию, но голос описанию не поддается. Поэтому и приняли Мари за тебя.

— Знали?..

— Я полагал, что ты уже догадалась...

— Разумеется, я заметила, что легко могу самоотжествиться и с Тарой, и с Барбарой — не только внешне, но не предполагала, что это заметил также и ты. Видимо, я никудышная актриса.

— О, нет! Ты играла... легкомысленную особу довольно убедительно! Просто один раз в бреду ты заговорила со мной — как со своим ребенком. Этого было довольно, чтобы понять...

— Слабое, но утешение. И все же я до сих пор не понимаю: Тара, Барбара, я — кто мы? Кто я?

— В первую очередь ты — самый дорогой для меня человек. Остальное — слишком долго объяснять, а нам сейчас нужно собираться в дорогу.

— Дорогу — куда?

— Через двенадцать минут придет Шоно — и будем решать. Чай совсем остыл, пойду вскипячу воды.

Шоно пришел ровно в половину одиннадцатого. Поздоровался и с полминуты изучал мизансцену, потом заметил:

— Если я правильно понял, то у вас совсем недавно был гость, с которым вы обошлись нехорошо — не дали допить коньяк и не угостили пирогом — я, кстати, не откажусь — он так аппетитно выглядит! Благодарю, — сказал он, усаживаясь за стол и принимая у Веры тарелочку. — К тому же, — указав вилкой на пистолет, — отобрали любимую игрушку. Очень, оч-чень некрасиво с вашей стороны. Мм!.. Пирог восхитительный, да-с. Мои комплименты, мадам.

— Скажите, Шоно — я не смогла добиться вразумительного ответа от Мартина — если вы с самого начала знали, кто я и что я, к чему было разыгрывать весь этот спектакль? — проигнорировав похвалу, строгим голосом спросила Вера.

Шоно с видимым сожалением отложил вилку и развел руками:

— Уличать даму — это не по-джентльменски. К тому же мы знали... предполагали, что знаем о ваших обстоятельствах. Нам всем стало бы неприятно. Вот мы и ждали, пока вы сами не решите обо всем поведать — а в том, что рано или поздно это произойдет, у нас сомнений не возникало. Правда ведь, Марти?

Мартин задумчиво качнул головой, что можно было трактовать как согласие.

— А вы не боялись, что это произойдет слишком поздно? — голос Веры сделался жестким.

— Единственное, чего мы боялись — это вас обидеть, — Шоно пристально посмотрел ей в суженные глаза. — Те, кто обижают Шхину́, кончают скверно.

— Кого?

— Мартин вам не рассказал?

— У нас не было времени, Шоно, — подал голос Мартин, разглядывавший лицо сквозь щелку в занавесках, —

нет его и сейчас. За домом следят — и теперь уже, возможно, две конкурирующие организации.

— Ты про тех унылых топтунов, которых я срисовал на входе? — Шоно невозмутимо вернулся к пирогу. — Не думаю, что они из разных фирм — уж очень мило воркуют между собой. Вторые — из этих? — он нарисовал пальцем в воздухе два зигзага.

Мартин кивнул.

— Скольких вы видели? — встревоженно спросила Вера.

— Двоих — у парадного, в авто, и одного — у черного входа.

— Тогда это только наши, — Вера с облегчением выдохнула. — У них нет указаний применять насилие — только наблюдать.

— Это хорошо, — Шоно встал из-за стола, и добавил по-русски: — Еще раз спасибо — такой шикарной русской шарлотки я не едал уже лет тридцать! — и вновь по-немецки: — Прослушивающей аппаратуры тут нет — я бы почувствовал.

— Как это?

— Я весьма чувствителен к электромагнитным полям. Из-за этого я у себя дома вовсе не использую электричества — мешает думать. Но — к делу! Во-первых, надо телефонировать нашему большому другу и предупредить о позднем визите, который мы намерены ему нанести. Это — на тебе, Марти, — тот удался, и Шоно перешел на русский. — Во-вторых — и это самое важное — нам надо понять, как быть с вами, сударыня. Так сказать, оценить риски. Насколько я понимаю, вам было приказано... войти в абсолютное доверие к Мартину, выведать все, что можно. Чего я меж тем не понимаю, так это зачем вашему начальству понадобились наши скромные секреты? Я, признаться, не верю в то, что нынешнее руководство гегеу интересуется вопросами практической магии. По-моему, их занимают исключительно земные проблемы, вроде собственного выживания. Или я не прав?

— Вы правы, — отозвалась Вера, помолчав немного, — Прежние были талантливыми подлецами с идеями, у этих — воображения ни на грош, но зато — звериное чутье и никаких рефлексий. Сталину не нужны талантливые. Ему нужны исполнительные. Палачи-делопроизводители.

— Тогда отчего они вдруг взялись за это дело?

— Бюрократическая машина. Когда в нее попадает какой-то документ, она не может его проигнорировать — чтобы убрать бумагу под сукно, нужно быть личностью, винтик на это не способен. А личностей там не осталось. В поле зрения преемника моего бывшего шефа...

— Который был личностью?

— Несомненно. Так вот, его преемник откопал в архивах шефа некую папку с материалами оккультного толка под заголовком «Деревянный человек».

— Так-так-так, очень интересно! — Шоно потер руки.

В дверь заглянул Мартин:

— Извините, что перебиваю. Беэр ждет. Я иду собирать вещи, — и скрылся.

— Итак, — Шоно повернулся к Вере. — Вы говорили о папке.

— Да. — Вера потерла пальцами веки. — Ее содержимое было слишком уж фантастично, чтобы принимать всерьез, но тут как раз перехватили немецкую шифровку, которая касалась этого самого дела.

— А! — Шоно хлопнул себя по коленям. — Теперь все ясно! Немецкий агент в вашей конторе увидел какие-то документы и решил, что это стоит сообщить своим, а русские сделали из этого сообщения далеко идущие выводы, тем более, что у них наверняка есть свои люди в СС. Замкнутый круг. Забавно. Но вернемся к вам. Какая участь постигла бы вас, если бы вам не удалось внедриться?

— Вернулась бы назад. И скорее всего — попала бы в лагерь.

— За что?

— Я — часть той системы, что нынче искореняется. К тому же — член семьи врага народа.

— Таким образом, при любом раскладе вы бы не смогли вернуться к своему ребенку? Это ведь девочка, да?

— Да. — Вера наморщила лоб, как от боли. — Но у меня был бы шанс отсидеть и вернуться к ней. Хотя бы ничтожный — но шанс.

— А если вы сбежите?

— Мне сказали, что в таком случае ребенка заберут от сестры и поместят в специальный детский дом... фактически — детскую тюрьму. Как если б я отказалась сотрудничать с самого начала. Как видите, мне не оставили богатого выбора...

Шоно наклонился и погладил Веру по голове.

— Бедная девочка! Единственное, что я могу сказать в утешение, это то, что ваши мучители сгинут все до одного — и это случится — а это точно случится — на вашей памяти.

— Как хочется вам поверить! — Вера прерывисто вздохнула.

— А вы и верьте! Я редко ошибаюсь.

— А что будет с Машенькой? Вы знаете?

— Увы, пока нет. Но если вы мне о ней расскажете поподробнее потом, в спокойной обстановке...

— Боюсь, что спокойной уже не будет.

— Не станем загадывать! И уж надеяться на лучшее стоит всегда. Да-с. А скажите, — подвигав немного мохнатыми гусеницами бровей, спросил Шоно, — у вас ведь должна быть, наверное, какая-то система обратной связи с коллегами?

— Как таковой системы нет. Я работаю в автономном режиме. Если бы случилось что-то из ряда вон выходящее, должна была придумать способ об этом сообщить.

— Ну, а в случае смертельной опасности?

— Постараться выбить оконное стекло. И продержаться до того, как они бы пришли — под видом полиции — разбираться.

Шоно свел брови в одну горизонтальную линию.

— Примитив, — пробормотал он. — Вы правы, никакого воображения. Но это облегчает нашу задачу. Простите, я должен хорошенько подумать.

Его лицо моментально сделалось гладким и безмятежным, глаза полузакрылись, уголки губ едва заметно приподнялись. «Чисто резиновый пупс. Интересно, если его сейчас перевернуть вверх ногами, он скажет „мама“?» — не успела эта мысль мелькнуть у Веры в мозгу, как Шоно широко распахнул глаза и посмотрел на нее так, будто увидел впервые. Он смотрел долго — Вера насчитала пять своих вдохов, — а потом сказал бодрым голосом:

— Да. Не люблю я дешевых эффектов, но другого выхода не вижу. Придется вас убить.

* * *

30 августа в 22:30 на квартиру пришел “Азиат”, а в 23:43 “Кукла” подала условный сигнал тревоги — разбила окно. Мы с Лупиным выскочили из машины (Абросимов стоял на черном ходе) и побежали к парадному. И тут послышался звук, похожий на пистолетный выстрел. Разумеется, если бы в моем распоряжении было больше людей, я сразу бы послал кого-то в подкрепление Абросимову, но поскольку, ~~несмотря на мою просьбу, выделить мне хотя бы одного дополнительного сотрудника~~ нас было всего трое, пришлось идти с главного входа. Я постучал в дверь и крикнул согласно инструкции: “Откройте, полиция!”, но никто не открыл, и тогда я дал приказ взломать дверь, и “Длинный” Лупин ее вышиб ногой. Мы ворвались в квартиру с оружием наготове, но никого в ней не нашли, кроме трупа “Куклы” в гостиной. Она лежала на спине с огнестрельным ранением в области сердца. Я проверил пульс на шее — его не было. Все это заняло не больше сорока секунд. Мне стало ясно, что “Азиат” с “Пианистом” ушли через черный ход, и мы бросились туда. На пролет ниже

мы обнаружили Абросимова, ~~который сидел там без сознания~~ сидевшего у стены в бессознательном состоянии. Мы продолжили погоню, но на выходе ~~нам в лицо пустили газы~~ к нам применили какое-то отравляющее вещество, от которого мы тоже временно потеряли сознание. Я очнулся в квартире, лежащим на диване в 23:59, а Лупин и Абросимов — сидя в креслах, на несколько минут позже. Труп на ковре уже не было, а наши документы лежали на столике рядом, оружие пропало. Поскольку двигаться после воздействия газа мы некоторое время не могли, нас задержала полиция, прибывшая на место происшествия в 00:10. На следствии (по моему указанию), мы все показали, что пришли в гости к людям, с которыми познакомились накануне в пивной, а они нас опоили и ограбили, и что мы не знали, что это не их квартира, а стекло разбили, чтобы позвать на помощь. Так как вменить нам ничего не могли, полиции пришлось нас отпустить на следующее утро. Автомобиль был тоже похищен.

Я понимаю всю тяжесть своей вины как начальника группы и члена партии за провал операции и готов понести заслуженное наказание. Прошу однако принять во внимание, что я действовал исключительно согласно инструкций и не располагал достаточными человеческими ресурсами для успешного задержания.

Мл. лейтенант ГБ Супряга И. Ф.

* * *

— Вот спасибо-то! — только и сказала Вера.

— Ох, простите старого дурака! — в лице Шоно, впрочем, не было ни грана раскаяния, — Разумеется, мы убьем вас понарошку. Судите сами — если ваши коллеги будут уверены, что вы умерли, то и дочь вашу оставят в покое. А мы уж потом придумаем, как вас воссоединить.

— Но как вы намерены их обмануть? Они не семи пядей во лбу, конечно — простые «липачи», но живого от мертвого отличить сумеют.

— А мы сделаем так, чтоб не сумели! Вы ведь не против сыграть роль Джульетты в этой маленькой пьесе?

— Вы собираетесь меня чем-то напоить? — Веру заметно передернуло.

— О, нет! Фармакопея — вещь хорошая, но эффект ее будет слишком долог, — возразил Шоно, — А нам нужно всего несколько минут здорового летаргического сна. Поэтому придется орудовать руками! — и он показал Вере открытые ладони. — Ваша задача будет проста — полежать тут на коврикe, пока мы не избавимся от нежеланных зрителей.

— Убьете? — Вера помрачнела.

— Зачем убивать? — натурально удивился Шоно, — Убивать нехорошо. К тому же нам надо, чтоб они донесли весть о вашей безвременной кончине до начальства. Нет, мы их тоже слегка усыпим. Разве что, в отличие от вас, им будет немножко неприятно. Ну как, согласны?

— Так ведь других вариантов-то нет, верно? Хотя для Джульетты я, прямо скажем, старовата. Давайте попробуем. Только учтите — эти парни здорово дерутся. Особенно длинный.

— Вот и чудно, что здорово! — Шоно переплел пальцы рук и энергично потянулся, а потом по-немецки крикнул в недра квартиры: — Марти! Мне срочно нужна твоя красная тушь! Вера! — трагическим шепотом добавил он, — Одним вашим платьем придется пожертвовать! Принесите, пожалуйста, какое не так жалко! Желательно светлое. Так сказать, для контраста.

Через короткое время все было готово — Вера в сиреневом платье с прожженной при помощи Мартиновой зажигалки дырочкой и вишневым пятном под левой грудью стояла у окна на сбившемся ковре. Вид у нее был обреченный. Картину будущего убийства дополняла пара опрокинутых стульев. Шоно в последний

раз осмотрел сцену режиссерским взглядом и удовлетворенно покачал головой:

— Дураки будут, если не оценят такую красоту! Итак, у нас все готово. А у тебя, друг мой? — повернулся он к вошедшему в гостиную Мартину. — Что там наш пинкертон с черного хода?

— Уже спит, — коротко ответил Мартин.

— Хорошо. Тогда начнемте! Вера, не волнуйтесь! Уверю вас, вы ничего не почувствуете! — Шоно положил ей руки на плечи, посмотрел на Мартина и кивнул. Тот подошел к приоткрытому окну, осторожно выглянул наружу и, убедившись, что внизу никого нет, несильно ударил в стекло кочергой.

В то же мгновение — еще осколки не успели долететь до тротуара — Шоно мягко надавил большими и указательными пальцами на шею Веры — сбоку и сзади. Вера часто задышала, потом издала слабый писк и закрыла глаза. Лицо ее побелело, грудь замерла. Осторожно опустив на ковер обмякшее тело, Шоно придал ему позу небрежно брошенной куклы, затем метнулся ко столу, схватил пистолет, снял с предохранителя и выстрелил в диван. Снова поставив на предохранитель, убрал оружие за пазуху, еще раз огляделся, подобрал гильзу, сунул ее в карман брюк и неторопливо прошел на кухню, где у черного хода ждал Мартин с Докхи на коротком поводке. С противоположного конца квартиры донесся сильный удар.

Вера вернулась в реальность через пять минут безмятежного сна — когда все уже было кончено. Сидя на ковре, она изумленно взирала на то, как Мартин и Шоно споро заволакивают в гостиную бесчувственных шпииков и размещают их в креслах и на диване. Покончив с этим, Мартин помог Вере подняться, а Шоно тем временем с удивительной сноровкой обыскал трех товарищей. Документы он бросил на чайный столик, бумажники запрятал глубоко в буфет, а все пистолеты распахал по карманам. На мгновение задумавшись, куда определить ключи от автомобиля, он поймал на

себе недоуменный Верин взгляд и счел нужным пояснить:

— Я никогда в жизни не присваивал чужого. Просто, когда сюда нагрянет полиция — ведь отчего бы ей не нагрянуть? — эти железки сослужат вашим коллегам дурную службу. К тому же все должно быть натуралистично. Так что, арсенал выбросим по дороге. А ключи...

— ...стоило бы использовать по назначению, — голос у Веры был сильным, но прозвучал убедительно.

— Вы так считаете?.. Видите ли... Н-да. Ну, ладно... — Шоно неуверенно повертел связку в руках и тоже опустил в карман.

Мартин кашлянул. Вера могла поклясться, что он сделал это, чтобы скрыть смешок. Но обернувшись на звук, увидела странную картину — Мартин наливал коньяк в расставленные перед недвижными гостями бокалы.

— А это — из каких соображений? — воскликнула она.

— Из гуманных, разумеется, — ответил за Мартина Шоно, — Когда эти славные ребята проснутся, они ощутят горечь поражения. А нет лучшего средства от горечи поражения, чем рюмка-другая хорошего коньяку! Но! Нам надо спешить!

В этот момент один из славных ребят — тот, которого уложили первым — что-то замычал, не открывая глаз. Шоно бросил на него укоризненный взгляд и легонько ткнул в шею, бормотнув по-русски: «Экий ты, братец, неутомонный». Тот затих. Вера заметила — не без зависти:

— Ловко вы — одним пальцем! Научите, а?

— Ни за что! — важно ответил Шоно, — Этому тайному искусству женщин учить нельзя!

— Почему это? — обиделась Вера.

— Потому что — маникюр! — улыбнулся Шоно. — Ну, все, уходим! Полиция вот-вот придет.

— Почем вы знаете?

— А мы ее сами вызвали пять минут назад. От полицейского участка — восемь минут ходьбы.

Расчет оказался точным. Едва успели погрузить чемоданы в просторный багажник, показался наряд полиции — три человека. Пришлось изобразить загулявшую компанию. От группы отделился один, приблизившись, поинтересовался — не слышали ли шум из этого дома.

— О, нет, господин вахмистр! — учтиво ответил Шоно, побрякивая ключами, — Мы только что приехали. Я подвез своих друзей всего пару минут тому назад.

Полицейский откозырял, вернулся к своим, и они стали разглядывать три светящиеся окна в третьем этаже. Потом заметили на тротуаре осколки стекла, снова задрали головы и после минутного совещания вошли в дом.

Тут произошла заминка — Шоно, до того так лихо крутивший на пальце ключи, вдруг смешался и протянул их Мартину, но тот только развел руками.

— Дайте их уже мне! — тихо сказала Вера, которой внезапно сделался ясен смысл этой пантомимы.

В то время, пока она разбиралась, каким ключом отпереть «массу», а каким — рулевую колонку, к дому подкатил длинный «мерседес». В тот момент, когда Вера нажала на стартер, из подъехавшего авто мигом высыпались — как черные блестящие горошины из черного лакированного стручка — пятеро молодых в одинаковых кожаных плащах. Четверо тотчас нырнули в дом. Один остался у входа. Он внимательно посмотрел вслед отъезжающему «хорьху». Губы его при этом шевелились.

* * *

Шипя шинами, автомобиль пронесся по гулкому мосту и вылетел на широкую аллею с трамвайными

путями посреди. В свете фар как в замедленной киноленте замелькали красно-бело-черные полотнища — словно дорожные знаки, предупреждающие о скором приближении к непростому перекрестку.

— Теперь — все время прямо, — сказал Мартин.

Вера молча кивнула. Он посмотрел на нее. Застывший профиль на фоне темного стекла был бы похож на совершенную камею — кабы не тревожно бьющаяся жилка на виске. Мартин протянул руку и погладил жилку. Вера на миг наклонила голову, прижимаясь к руке, потом оглянулась назад:

— Надо же! Спит...

— Восстанавливает силы. К тому же он терпеть не может автомобилей.

— Амаксофобия?

— Нет, он, кажется, вообще ничего не боится. Просто не любит некоторых вещей.

— Интересно, как это — ничего не бояться?

— Не знаю.

— Тебе было страшно сегодня? У меня — сердце выскивало.

— Когда тот полицейский подошел, ты так ко мне прижалась... как загнанная собаками лиса — на руках у охотника.

— Да, милый. Именно как загнанная лиса, — Вера улыбнулась, — а вовсе не потому, что боялась шокировать его своим окровавленным туалетом.

Мартин невесело рассмеялся:

— Экий я романтический болван!

— Мне это в тебе и импонирует. Твоя незамутненность. Правда, я никогда не встречала такого чистого человека. Наверное, потому сразу и влюбилась без памяти, что ты — моя полная противоположность. Французы называют это *un amour impossible*¹.

— Что же в ней невозможного?

— Невозможно понять, где кончаешься ты и начинается тот, кого ты любишь. Так что теперь, милый,

¹ Невозможная любовь (фр.).

часть тебя — недобрая и опасная женщина, которая перегрызет горло любому, кто попытается причинить тебе зло. Я ведь имею некоторое представление о том, что такое — Демоническая Шхина.

— Я давно догадывался, что ты знаешь куда больше, чем стараешься показать.

— Это профессиональное. Подавляющее большинство мужчин, с которыми мне приходилось иметь дело, интересовалось не тем сокровищем, что у меня в голове, а тем, что между ног. Прости за грубость, но мне сейчас не до изящной словесности.

Слегка подрагивающими пальцами Вера вытянула из пачки сигарету. Мартин поднес зажигалку. Прежде чем погасить, некоторое время смотрел на лепесток огня, потом сказал:

— Мне кажется, я понимаю...

— Нет, милый, не понимаешь. — Вера несколько раз с ожесточением затянулась. — И никогда не поймешь. Потому-то я тебя и люблю. И довольно об этом.

С минуту Вера курила, придерживая руль одной рукой, потом раздавила окурочек в пепельнице — как неприятное насекомое — поморщившись, и спросила:

— Почему тут столько этих флагов? В Данциге куда меньше.

— Это Лангфур, гнездо национал-социалистов. Улица, по которой мы сейчас едем, носит имя их главного вождя.

— Но Данциг же — пока еще вольный город?

— Судя по всему — ненадолго.

— Польша ни за что не смирится с его присоединением к рейху. Думаешь, будет война?

— Увы, большая. Ведь когда Германия нападет на Польшу — или наоборот — Англия и Франция должны будут выступить на стороне Польши — они же связаны союзническими обязательствами.

Вера усмехнулась:

— Господи, какой же ты идеалист! Англия, Франция... Вспомни, как они вступились за Чехословакию!

Нет, боюсь, что в случае войны Польшу разорвут на куски — немцы и наши, которые до сих пор не могут забыть, как мой земляк Пилсудский утер им нос в двадцатом. Только теперь у Польши нет Пилсудского.

Мартин коротко наклонил голову к правому плечу — будто хотел выплеснуть из нее что-то — как излишек воды из кувшина, вздернул левую бровь и неопределенно хмыкнул. Оба замолчали, задумавшись, надолго.

— Рояля жалко! — вдруг проронила Вера продолжение невыговоренной мысли. — И книг. Эти там ничего не оставят...

— Полиция? Полагаю, они должны опечатать квартиру, а не грабить...

— При чем здесь полиция? Я о тех, которые прикапали потом — громилы в черных плащах. Ты разве их не видел?

— Нет. Но это значит, что... Черт! — Мартин сильно ущипнул себя за межбровье.

— Вот именно. Я-то думала — ты заметил. Они могут вытащить из моих бывших сотрудников несколько больше информации, чем нам бы хотелось.

— Это значит, что у нас еще меньше времени, чем я полагал, — послышалось с заднего сиденья, — И возможностей тоже. Следующий поворот налево — наш.

* * *

За два дня успела забыть, сколь огромен Беэр — память крайне небрежно обращается с размерами — и снова поразила его стати, когда он встретил нас на пороге спрятанного под плющом игрушечного домика. Коньячный бокал в руке у Моти — смешное имя для великана, но он настаивал, чтоб я его так называла — казался чуть ли не рюмкой.

И — странное дело — тотчас успокоилась, глянув в лукавые орангутаньи глаза. Мартина нужно было

оберегать, Шоно — слушаться, а с Беэром хотелось чувствовать себя маленькой девочкой — усесться на колени, прижаться щекой к прохладной шелковой куртке с бранденбурами и потребовать сказок.

Сперва он загнал всех за стол — пить кофе победуински с какими-то ужасно липкими восточными сладостями, а уж затем выслушал новости — попыхивая толстенной сигарой, полуприкрыв глаза.

Выслушав, взмыл беспшумно — дирижаблем, — приволок топографическую карту во весь стол и завис под потолком, затенив добрую половину Восточной Пруссии.

— Друзья мои! — лирическим баритоном. — Как я понимаю, на наш след встала серьезная свора, уйти от которой будет делом нашей жизни на ближайшие несколько дней. Легавых сменили гончие, и теперь все решает скорость. По счастью, у нас есть небольшая фора — пара часов, как минимум.

— Почему так мало? — в голосе Шоно тихонько звякнула — ревность? — Ты не переоцениваешь их возможности?

— Я сумел оторваться от слежки русских только здесь, в Олифе — это, замечу, было непросто при моих габаритах — городишко-то крохотный. Да, так вот — если они начнут говорить, а они начнут — тут я согласен с Верой, то могут и про это упомянуть. К тому же — номер и марка автомобиля. Эсэсовцы не станут прочесывать город, прежде чем поставят мышеловки на всех выездах. Этого может и не произойти, но я предпочитаю делать самые пессимистические прогнозы. Чтобы если и разочаровываться, то только в приятную сторону. Я тебя убедил?

Шоно покивал головой — бесстрастный китайский болванчик — убедил-не-победил. А Мартин — мой Мартин — отстраненно глядел в пустое окно, поглаживая собаку за ухом — где он был в тот момент? Почему не со мной — каждую секунду? Почувствовала, что — закипаю, закурила. Все это напоминало ученый,

а не военный совет. Почувяв мою нервозность, Беэр продолжил *allegro*¹:

— Думаю, всем ясно, что у нас нет широкого выбора. Аэродром и порт исключаются, следовательно, остается только переход границы. Тут всего два варианта — либо Польша, либо Восточная Пруссия. Где нас будут ожидать наверняка? — и не дожидаясь ответа: — Правильно, на границе с Польшей. К тому же в последнее время польские пограничники взяли моду стрелять в нарушителей без предупреждения. А я не очень люблю, когда в меня стреляют без предупреждения, и думаю — вы тоже. Поэтому предлагаю — Пруссию, — он провел по карте пальцем черту с запада на восток. — Там нас меньше всего ждут, там прекрасные леса, чтобы затеряться и дойти до границы с Литвой, где — командорский палец спикировал в Виштынецкое озеро — у меня есть прикормленный Харон, который за горстку оболочек переправит нас в эту замечательную буржуазную республику. За пару часов на вашем трофее мы домчим до Эльбинга, — здесь Шоно мрачно крякнул. — На сборы нам времени не потребуется — у меня все готово. Вот только сменим номера у автомобиля — у хозяев сего райского гнездышка как раз стоит в гараже старинный драндулет. Я думаю — раз он не на ходу, за каким чертом ему номера? Таков мой план — если только мы не решим расхотеться поодиночке. Но мы же не решим, правда?

План приняли к исполнению. Беэр оказался гением организации. Через двадцать минут все были облачены в заранее заготовленные охотничьи костюмы и горные ботинки — даже я! — рюкзаки и ружья сложены в багажник, номера заменены.

И тогда Беэр вынул из шкафа объемистый саквояж, бережно — как младенца из ванночки — и я вдруг догадалась, что там внутри.

— Покажите! — попросила.

¹ Живо (*итал.*).

Он безропотно — точно признавая мое право — раскрыл и вытащил — темное, почти черное полено и некогда белую холстину в бледно-коричневых — старческих — пятнах, сложенную вчетверо. Почему-то захотелось встать на колени — похоже, что и у всех остальных возникло то же чувство. Протянула было руку, но — отдернула — лишь спросила, обмирая:

— Откуда — у вас?

— Нашел, — был ответ.

— Где же?

— В одной гробнице, — как само собой, с циничной улыбочкой, — в городе Стратфорде, в Уорвикшире. На ней, помнится, еще было написано:

Good frend for Iesus sake forbear,
to digg the dust enclosed here.
Blese be ye man yt spares thes stones,
and curst be he yt moves my bones¹.

Красиво так — с оксфордскими придыханиями.

— Боже ты мой! Это же!.. — задохнулась, — И вы не побоялись потревожить *его* прах?

Пожал сажеными плечами:

— Я не из пугливых. К тому же это можно прочитывать как указание: *for beare — to digg*². Да и не было там никакого праха...

* * *

¹ Друг, коли знаешь Божий страх,
Не смей копать мой бранный прах!
Блажен сберегший камень сей.
Проклят коснувшийся костей. (англ.).

² Медведю — копать (англ.).

lomio_de_ama:

Приветствую!

8note:

О, какими судьбами? Ты все еще читаешь мой опус?

lomio_de_ama:

У тебя были сомнения? Конечно, читаю, хотя и нерегулярно, извини. Навалилось работы. Сейчас ко всему прочему приходится переводить средневековые хасидские сказки.

8note:

Интересно?

lomio_de_ama:

Познавательное и поучительное. Знаешь, кто попадает в ад? Например, тот, кто не гуляет со своими детьми и не покупает им игрушек. А пребывание в раю по их представлению сравнимо с вечным оргазмом. Короче говоря, как всегда в народных сказках — примитив, замешанный на мудрости. Или наоборот. А в ближайшем будущем мне предстоит переводить «Тольдот Ешу».

8note:

История Ешу?

lomio_de_ama:

Ну да, своего рода ответ средневековых иудеев на христианские сказания об Иисусе. На первый взгляд — то ли глупая пародия, то ли попытка вписать свою версию в известные рамки.

8note:

О, как это знакомо! А что — на второй?

lomio_de_ama:

На второй можно предположить, что в этой сказке скрыто некое подмигивание, понятное только посвященному. Какие-то факты, спрятанные за нарочито идиотскими деталями. Тебе стоит прочесть ее. В оригинале, разумеется.

8note:

ОК, обязательно почитаю. Что у тебя происходит кроме работы? Играешь ли еще в бадминтон?

lomio_de_ama:

Какое там! Бадминтон здесь не в чести. Тут играют в теннис.

8note:

Да, я слышал. Думаю, это оттого, что в Штатах никогда не было традиции фехтовальных дуэлей.

lomio_de_ama:

Вот-вот! Поэтому им по нраву все, что напоминает перестрелку.

8note:

Жабры!

Воду для мытья пришлось таскать из колодца во дворе. Тара объяснила, что устроенная под крышей специальная емкость, в которую воду накачивают из акведука с помощью ворота и архимедова винта, пуста, ибо слуги уже четыре дня как разбежались, прихватив лошадей, а сил одного человека едва ли хватит, чтобы повернуть механизм и десяток раз.

Оскальзываясь в крови, Марко заволок окоченелое тело Луки в дом, чтоб не мешало проходу. Остальных решил не тревожить и старался не смотреть в их сторону, впрочем, милосердные сумерки и так скоро скрыли от его взгляда грустное зрелище.

Пока он сновал взад-вперед с медными ведрами, Тара сидела в головах у своего мертвого любовника, гладила по волосам и что-то напевала. Может, и плакала — лица ее Марко видно не было, да только когда он пришел сообщить, что вода нагрета, девушка подняла на него совершенно сухие, хотя и печальные глаза. Марко в очередной раз подивился тому, с какой легкостью Тара переменяет настроения — поднявшись с колен, она тотчас вернулась к прежнему игривому и слегка ехидному тону.

В небольшой, но роскошной терме она велела юноше наполнить теплой водой вытесанную из единого куска розоватого мрамора купель — таких он не видывал даже в набогатых домах, а сама подлила в нее каких-то прозрачных жидкостей из стеклянных сосудов, отчего вода сделалась пенной и ароматной, как свежая виноградная брага.

Удовлетворившись результатом, Тара принялась неспешно раздеваться — шепотом ругая неудобную мужскую сбрую и как бы не обращая внимания на Марко, который стоял чурбан чурбаном и не знал, куда деть глаза — фрески на стенах вокруг были самого непристойного свойства. Только когда из одежд на ней осталась одна рубаха, Тара словно бы вспомнила про Барабассо:

— Ты разве не собираешься мыться?

Тот смешался:

— Думал — потом... после тебя... Я подожду — там, — он, не глядя, махнул рукой куда-то в сторону.

— Там — это в печи? — хохотнула Тара, — Нет уж, так не пойдет! Ты видел меня обнаженной, а я тебя — нет. Это нечестно. К тому же по *моим* законам я должна помыть тебя собственноручно. Раздевайся! Ты же не хочешь меня обидеть?

Марко замялся, пытаясь измыслить хоть какой-нибудь повод отказаться.

— Что же ты стоишь? Вода остынет! — насмешница нетерпеливо постучала босой ножкой по мозаичному изображению чрезвычайно возбужденного сатира, — Я жду! Или ты боишься меня?

— Ничего я не боюсь! — буркнул Марко, заливаясь краской, отвернулся и стал стягивать подшитую войлоком кольчугу.

Оставшись в костюме праотца нашего Адама, он старательно прикрыл руками срам и обернулся. Тара — тоже нагая — подошла к нему:

— Чего ты стыдишься? Разве эта часть тебя, — она показала глазами вниз, — хуже всех прочих? Или она — не от Бога?

— От Бога, — согласился Марко, не отнимая рук от чресел. — Но она уязвимее других для Дьявола.

— То, что ты называешь Дьяволом, живет у людей в голове и нигде более, — строго сказала Тара. — Дай мне руку!

Он покорно протянул — левую. Тара положила ее себе на грудь и крепко прижала сверху ладонью, а пальцами другой руки подцепила медальон, что висел на шее у Марко:

— Что это у тебя?

Марко судорожно ухватился за свою реликвию правой рукой, а Тара в тот же миг поглядела на его оставшееся безо всякой защиты мужское естество и звонко расхохоталась:

— Ого! А я уж чуть было не подумала, что ты из тех, кто предпочитает мальчиков! — она приблизила губы к уху Марко и жарко зашептала, отчего в голове у него вспыхнуло и зазвенело: — Я у тебя в долгу и хочу отплатить. И хотя по известной причине не могу сейчас принять тебя с главного входа, но готова открыть любой другой по твоему желанию. Я знаю множество способов усладить мужчину. Повелевай!

Марко замотал головой, как лошадь, одолеваемая оводами, и простонал:

— Умоляю, не надо!

Тара отпрянула.

— Ты — святой? — спросила она каким-то новым голосом. — Или связан обетом?

— Я грешник. И я слаб, поэтому прошу — не надо меня больше мучить!

— Но почему? Ужели я так тебе не нравлюсь?

— Очень нравишься. Потому это и неправильно! — вскричал Марко, — Ты же меня не любишь! А отстоя вместо вина я не хочу...

— Знаешь, мне кажется, что уже люблю, — задумчиво проговорила Тара. — Прости за эту жестокую игру! Но я должна была кое в чем убедиться, — она вдруг опустилась на колени и поцеловала ему руку, — Позволь мне помыть тебя! Как позволил бы матери. Пожалуйста!

Марко приснилась красивая женщина, с волосами, убранными под синее покрывало, из-под которого выбивались золотистые прядки — она и раньше приходила к нему в сновидениях — всегда молчала, лишь смотрела ласково да гладила по голове. Однако на этот раз женщина заговорила — на незнакомом языке — она настойчиво повторяла одни и те же слова, лицо ее было тревожно.

Марко открыл глаза. Тара в своем мужском одеянии спала, положив голову ему на колени. Сон ее был непокоен — грудь то замирала, то начинала учащенно

вздвигаться, тени зрачков то и дело пробегали под веками — как рыбы под тонким льдом, завитки волос прилипли ко взмокшему лбу и сделались красными. «Когда мы сюда пришли, тут стоял могильный холод, а нынче — жарко, как в кузне. Неужто мы проспали до полудня?» — подумал Марко. С трудом оторвав взгляд от точеного лица Тары, он перевел его на часы, стоявшие на полу. Хозяйка дома вечер перенесла их сюда из атрия. Часы представляли собой бронзовый барабан диаметром в локоть. Наверху у него была тарелка с двадцатью четырьмя *индийскими* цифрами, посреди торчал черный *гномон* в вершок высотой, а по наружному кругу равномерно двигалась маленькая ладья, в которой стоял египетский бог Амон-Ра с бараньей головой, меж рогов которой крепилась масляная лампада с шарообразным стеклянным колпачком — других источников света в потайном помещении не было. Увидав намедни сию изящную диковину, Марко счел ее арабской *клепсидрой*, но Тара сказала, что нет — принцип действия часов иной, *механический*, но в подробности вдаваться не стала. Юноша, лишь однажды слыхавший про нечто подобное — часы Герберга д'Орийяка, Папы Сильвестра II — и не особенно веривший в их существование, затруднился в полной мере выразить свое восхищение, но Тара пренебрежительно махнула рукой и заявила, что это-де пустяк, детская игрушка, вот когда он увидит астрономические часы, которые они сооружали вместе с отцом двенадцать лет, тогда сможет и восхищаться, сколько угодно. А эти — она смешно наморщила носик — отстают на две минуты за сутки, но как ночник годятся.

Сейчас тень от обелиска напозла на цифру 3, а значит, была глубокая ночь. Марко обеспокоенно шевельнулся, и Тара тотчас вскинулась.

— Что случилось? — совершенно бодрым голосом спросила она.

— Ко мне приходила во сне мать, — Марко попытался подняться, но нижняя часть тела от долгого

сидения сделалась как каменная, и он принялся, охая, растирать бедра и колени.

— Что она говорила? — поинтересовалась Тара, глядя на часы.

— Я не знаю. Она говорила на непонятном языке. Но, похоже, хотела предупредить о какой-то опасности.

— И я даже догадываюсь, о какой именно, — Тара протянула Марко руку, и он встал на подгибающиеся — теперь уже словно набитые колючим сеном — ноги.

— Ты полагаешь, что?.. — не договорив, Марко проковылял к дверце, через которую они проникли в тайную камору, распахнул ее — и его словно бы наотмашь ударили по лицу раскаленной жаровней. Затрещали брови и ресницы, мгновенно обгорел пушок на щеках. Марко вскрикнул и захлопнул дверь. При виде его порозовевшей физиономии Тара не удержалась:

— Ты похож на опаленного поросенка, — впрочем, уже доставала из-за пазухи какой-то флакон. Отирая Марко лицо смоченным платком, отчитала с материнской интонацией: — Совершенно не обязательно лезть в пекло, чтобы понять, каково в нем, дурачок!

— Но что же делать? — смятенно пролепетал Барабассо, более пораженный ее спокойствием, нежели перспективой неминуемой гибели. — Мы же здесь вот-вот задохнемся!

Вместо ответа Тара отошла в дальний угол и ударила по мраморной панели носком башмака. Та отозвалась гулким, пустым звуком.

— Задохнуться нам не грозит. А вот помокнуть придется порядочно. Пока все не прогорит. Здесь выход в подземную цистерну.

*Помню, когда прочитала этот кусок рукописи, осенило — он же писал свою Тару — с меня! И тут же **приличная** женщина — у которой был муж, дети и дом — возмущилась и оскорбилась таким представлением — уж очень далеко оно было от идеала классической женственности. Значит, вот какую явилась пред ним — взбалмошной,*

хищной, блудливой бабенкой. А настоящая — выдержав деликатную паузу — заметила: да, в тебе все это есть, но только он разглядел и что-то другое — раз полюбил — и постарался объяснить — тебе самой — что именно. К тому же — добавила настоящая — так ли бы ты негодовала, милочка, будь это все написано про мужчину?

— Ужели всю жизнь теперь так и придется жить пантеганом? — вздохнул Марко, закончив излагать Таре историю своей жизни.

Они уже так долго сидели на камне, прижимаясь спинами друг к другу, что обсохли бы, кабы от наружного жара водохранилище не превратилось в баню.

— А кто это? — спросила Тара.

— Это такая двужилая крыса. Чуть что — ныряет в канал. Говорят, она может дышать под водой.

Он почувствовал, как Тара дернула плечиком:

— В жизни есть вещи, ради которых и не в такое нырнешь. Вот ты зачем оказался здесь?

— Из-за отца, я же рассказывал. А твои родители живы?

— Отец, — в голосе Тары прозвучало благоговение.

— Но он ведь не знает, что ты...

— Конечно, знает. Весь город знает.

— Вот почему ты живешь одна!.. Он тебя прогнал, проклял?

Тара фыркнула:

— Вот еще! Мы с ним прекрасно ладим и понимаем друг друга. А живу... жила отдельно потому, что ему нужны уединение и покой. Он — великий мыслитель.

— Прости, но я никак не могу взять в толк...

— Хорошо, я объясню, — в этот момент, сверху донесся сильный треск и следом за ним — грохот.

— Крыша обвалилась. Теперь уже недолго ждать, — бесстрастно констатировала Тара, и продолжила: — Мои предки пришли в Византию из Персии — несколько веков назад, а туда, говорят предания, они попали из самой Индии. Так это или нет, но имена мы

носим индийские. Хотя в самой древней легенде моего племени утверждается, что в Индию оно переселилось из Вавилона, то есть опять-таки из Персии. Как бы то ни было, нынче наших можно встретить на протяжении всего Шелкового Пути — вплоть до Египта. В старину наш народ владел таинствами священного музицирования, танца и астрологии — именно мы вернули вавилонянам трактат «Энума Ану Энлиль» — почти две тысячи лет назад!..

— Я читал его — по-гречески! — в волнении воскликнул Марко.

— ...и многое-многое другое. То было время нашего величия... — сказала Тара с горечью, — Но постепенно мы превратились в жалкое племя барышников, плясунов и уличных гадалок. Про нас помнят — да и то уже мало кто — что мы принесли сюда благородную игру *циканон*¹, столь любимую ныне знатью.

Она замолчала так, словно потеряла в темноте нить своего повествования. Марко предупредительно кашлянул и задал наводящий вопрос:

— Ты упомянула, что твой отец — мыслитель.

— Да, — отозвалась Тара. — Среди нас осталось ничтожное число носителей прежнего знания. Мой отец — здесь его зовут Деодан — из тех, кто сохранил и преумножил учение о языке звезд и путях небесных тел. Моя мать — Лали — владела в совершенстве искусством танца и пения. Она была гораздо красивее и лучше меня.

— Трудно поверить, что можно быть красивее тебя! — пылко возразил Марко — и порадовался, что Тара не может увидеть, как он заливается краской.

— И тем не менее, это так, — в голосе девушки он услышал улыбку. — И это стало причиной наших несчастий. Мой отец был *мистиком* кесаря Андроника, сиречь личным поверенным — еще в ту пору, когда тот пребывал в душевном здравии. Андроник сей с молодости был

¹ Групповая игра с мячом, похожая на современное конное поло.

похотлив аки козел, а захватив власть — в шестьдесят лет, наградил рогами сотни мужей.

— Что это означает?

— Он позволял им охотиться на оленей в своих заповедных лесах, а сам тем временем наносил визиты женам. Поэтому отец старательно прятал от его алчущего взора мою мать. Но не уберег — Андроник прослышал о красавице Лали и однажды, буйный и пьяный, как Дионис, вторгнулся в дом отца и изнасиловал мать у него на глазах. Так я появилась на свет.

— Так ты — дочь кесаря! — Марко резко повернулся к Таре.

Она покосилась на него через плечо:

— Я — дочь Деодана. Все лучшее во мне — от него. И это он не позволил матери вытравить дитя. Хотя, истины ради, дурная кровь дает о себе знать...

— Но что твой отец?

— На следующий день он принес Андронику хорарную карту, согласно которой тот должен был захлебнуться в собственной крови не позднее чем через два года.

— Это был смелый поступок, — с уважением произнес Марко.

— Но не самый обдуманый, — вздохнула Тара. — Как и следовало ожидать, император пришел в неистовство и приказал сжечь отцу глаза, чтобы тот никогда больше не увидел своих любимых звезд — так орал он, беснуясь. Правда, потом — в период кратковременного прояснения рассудка — он раскаялся и даже пришел к отцу, обнял его и плакал. Да только зрения-то этим не воротить. Андроник назначил отцу хорошую пенсию, но, как было предсказано, умер в страшных мучениях — подвешенный за ноги, растерзанный и униженный плетом — через полтора года. Пенсию выплачивать, разумеется, скоро прекратили.

— Чем же вы жили?

— Мать танцевала и пела в богатых домах — ей много платили. А я стала глазами отца. Он проводил со мной дни напролет, учил меня всему, что знал.

Неудивительно, что я росла мальчишкой — мне были интересны не куклы и прочие девичьи забавы, но всякие механические чудеса, древние языки, наблюдение звезд и стрельба из лука. Я мечтала сделаться великим астрономом, механикусом и геометром. Но мать умерла, когда мне было четырнадцать, и я решила сделаться великой блудницей.

— Но почему? — возопил Марко.

— Может быть, потому что имела к тому склонность — я же произросла из порочного семени. Но главное — ради независимости. Родись я мужчиной, у меня было бы больше возможностей. А у женщины — что? Выйти замуж и стать рабыней? Нет уж, это не для меня! Мне нужна была свобода, дабы продолжать свои опыты, а ее дают деньги. К тому же мужчины всегда липли ко мне, как пчелы, будто я источаю какой-то особый аромат. А их общество для меня куда занимательнее женского. Я ценю разнообразие.

Марко истово перекрестился.

— Господи Иисусе! А как же — мнение окружающих?

— В моем окружении не было женщин, святош и скопцов, а всем, кто делил со мною ложе, не приходило в голову упрекать меня в развратности. Вот убить меня пытались — дважды, но это из ревности.

— Но мужчины бывают опасны, — Марко осторожно коснулся ее плеча. — Сегодня тебя хотели убить вовсе не из ревности. По чести сказать, я удивлен тем, как ты пережила давешнее надругательство.

— Мужчины не опаснее лошадей — те тоже могут взбеситься и понести. Надругаться же над моей душой никому не дано, а тело... телу не привыкать. Однажды — мне было еще пятнадцать — меня взял силой один царедворец. Он недолго радовался своей победе... А год назад я попала в руки пьяным морякам. Это было куда хуже, чем сегодня. Лука был тогда начальником вигиии¹ — он выручил меня, а тех убил. Я еще решила,

¹ Ночная стража (*лат.*).

что он — это ты. Ну, потом-то выяснилось, что нет, но я к нему привязалась.

— погоди, погоди! — остановил ее Марко. — Ты говоришь какими-то загадками. Что значит — решила, что это я? И как — выяснилось?

— Ты все узнаешь в положенный срок. Я хочу, чтобы тебе это объяснил мой отец — так будет лучше. А сейчас давай-ка попробуем отсюда выбраться!

Выбраться наружу у них получилось только к вечеру, и то поверху идти возможным не представлялось — весь квартал превратился в подобие горнила, по которому разгуливал раскаленный ветер, не давая углям погаснуть. Прикрывая головы тлеющими плащами, беглецы вновь юркнули в какую-то крипту.

— Бедный город! — сказала Тара, отдышавшись, — Третий пожар за последний год. По моим расчетам, Константинополь должен был простоять еще лет двести сорок. Где же я ошиблась?

— Может, он еще и не падет? — робко предположил Марко.

— Может быть. Хотя я сомневаюсь — защищать его нынче некому.

— Куда мы теперь? — предпочел переменить тему юноша.

— По этому акведуку мы доберемся почти до самого дома отца. Надеюсь, это случится раньше, чем до него доберутся латиняне.

— Но как мы пойдем — в этой кромешной тьме?

— Не волнуйся — я вижу в темноте, как кошка, — успокоила его Тара, потом рассмеялась, в ответ на его оторопелое молчание: — Я просто могу пройти этой дорогой с закрытыми глазами. К тому же в тридцати шагах отсюда припрятана добрая масляная лампа, а кремь, кресало и трут у меня с собой.

По пути они почти не разговаривали — бредя то по колено, а то и по грудь в воде, каждый думал о своем. Лишь однажды Тара подскочила к Марко, толкнула его

за колонну и, прикрыв светильник плащом, шепнула: «Замри!»

В тот же миг из мрака вынырнули и стали приближаться четыре светящиеся точки — две оказались факелами, а две — их отражениями. Пара мужчин — плешивый тучный и рыжий худощавый — прошла совсем близко от укрытия Марко и Тары, оживленно переговариваясь по-гречески, хотя худой был наряжен крестоносцем. Шума встречные производили столько, что предосторожности были излишни, и Тара, склоняясь к Маркову уху, сказала вполголоса: «Этот толстяк частенько бывал у меня, впрочем, предпочитал подсматривать через специальную дырочку в стене. Большой политик и жизнеописатель. Вот уж кто всегда выйдет сухим из воды!»

Когда те двое исчезли из виду, Марко обеспокоенно заметил:

— Они говорили, что разорение города уже началось! Что если наши... то есть, латиняне уже добрались до твоего отца?

— Надеюсь, что нет. Он живет в скромном доме. Но ты прав, надо спешить!

В скором времени — за мгновение до того, как огонек в лампе агонически затрепетал и померк — Тара показала на небольшое углубление в стене цистерны, которого Марко никогда сам бы не заметил:

— Здесь лестница, правда, очень узкая. Зато приведет прямо туда, куда надо, — она освободилась от плаща и перевязи и, держа их над головой, ящерницей ввинтилась в тесный лаз.

Марко пришлось нелегко — он несчетное количество раз оцарапался и ударился головой, чуть не задохся и не умер от страха, что вот-вот застрянет здесь намертво, но всего через пять минут сумел вытолкнуть свое тело из каменного лона в какой-то глухой закуток:

— Будто заново родился... только чуть не околея по дороге! — сообщил он Таре, когда смог, наконец, перевести дух.

— Ты даже не представляешь, насколько близок к истине! — в голосе Тары сквозило нетерпение. — Идем же! — и она устремилась вглубь темного переулка.

Марко нагнал ее у неприметной железной двери. Девушка негромко выстукивала рукоятью меча сложный ритм по торчащей из стены металлической трубе. Через несколько мгновений дверь бесшумно отворилась, Тара толкнула в нее спутника и, оглядевшись, вошла сама. К вящему удивлению Марко за дверью не оказалось никого, кто мог бы ее открыть. Поощряемый Тарой, он ощупью двинулся по длинному ходу и через двадцать шагов почувствовал, что попал в большое помещение.

— Почему здесь так темно? — спросил он.

— Слепым свет ни к чему, — отозвался из ниоткуда приятный глуховатый голос. — Но я не знал, что Тара придет не одна, иначе осветил бы вам путь.

— Не волнуйся, отец, я сейчас зажгу огонь, — Марко и представить не мог, что Тара способна на такую нежность.

Свет вспыхнул почти мгновенно — Марко был готов поклясться, что не услышал ударов кремня по кресалу — и сразу в четырех углах комнаты, и был так неожиданно ярок, что заставил зажмуриться. Открыв глаза и проморгавшись, Марко увидел сидящего за столом старика. В сравнении с серебряными волосами лицо его казалось почти черным — и все это напоминало старинную закопченную икону. Глаза старика были белы и недвижны, руки же, напротив, непрестанно двигались, ловко выполняя какую-то тонкую работу.

— Меня зовут Дэвадан, — сказал он просто. — Или Деодан, если так тебе проще. Могу я узнать твое имя?

— Он зовет себя Марко, отец, — ответила вместо юноши Тара звенящим голосом. — Но это не настоящее его имя. Настоящее он носит на груди. Он спас меня от смерти и устоял пред искушением. Он высок и светловолос. Он обрезан, но верит в распятого на дереве. Он не знает своих родителей. Его нашли вблизи Святой Земли. Все совпало в точности.

Дэвадан прижал темную руку к груди и хрипло спросил, обращаясь к Марко:

— У тебя есть какое-нибудь другое имя?

— Да нет... — растерялся тот. — Разве что прозвище — Барабассо, но это же не имя. Так, название цветка...

— Кто тебе дал его?

— Мой приемный отец.

— Что написано у тебя на груди?

— Не знаю.

— На твоём медальоне написано по-еврейски — *Barabba*, — тихо проговорила Тара.

Тут Дэвадан торжественно произнес непонятное:

— *Shma Israel Adonai Eloheinu...*

— *Adonai Ekhad*¹, — неожиданно для себя отозвался Марко.

Мертвые глаза старца вдруг заблестели:

— Я уж и не чаял этого дожидаться, — прошептал он еле слышно, — Вот ведь...

* * *

*ночь на 1 сентября 1939 года
на полдороге из Данцига в Восточную Пруссию*

Они сбились с пути и потеряли минут сорок, выпутываясь в темноте из паутины однообразных проселочных дорог — Вера, исполнявшая должность штурмана, винила в этом себя и от злости кусала губы чуть не до крови. Беэр же вел автомобиль безо всякого видимого напряжения, беззаботно подсвистывая ветру — и лишь на перекрестках спрашивал: «Куда?» Шоно с Мартином вовсе дремали на заднем сиденье, а стиснутый ими с боков Докхи меланхолично глядел вперед, разложив на обширном водительском плече бryли, словно на просушку, и время от времени тяжело вздыхал. Когда Вера от отчаяния уже готова была рвать на себе волосы,

¹ Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь — один! (*ивр.*) — стих из Писания, известный каждому иудею с младых ногтей.

среди ровного и унылого, как шахматная доска без фигур, ландшафта, скудно освещаемого двумя третями луны, показалась, наконец, крохотная деревушка на пересечении шоссе-близнецов. Но даже найдя на карте название селения, Вера затруднилась сориентироваться — никаких указателей, что могли бы в том помочь, местные жители не предусмотрели. Воспользовавшись остановкой, Беэр выкарабкался из-за руля и стал разминать ноги, тихо, но отчетливо чертыхаясь, а следом за ним, радостно поскуливая, выскочил Докки, предполагающий, что его кумир затеял какую-то развеселую игру. Пока великаны резвились, Вера стояла, бессмысленно разглядывая небо, похожее на сильно побитую молью накидку фотографа. «А ведь там, за этим занавесом должен быть бесконечный свет, от которого нам достаются сущие крохи...» — подумала она вдруг.

— Нам и этого не понять, — так же внезапно возник у нее в правом ухе тихий голос Шоно.

— Что вы сказали? — Вера чуть не подпрыгнула от неожиданности.

— Небо, говорю, здесь потрясающее, — по-русски промурлыкал тот, приподнимаясь на носках и громко втягивая носом воздух. — Открылась бездна звезд полна... Да-с, неудивительно что здешний философ-идеалист им так восхищался. Впрочем, он, кажется, так и не постиг того, что нравственный закон внутри нас есть ничто иное, как отражение звездного неба над головой.

— Поясните! — потребовала Вера.

— Давно замечено, что чем дальше мыслитель наблюдает за величавым движением небесных тел, тем менее его затрагивает суетливое мельтешение тел человеческих. Иными словами, именно глядя на звезды, человек начал думать абстрактно — о смерти, о вечности, о боге. Изучив ход светил всего за несколько сотен лет, осознаешь: что бы ни случилось с тобой, созвездие Ориона — видите три звездочки в ряд? — это его пояс — так вот созвездие Ориона в это время года всегда будет появляться точно на востоке, а за ним следом

появится Единорог, а затем Меркурий, а после — Лев, играючи, выкатит Солнце из-за горизонта. А человек, если он не дурак, должен быть бесконечно благодарен Природе за обладание способностью понимать ее намеки.

Вера рассмеялась и даже чмокнула Шоно в щеку:

— Спасибо! — Потом крикнула Беэру: — Мотя, едем скорее! Курс на те три звезды!

— Ес, мэ'эм! — рявкнул тот пиратским голосом и, забросив Докхи на плечи, как охотничий трофей, рысцой побежал к автомобилю.

Возвращаясь в штурманское кресло, Вера поглядела на Мартина. Он сидел с закрытыми глазами — и улыбался.

Через Вайхсель они перебрались всего лишь пятью километрами южнее, чем планировали — около трех пополуночи.

Беэр прибавил ходу — и уже через полчаса, миновав поселок Лакендорф, остановился на обочине.

— I want a clean cup, — заявил он. — Let's all move one place on!¹

— Should we put Shono into a teapot?² — деловым тоном поинтересовался Мартин, открывая дверцу.

— I wasn't asleep, — проворчал Шоно, — I heard every word you fellows were saying.³

— Но зачем? — спросила Вера с недоумением.

— Затем, что при пересечении границы мне стоит притвориться спящим, а если я буду делать это сидя за рулем, пограничная стража справедливо сочтет меня подозрительным субъектом, — ответил Беэр с наи-серьезным видом.

— А зачем притворяться?

— Видите ли, согласно документам я — чистокровный немец. Ариец! — Беэр воздел к небу указующий

¹ — Мне нужна чистая чашка! Пусть каждый передвинется на соседнее место! (англ.).

² — Запихнем Шоно в чайник? (англ.).

³ — Я не спал, ребята, я слышал все, что вы тут наговорили! (англ.).

перст и выпучил глаза, — Голубоглазый блондин. Английский акцент мне не к лицу.

— Но если вас разбудят?

— Не разбудят — я буду очень убедительно спать, — уверенно сказал Беэр, — А уж если вы одарите их своей божественной улыбкой!.. Остальное — дело Шоно.

Вера только покачала головой и пересела за руль.

В Эйнлаге, на мосту через Ногат, зевающий данцигский пограничник в накинутой на плечи шинели поднял шлагбаум, едва заглянув в документы, и тотчас потрусил обратно в теплую будку под двойным крестом, прусские же были бодры и подтянуты. Поджарый сухо покашливающий унтер внимательно просмотрел протянутые ему Шоно паспорта, затем обошел автомобиль кругом, светя внутрь фонариком — Беэр всхрипнул как Левиафан и сделал зверское лицо, не открывая глаз.

— Господин полковник весьма утомлен перелетом из Берлина, — надменным голосом проскрипел Шоно. — Мы будем вам чрезвычайно признательны, если вы его не потревожите. Впрочем, если так надо...

— Никак нет, господин тайный советник! Никакой необходимости! — поспешил заверить его унтер и добавил доверительно, прочертив пальцем линию на своем лбу: — Сразу видно — ветеран, не штабная крыса.

— Вы полагаете, что служба в штабе менее почетна и важна? — Шоно высоко поднял бровь.

Унтер тотчас напрягся:

— Отнюдь нет, господин советник, как можно, — пробормотал он в усы и поспешил перейти к Веринному окну.

Вера изобразила самую обворожительную улыбку и тихонько сказала:

— Тайного советника сильно растрясло по дороге. А по поводу штабных полковник несомненно бы с вами согласился. Насколько я знаю, сам он воевал где-то на юге.

— А я, милостивая государыня, наглotalся нашего же иприта на Западном фронте, — пограничник привычно хкекнул, протянул Вере паспорта и спросил: — Едете на охоту?

— Вы очень наблюдательны! — похвалила его Вера.

— Вы мне льстите, фрау! — усмехнулся унтер. — Куда еще могут ехать люди в охотничьих костюмах в такую рань? Кстати, а куда именно вы едете?

— У нас охотничий домик на Хашнерзее, — перехватил разговор Мартин.

— Завидую вам, — сказал унтер, покосившись на Веру. — Там сейчас столько птицы! А вот собачку бы я взял другую. Курцхаара, к примеру.

— Мы не охотимся на бедных маленьких птичек, — томно улыбнулась Вера. — Мы предпочитаем крупную дичь.

— Фрау — охотница?

— Да, я люблю пострелять.

— Что ж, тогда вы — идеал немецкого мужчины! — пограничник приложил руку к козырьку: — Добро пожаловать в Рейх! И счастливой охоты!

Он дал знак подчиненному — и тот открыл проезд.

Едва застава скрылась за поворотом, Вера резко затормозила и сделала несколько глубоких вдохов.

— Тайный советник! Полковник! Охотничий домик! Птички! Можно же было и предупредить! — она сломала, вытаскивая из пачки, две сигареты. — А что, если б он таки вздумал разбудить полковника?

— Вы не знаете психологии немецкого чиновника, — возразил Беэр, — каковая зиждется на двух столпах: чинопочитании и абсолютной вере в Официальную Бумагу.

— Во что? — Вера дернула плечом, раскрыла Беэров паспорт, ткнула в него пальцем и в сердцах вскричала на родном языке: — Вот в эту липу? Полковник Бэр фон Лиман фон Аккерман?

— Почему — липу? — по-русски же ответил Беэр, — Я ж натурально с лимана. А у папаши домик был в Аккермане.

* * *

*13 апреля 1204 года
Константинополь*

Марко рухнул на скамью, как если бы его толкнули ею под колени.

— Господи Иисусе, — пробормотал он, — Барабба! Теперь я еще и еврей...

Тара подошла к нему сзади и погладила по волосам:

— И что с того? Тот, к кому ты взываешь, тоже был им.

— Но ведь евреи ненавидели и убили Его!

— Скажи, сын мой, — обратился к юноше Дэвадан, отложив рукоделие, — Ежели ты нынче войдешь во храм и станешь обличать и порочить князей церкви, утверждая, что они неверно толкуют Писание и погрязли во грехе, долго ли проживешь на белом свете?

— Но Иисус являл чудеса и учил Новому Закону! — с горячностью возразил Марко.

— Насколько мне известно, — усмехнулся старец, — из ваших Евангелий, ничему такому, чего бы не было в Пятикнижии, он не учил. Он был правоверным иудеем и радел токмо за строгое исполнение единоверцами заповеданных им законов. И никогда не проповедовал язычникам. И уж точно никогда не называл себя богом — за это бы его тотчас побили камнями.

— Тогда отчего евреи не признали Его учителем?

— Многие признали, — сказал Дэвадан. — Даже среди фарисеев были у него сторонники. Двое из членов Синедриона задорого выкупили тело казненного у римлян и погребли в склепе честь по чести — и это в канун субботы! Будь он преступником по еврейскому закону, разве пошли бы они на такое? А коли ты читал

«Деяния апостолов», то должен знать про то, как тот же совет мудрецов отпустил живыми Петра и Иоанна, что проповедовали во Храме и исцеляли именем Иисуса.

— Но за что же тогда евреи распяли Спасителя? — растерянно пролепетал Марко, — и отчего они так противятся обращению?

— Иисуса распяли римляне, — терпеливо пояснил Дэвадан, — за оскорбление величия кесаря. Об этом прямо говорится в ваших Евангелиях. Хотя там написано много несусветной чепухи, истина, заключенная в них, довлеет знающему. А противятся затем, что христианство есть упрощенный иудейский закон для язычников. Вообрази, что доподлинно знаешь, кто был твой отец! А потом представь, будто тебя принуждают уверовать в то, что отцов у тебя было трое! Мыслимо ли это? — и не дожидаясь от Марко ответа, воскликнул: — Немыслимо! Так и для иудея немыслимо признать триединство Бога, тогда как для язычника такое положение дел вполне приемлемо.

— Ты хочешь сказать, что христианская вера — это язычество? — возмутился Марко.

— Нет, уже не язычество, но еще не вполне единобожие. Вы признаете, что Бог един, но ваши храмы полны разукрашенных идолов, словно языческие капища. Вы уже не побиваете кумиров палками, когда они не исполняют ваших просьб, но все еще приносите им в жертву целые народы. Вы поклоняетесь и молитесь Деве, как это делали тысячи племен за тысячу лет до вас... — Дэвадан вздохнул и потер переносицу. — Иудеям самим понадобилось предолгое время, чтобы искоренить в себе язычество и понять, что для веры не нужны святилища и кровь, да и далось им это очень дорогой ценой. Христианам этот путь еще предстоит пройти.

— А сам ты, сам ты во что такое веришь, что дает тебе право судить столь снисходительно?

Старик вперила белый свой взор ровнехонько в глаза Марко — и тому сделалось не по себе, как если б на

него посмотрела мраморная статуя. Но голос слепца прозвучал мягко:

— Я осиротел в одночасье, едва мне исполнилось одиннадцать лет. Сестре моей на те поры было восемь, брату — четыре. Разумеется, я не пользовался у них тем, что вы, латиняне, называете *auctoritas*¹, не имел того безусловного влияния, какое бывает у главы семьи, которым я сделался поневоле. Мне пришлось измыслить для этих испуганных детей баснь о том, что родители наши превратились в эфирных существ, что они незримо присутствуют в нашей жизни и приходят ко мне во сне. Надо ли говорить, что я и сам был испуганным ребенком и до смерти желал бы поверить в собственный вымысел? Но при этом я твердо знал, что отныне и присно отец и мать живут единственно в моем сердце, и помощи извне ждать не приходится. Сознавать это было мучительно, но я приучился терпеть. Моя сестра скоро привыкла обращаться к отцу и матери через мое посредничество — с просьбами о помощи или о прощении, братец же соорудил себе в укромном уголке род святилища, куда снес некоторые родительские вещи и где отправлял пред ними свои немудрящие обряды...

Дэвадан вздохнул и замолчал. Тара подошла к нему, обняла, уткнувшись носом в серебряную макушку.

— Мне тоже часто снится мать, — растроганно сказал Марко, — а я даже не понимаю ее языка... Но я не уверен, что правильно уяснил смысл твоей притчи — ибо он кажется мне страшным.

— Если так, то ты все понял верно, — был ответ, — А страх вполне естественен, хотя в разных случаях имеет и различную природу. Одних страшит богооставленность, других — неизвестность, третьих — ответственность. Не все народы ведь родились одновременно. Так мой народ помнит явление на свет твоего — я разумею — еврейского. К тому времени наши мудрецы уже осознали, что Бога у нас более нет.

¹ Авторитет (*лат.*).

— То есть как это — нет? — ужаснувшись, Марко сотворил было крестное знамение, но рука почему-то не послушалась.

— Как — точно не знает никто, — Дэвадан пожал плечами. — Я представляю себе это так, будто Бог создал сей мир из себя самого — из всего себя, без остатка. А вот дочь моя полагает иначе.

— Мне кажется, что всё окружающее нас и мы сами суть агония Бога, — откликнулась Тара. — Когда-то давно люди еще ощущали его присутствие, ныне же они предоставлены самим себе, — она ласково тронула старца за локоть: — Прости, отец, так ли уместны сейчас теологические споры? Город разграбляют, предают огню и мечу. Нам надо бы выработать план действий.

— О, да! — Марко обрадовался возможности ускользнуть от смущающего ум разговора. — Будет разумнее сперва выбраться из Константинополя, пока его не разнесли по камешкам — я уже видел, как они разоряют города. Их рука будет на всех и на всем — от купца до монахини и от презренных металлов до священных мощей.

— Потому-то нам и нельзя уходить! — твердо произнес Дэвадан. — Нам нет дела до золота и драгоценностей, да и до костей, в них оправленных — тоже. Но в одной из здешних церквей хранятся две истинные реликвии, цена коих несоизмеримо выше всех богатств мира. И мы должны постараться их уберечь.

— Что же это за святыни такие? — изумился Марко.

— Кусок дерева и холстина, — ответил старик. — А чтобы рассказать подробнее, понадобится не один час.

— Я поднимусь в обсерваторию, отец, — сказала Тара, — и осмотрю окрестности. И я обещала Марко, что ты поведаешь ему о пророчестве. Думаю, он стогорает от нетерпения узнать, кто он таков.

Она вышла через неприметную дверь в дальнем конце помещения. Дэвадан встал из-за стола и уверенным шагом приблизился к Марко и примостился рядом с ним на скамье, как будто видел, где тот сидит.

Впрочем, юноша уже был не в состоянии более удивиться.

— Когда-то, — заговорил старик после недолгой паузы, — я был лучшим астрологом Империи. Мои прогнозы сбывались гораздо чаще, чем у других. Полагаю, этим я отчасти обязан знанию того, что в центре мироздания находится Солнце, а не Земля.

— Я знаю, что так считал Аристарх Самосский, но он же сам и отрекся от своего заблуждения, — заметил Марко.

— Он отрекся от истины — чтобы выжить, замечу — однако мои вычисления неоднократно подтверждали его правоту. Да не о том речь.

То, о чем пойдет речь, коснулось меня давно, на девятнадцатом году правления Мануила Комнина. Как-то поздним январским вечером я услышал на своем дворе конский топот, и скоро на пороге показался личный врач василевса — Соломон Египтянин. Надо сказать, он был единственным евреем, коему дозволялось ездить по городу верхом — с виду привилегия, с горечью говорил он, а на деле — лишь затем, чтобы скорее являлся во дворец по случаю высочайшего поноса. Мы изредка сталкивались с Соломоном при дворе и коротко знакомы не были. Посему легко представить, как удивился я, в неурочный час узрев у себя дома почтенного рабби — с растрепанной бородой, в размотавшейся чалме и необычайно взволнованного. Еще больше удивился я, когда он вместо обычных своих цветистых приветствий и изящных взмахов руками — кланяться иудеям запрещено — ограничился словами «Мир тебе!» и тотчас осведомился, один ли я дома. Узнав, что ни семьи, ни слуг у меня нет, Соломон воскликнул: «Прекрасно! Ибо дело, в котором я покорнейше прошу твоего содействия, должно остаться в строгой тайне между нами!»

Войдя в дом, царский медик принялся метаться из угла в угол, растирая озябшие руки, что-то бубня себе

в бороду и сметая широкими рукавами отовсюду мои пергаменты и инструменты. Мне не без труда удалось усадить его на стул. Я поднес ему кубок с водой — рабби подозрительно заглянул в него, махнул рукой и выпил до дна. Он отер усы и, вперив в меня умоляющий взгляд, спросил:

— Скажи, государь Деодан, ведь ты не христианин и не магометанин?

— Нет, ни то, ни другое, — ответил я, помедлив, — Но не пойму, зачем тебе понадобилось это знать.

— Потерпи немного, прошу тебя. Мне очень нелегко сейчас... — Соломон прижал руки к груди. — Веруешь ли ты в Бога Единого, благословенно имя Его, или?..

— Скажи прямо — ты хочешь знать, не язычник ли я? Нет, я не верю ни в каких богов, кроме того одного, что у меня в душе, — сказал я, подразумевая свою совесть.

Соломон не стал вдаваться в детали, с видимым облегчением вздохнул и пробормотал:

— Что ж, это, наверно, даже и лучше... Видишь ли, любезный Деодан, дело мое столь тонкого свойства, что я не могу доверить его... — он замаялся, — ...абы кому...

— Отчего ж ты не обратишься к соплеменнику? Я слышал, ваш рабби Овадия весьма сведущ в астрологии.

Египтянин зажмурил глаза и замахал руками:

— Что ты, что ты!.. Нету лучшего средства погубить свое честное имя, да что там имя, самое жизнь свою пустить прахом, чем открыться этому жестоковейному раббаниту! Впрочем, будь даже жив великий врач и мудрец Сабтай Доноло, благословенна память его, создавший среди прочего жемчужину астрологической премудрости «Сефер хахмони», и к нему бы не решился обратиться я! Равно как и к покойному Аврааму бар Хия, математику и философу из Барселоны. Ибо и в глазах соплеменников моих, и в глазах христиан дело мое — страшная ересь.

— Что ж ты меня-то не боишься? — нахмурясь, чтобы скрыть разбивавшее меня любопытство, спросил я.

— А ты — ни эллин, ни иудей, значит — будешь беспристрастен, — прикрыв глаза, высоко поднял брови Соломон. — Какое тебе дело до древней распри? К тому же про тебя говорят, что ты хранишь секреты клиентов лучше, чем море — свои клады. Да и звездочета лучше тебя мне не сыскать.

— Положим, что так, — без лишней скромности согласился я. — В чем же суть твоего дела, достопочтенный рабби?

— Ты, разумеется, знаешь, что правитель наш, да продлит Всевышний его года, месяц тому сочетался браком с Марией, дочерью покойного Раймонда, князя Антиохии.

— Как не знать! Я составлял им брачный гороскоп.

— Но вряд ли ты знаешь, что в приданое невесты входили кое-какие реликвии и старинные рукописи, посланные антиохийским патриархом Эуфимием в дар нашему императору. Среди реликвий был обломок креста, на котором, как утверждают, распяли Йешу, и его плащаница. Несмотря на то, что в Софийском соборе уже имелись свои крест и плащаница, привезенные из Святой Земли еще василисой Еленой, константинопольские монахи решили их на всякий случай принять: как-никак Антиохия — первая христианская столица, хотя и не могли взять в толк, с чего это Эуфимий разбрасывается такими святынями. Я-то думаю, что он предвидит скорое падение княжества, вот и старается пристроить их понадежнее, пока не поздно. Как бы то ни было, реликвии поместили в церковь Святых Апостолов, памятуя о том, что первым антиохийским патриархом был Петр.

— И верно, — усмехнулся я. — Не пропадать же добру!

— Мне тоже было бы смешно, кабы не одно обстоятельство! — черные глаза Соломона на миг вспыхнули, как угли при дуновении ветра.

— Какое же?

— Меж упомянутых мною рукописей оказался древний папирус, весьма хорошо сохранившийся из-за того, что был вложен в пергаментный свиток. Пергамент тот исписан на еврейском, посему сам император приказал мне прочесть и перевести его на греческий. Очевидно, что прежде меня свиток никто до конца не разворачивал, поэтому я оказался обладателем папируса, написанного по-коптски. А поскольку твой покорный слуга родом из Египта...

— Ты прочел папирус! И что же в нем было такого, что так взволновало тебя? — с нетерпением спросил я.

— Об этом ты узнаешь... в свой черед. Сперва же ты должен справиться с моей задачей, любезный Деодан.

— Чего же ради я стану разгадывать твои загадки? Чем ты собираешься мне отплатить?

— Если я правильно читаю в твоём сердце, знание — это единственное, что имеет для тебя цену. Вот им-то и расплачусь с тобой.

Я рассмеялся:

— Ты мудр, почтенный Соломон! Что ж, выкладывай свою задачу!

— Мне нужно точно знать, когда родится Мессия, — тихо и торжественно объявил рабби.

— Ни больше ни меньше? — еще продолжая улыбаться, спросил я.

— Ни больше ни меньше, — твердо ответил он.

* * *

Командиру оберабшнитте СС «Норд-Ост»
группенфюреру Вильгельму Редиесу.
Совершенно секретно! Срочно! Расшифровать
лично!

Согласно только что полученным мною сведениям сегодня в 03:48 на территорию Рейха через пограничную заставу близ Эльбинга под видом охотников проникла группа из четырех человек, подозреваемых в шпионаже в пользу Англии и Польши.

При въезде ими были предъявлены документы граждан Германии на имя:

полковника Вермахта Бэра фон Аккермана
(поддельные)

Вольфа Роу

и граждан Данцига:

Мартина Гольдшлюсселя

Элизы Гольдшлюссель (поддельные)

Вышеозначенные лица передвигаются в автомобиле Хорьх 930V серого цвета с данцигским номером DZ-1008. Имеют в своем распоряжении охотничьи ружья, пистолеты и, возможно, взрывчатку. При задержании могут быть чрезвычайно опасны.

По всей вероятности, их целью является разведывательный рейд по тылам нашей армии, не исключена и возможность организации диверсий на железнодорожных магистралях.

В свете вышеизложенного приказываю Вам немедленно предпринять все возможные меры для разыскания и задержания шпионской группы. Во что бы то ни стало брать живьем!

Все донесения о ходе мероприятия отправлять мне лично в любое время суток!

Хайль Гитлер!
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.

05:20

1 сентября 1939 года.

*1 сентября 1939 года
Восточная Пруссия*

Серый «хорьх» проворно проматывал колесами шершавое полотно автобана, однообразное, как засвеченная киноплёнка. Стекло лезвие приоткрытого окна с тонким свистом отсекало от встречного ветра холодную стружку, и та закручивалась внутри автомобиля упругой спиралью, подхватывая дым Беэровой сигары, ровное посапывание Шоно, тяжкие вздохи Докхи.

Мартин и Вера сидели сзади, переплетя пальцы лежащих на собачьем загравке рук, и молчали. Время от времени Вера что было силы сжимала ладонь Мартина, и он отвечал ей тем же, и она радовалась этому, а также и тому, что в темноте он не может увидеть ее слезы.

Рассвет они встретили в южном предместье Кенигсберга — пропуская на железнодорожном переезде три военных эшелона подряд.

— Начинается, — мрачно пробормотал Шоно, глядя на вереницу покрытых маскировочной сеткой вагонов. — И двадцати лет не прошло...

— Эти поезда — связки сосисок, нафаршированных пушечным мясом, железом и порохом, — со злым смешком отозвался Беэр. — Их скармливают Молоху, а в результате получают вы-со-ко-ка-чественные удобрения.

— Нельзя ли воздержаться от раблезианских метафор, друг мой? С нами дама, — заметил Мартин, поморщившись.

— Если б я не помнил об этом, то выразился бы куда резче. Впрочем, прошу извинить, — Беэр повернулся к Вере и пояснил: — Просто я очень болезненно воспринимаю проявления человеческой глупости и мерзости, а война — это самое глупое и мерзкое из всех. Это я вам как старый солдат говорю.

— А как же освободительные войны? — спросила Вера. — Защита отечества? Это, по-вашему, тоже — глупость и мерзость?

— Конечно же, нет. Защита отечества — это святое дело. Да беда в том, что именно на почве святых дел лучше всего произрастает *business*. Pardonnez-moi ce sa-lembour petit-mauvais!¹

— Что-то ты ударился в сельскохозяйственную тематику, Баабгай. Уж не заделался ли ты на старости лет латифундистом? — елейным голосом осведомился Шоно.

— От тебя ничего не утаишь. Я действительно чуть было не прикупил в этом году хорошенький участок — с видом на реку, в сени дерев, соседи хорошие, тихие... На кладбище, — заводя мотор, сообщил Беэр. — Но вовремя одумался. Жалко ведь будет, если пропадет, а в моем нынешнем положении это более чем вероятно. Да и на что мне — там — вид на реку?

— Ох, ну вас, Мотя, с вашими шуточками! — сердито воскликнула Вера. — И так сердце не на месте...

— Да я и не шутил вроде... — тихо ответил Беэр и надавил на педаль газа.

— А мне кажется, что все это отчасти оттого, что люди благоговеют перед катаклизмами, — проронил Мартин, — а единственный катаклизм, который они в силах учинить сами — это война.

— Bravo, мой мальчик! — Шоно трижды хлопнул в ладоши. — Нельзя все сводить к экономике. Люди очень хотят быть как боги. Но не умеют.

Вера ничего не сказала. Она смотрела в окно — туда, где в желто-розовом, как спелое яблоко, небе стройным клином скользили к югу черные кресты механических птиц.

В начале седьмого беглецы достигли Инстербурга. На плотине, разделявшей два огромных пруда, Беэр остановил автомобиль и объявил:

¹ Простите мне этот плохонький каламбур (*фр.*).

— Поглядите, какой прелестный городишко! Твердыня Тевтонского ордена. Я здесь однажды вынужден был заночевать в гостиничке с названием «Дессауэр Хоф». Мебель в стиле «ванценренессанс»¹ и горничные в стиле «остзейская роза», — он тронул с места, продолжая разглагольствовать: — Обратите внимание: слева от нас возвышается очаровательный замок! Понятия не имею, когда его построили, но в прошлый мой приезд он уже здесь вовсю возвышался. И вот эта лютеранская кирха тоже... Ах, как жаль, что это кафе еще закрыто! Там подают такие штрудели по-венски, какие могут быть изготовлены только в чистой и наивной провинции! И кофе со сливками, ммм!..

— Беэр, прекрати немедленно! — строго сказал Шоно. — Не один ты проголодался!

— Ничего, вот через полчаса прибудем в Гумбиннен — хотя он, конечно, не так хорош и стоит на речке с неприличным названием, но, думаю, там все мы сможем полноценно подзаправиться, включая авто — горючего-то у нас осталось от силы километров на сто, — ответил Беэр и, помолчав с минуту, со вздохом добавил: — Такое уютное и тихое местечко! Жаль покидать, ей-богу! Посмотрите направо — там вы увидите типичный образчик прусского вокзального зодчества!

Уже за пределами города он заметил:

— Да, кстати, забыл отметить: кроме меня, из достойных упоминания царственных особ здесь побывал крестоносец Генри Болингброк граф Дерби, ставший впоследствии английским королем Генрихом Четвертым, а также Наполеон Первый Бонапарт, английским королем так и не ставший.

— Мотя, вы — сама скромность! — впервые за вторые сутки рассмеялась Вера. — Так изящно вписаться в один ряд с монархами!..

— Марти, твоя молодая жена обижает твоего старого друга! — плаксивым тоном пожаловался Беэр. — Немедленно представь ей меня как положено!

¹ «Клоповый ренессанс» (нем.).

— Видишь ли, дорогая! — церемонно произнес Мартин. — Беэр у нас в самом деле монарх. Однажды ему удалось расшифровать папирус, на котором было начертано: «Прочитавший сей свиток станет Царем Египта».

— Свидетельствую! — Шоно торжественно поднял правую руку.

— И это было совсем не легко, доложу я вам! — Беэр повернулся к Вере профилем и гордо выставил нижнюю челюсть.

— Право, мне даже неловко сидеть в вашем присутствии, Ваше величество! — с почтением воскликнула Вера, принимая игру.

— Во-первых, — ответил великан серьезным голосом, — я не придаю большого значения придворному этикету. Во-вторых, все мы тут в некотором роде монархи. И в третьих, уж если кто и должен перед кем-то стоять, то это мы — перед вами.

— Два последних пункта нуждаются в пояснении! — все так же игриво потребовала Вера, — Что значит — все монархи?

— Марти, объяснишь? — спросил Беэр.

— Ну, вот Шоно — законный претендент на тибетский престол, — сказал Мартин. — Он *тулку*, то есть перерожденец — реинкарнация древних властителей Тибета. Помнишь, я тебе рассказывал про монастырь? Так вот, на самом деле Шоно забрали из семьи хранители традиции, забрали и спрятали в самом дремучем углу, где его не смогли бы обнаружить ни люди Далай-ламы, ни другие враждебные силы. Хранители, разумеется, продолжали следить за наследником и после побега — решено было, что будущему королю не помешает европейское образование. А когда Шоно пришел в Тибет, его право на трон признали самые влиятельные тамошние аристократы и даже некоторые ламы. И вот уже долгие годы Шоно ведет упорную борьбу за независимость и секуляризацию своей страны.

— Та-ак... — с напряжением в голосе протянула Вера. — Что ж он ее здесь-то ведет?

— Эта борьба — лишь часть того, за что он считает себя ответственным. Но это — отдельный разговор.

— Положим. Ну, а ты у нас какой царь?

— А он у нас — Царь Иудейский, сиречь Мессия из рода Давидова, — вступил в разговор Шоно.

Злые слезы выступили у Веры на глазах:

— О, я поняла! Вы — волхвоцари, он — Иисус Христос. Тогда я — Мария Магдалина! — выкрикнула она. — А гонятся за нами затем, чтобы упечь в сумасшедший дом, где вам самое место — и мне тоже, потому что вам удалось свести с ума и меня!

— Второе — неверно, — очень спокойно возразил Шоно. — Гонятся потому, что верно первое. Хотя они этого и не знают.

* * *

— Алло, Лотар?

— Он самый. Кто говорит?

— Аксель. Хайль Гитлер!

— Хайль! Ты чего это в такую рань?

— Дело важное.

— Выкладывай!

— Значит так. Открылся я сегодня как всегда в полседьмого, не успел шторы поднять, как заявляется странная компания. Со стороны Инстербурга, на шикарной машине с данцигскими номерами.

— И чего в ней было такого странного?

— Суди сам: четверо, одеты как охотники. Один — здоровенный со шрамом, еле в дверь прошел, при мне слова не сказал, умял яичницу из десяти яиц — представляешь, из десяти! Второй — мелкий такой, чернявый, узкоглазый, навроде китайца, но по-немецки говорит — что твой профессор грамматики. Этот за всех заказывал. Третий — с виду чистый немец,

долговязый, веснушчатый, лоб с залысинами, ну, как у Ханса Вернера. А при нем баба была — ох и красивая, стерва, у меня аж встало на нее, хорошо — под передником не видать...

— Ты мне про свой стояк рассказать позвонил?

— Да не, это я так, к слову, чтобы понятней было...

— Пока непонятно. Дело говори!

— Ну так я и говорю! Я им заказ принес и так, как бы между прочим — узкоглазому: вы, я вижу, на охоту собрались? Не самое удачное, говорю, нынче время для охоты, вы не находите? А он — будто не услышал — спрашивает: скажите, любезный, где тут у вас ближайшая бензоколонка? Слышь — любезный! Это он мне-то!

— Дальше давай!

— Ну а я ему так ядовито отвечаю, мол, колонка-то вон там, в конце Гольдаперштрассе, да только вас там не обслуживают. Потому как уже почти неделю частные автомобили заправлять запрещено. Вот как, говорит, и что же, нет никакой возможности достать бензин по особой, скажем, цене? Нет, говорю, а сам радуюсь, глядячи, как у него морда вытянулась. Может, говорю, это у вас в Данциге так принято, а у нас в Рейхе люди сознательные. В тяжкий для родины час трудовой народ, который, между прочим, продукты по талонам покупает — тут я на здоровенного со значением посмотрел, да ему хоть бы хны — продолжает жрать свою яичницу — так вот, этот самый народ сознательно отказывает себе в излишествах и недоедает... Тут узкоглазый мне пальцем в живот тычет и говорит, мол, это заметно, а вы принесите-ка нам кофе со сливками! Нет, ну не сволочь?

— Ну, положим, брюхо у тебя и впрямь, как цепелин. Ты конкретно говори! Нет у меня времени, Аксель, твои жалобы выслушивать! Почему я должен все это знать?

— А потому, что когда Клара им кофе подавала — сам-то я, понятно, к ним уж больше не подходил — она краем уха услышала, как здоровенный что-то про Роминтер Хайде говорил. Это что ж, они охотиться там

собрались? В личном заповеднике рейхсъягермейстера?

— Да с чего ты взял, что охотиться? Мало ли, что он им рассказывал?

— Да уж понятно, что не охотиться, а кое-что похуже. Он ведь с английским акцентом разговаривал!

— С этого надо было начинать! Когда они уехали?

— Да вот с десять минут назад. Я и подумал, что тебе надо поднять товарищей и сообщить начальству...

— Черт побери, Аксель, я сам разберусь, кого поднимать и кому сообщать! Эх, сколько времени упустили! А точно ли они туда поехали?

— Да наверняка! Повернули к югу. Номер машины я записал — де-цет тыща три. Серый хорьх. И далеко они без бензина-то не уедут!

— А про тебя они не догадались?

— Да нет, вроде. У меня значок на пиджаке, а пиджак я на работе снимаю.

— Ладно, поищем эту компанию. Благодарю за сигнал.

— Хайль Гитлер!

— Хайль!

* * *

13 апреля 1204 года

Константинополь

— Ни больше ни меньше, — повторил Дэвадан, хлопнул себя по коленям и, поднявшись, стал прохаживаться по выверенной траектории меж загадочных механизмов, коими была обильно уставлено помещение.

Марко сильно мутило — от голода и сумятицы в голове. Он прикрыл глаза и обнаружил, что так проще следить за повествованием. Воображение же тотчас нарисовало его внутреннему взору нестарого еще Дэвадана — почему-то голубоглазого, облаченного

в темно-синюю мантию с вытканными на ней серебряными звездами и золотым солнцем, и Соломона — не большого, смуглого, горбоносого, с непокойными руками и в ослепительно-белом тюрбане.

— Мессия, мессия! — восклицает Египтянин, закрывая глаза. — Знаешь ли ты, почему евреи так ждут его?

— Отчего же не знаю? — Дэвадан пожимает плечами. — У этого вашего Исаяи сказано: И перекуют все народы мечи свои на орала и копья свои — на серпы; не поднимет меча народ на народ, и не будут больше учиться воевать. Такого стоит ждать хоть десять тысяч лет.

— Иронию слышу я в голосе твоём, — Соломон неодобрительно качает головой, чалма на нём разматывается ещё больше, и он раздраженно отмахивается от болтающегося полотнища. — Ну да чего ожидать от тебя, коли и сам я, грешный, до недавнего времени принимал сие за красивую сказку.

— Что ж побудило тебя изменить свое воззрение? Ужели клочок папируса?

— Долгие годы собирал я так и эдак некую головоломную мозаику, и вот в мои руки лег сам собою недостающий фрагмент, что подобно замковому камню позволил мне превратить груды прочих в стройное здание. Это ли не знак Провидения? — Рабби машет рукою куда-то в сторону и вверх. — Впрочем, ты не поймешь, прежде, чем я объясню тебе суть дела.

— Так объясни, за чем же дело стало?

— Сперва я должен убедиться, что ты исполнишь мою просьбу!

— Право же, дражайший Соломон, я не настолько самонадеян, чтобы обещать тебе это! Хотя, с другой стороны, чтоб торговаться с евреем — ещё менее! — восклицает астролог, усмехаясь. — Обещаю, что сделаю все, что в моих силах!

— Что ж, этого мне довольно! — рабби выставляет перед собой раскрытые ладони — узкие и сухие. —

Начну с того... С чего же начать-то? Вот ведь незадача... Столько лет отшлифовывал все до совершенства в уме, не имея возможности с кем-нибудь поделиться, а как настало время высказать свои соображения вслух — оказалось так гладко, что не за что ухватиться, — он растерянно дергает себя за бороду.

— А ты начни с самого начала, глубокоуважаемый лекарь, — Дэвадан с трудом удерживается, чтобы не пошутить о хватании за бороду оппонента, каковое было общеизвестным еврейским способом завершать особенно горячие научные диспуты. — Как говорится, от сотворения мира. Тогда уж точно ничего не упустишь.

— А и верно! — египтянин радостно моргает. — Приятно убедиться, что не ошибся в тебе, достойный звездочет! С того и начну.

В начале был Бог. И Бог был единым и бесконечным Светом. И был Он нигде и никогда, потому что пространство и время, как и все остальное, были заключены в Нем.

— Постой-постой! Боюсь, что ты воспринял мои слова слишком буквально! Я читал Книгу Творения — в переложении на греческий, разумеется, и нашел ее весьма занимательной, однако...

— Терпение, мой дорогой, терпение! — Соломон лукаво улыбается. — Я, конечно, не собираюсь обучать тебя всей Каббале, но кое-что тебе узнать необходимо. Итак...

Свет Бесконечный или Свет *Эйн-Соф*, как мы его называем, человеческим разумом непостижим, но поскольку надо об этом как-то говорить, мы притворяемся, будто бы что-то понимаем, и начинаем использовать специальный символический язык. Причиной Творения на этом языке мы зовем желание давать. В своей безграничной доброте Святой, Благословен Он, захотел излить Свет. Для этого Господь создал сосуды, наделив их желанием получать. Но по какой-то неведомой нам, но, уж конечно, тоже не случайной, причине сосуды не выдержали и треснули. Свет вернулся к Создателю, но

малая его часть просочилась в нижний из миров — наш, физический — и заблудилась в нем. Это повреждение сосудов, *швиrát келім*, привело к тому, что Божественное присутствие, *Шхинá*, сокрыто от нас в самой гуще человеческих пороков.

— А наша задача — эту Шхину отыскать? Так я понимаю?

— Именно так! Человеку мешает насладиться получением Божественной милости чувство стыда, как будто за дармовой хлеб. И человек сознает свою обязанность этот хлеб отработать. Но что он может отдать Богу, Свет которого не умалился ничуть, ибо бесконечен?

— Ты просто-таки снял этот вопрос с моего языка, Соломон!

— Сказано, что человека создал Всевышний по своему образу и подобию. Что сие означает? Ведь нельзя же, в самом деле, полагать, что Святой, Благословен Он, как и мы, состоит из мяса, костей и слизи! Нет, тут надобно смотреть глубже! В отличие от всего в этом мире, единственно человек наделен поистине Божественной способностью выбирать. Об этом иносказательно говорится в Торе — Адаму была предоставлено право решить, оставаться ли ему в Эдеме или принять во владение мир несовершенный. И он вкусил плодов, чтобы самому сделаться в тот же день как Бог. Но этот день Господень — День Седьмой длится тысячи тысяч земных лет и продлится до тех пор, пока человек не станет как Бог. И тогда наступит День Восьмой.

— И что будет тогда?

— Много всего, непостижимого до тех пор, о чем мы можем лишь гадать. Например, известно, что к существующим нотам прибавится восьмая.

— О, какой красивый образ нового мира! Такой мир я готов всемерно приближать. Но что должно сделать ради этого?

— Да просто человек должен стать достойным полученного дара. Иначе говоря, надо исправить

надтреснутые сосуды. На языке Каббалы это называется *тиккун келим*. И дело это по плечу лишь Мессии.

— И ты веришь, что вот от Бога придет некто и все исправит?

— Скажи, Деодан, неужели я так похож на глупца?

— Нет, Соломон, не похож. Оттого и мое удивление.

— В Торе сказано — Бог закончил труды свои. Он дал нам достаточно. Ведь на иврите *келим* — это не токмо сосуды, но и инструменты. Все они в наших руках. Надо лишь научиться с ними управляться. Мессия же есть человек из крови и плоти, который может научить этому остальных, но не сделает все за них.

— Обычный человек, говоришь ты?

— В том-то и дело, что необычный. Тут-то мы и вплотную подходим к сути моей просьбы. Ты говоришь, что читал Книгу Творения. В какой день Господь создал человека?

— Э-э... В шестой.

— Нет. В шестой день он человека *сотворил*. Мужчину и женщину. Благословил и сказал: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю и обладайте ею и так далее!

— Создал, сотворил... Честно говоря, я не вижу разницы.

— А она есть. Сейчас ты ее увидишь. Судя по тому, что написано, накануне седьмого дня все труды были закончены. А значит — люди уже заселили землю, ибо усердно исполняли данную им заповедь. Так отчего же потом снова заходит речь об Адаме и Еве, об их поселении в Эдеме и изгнании из него?

— Полагаю, чтобы подробнее осветить описанное выше. Этим приемом пользуются все сказители с незапамятных времен.

— Это самое простое объяснение, но в нем мне видятся большие изъяны. Как ты думаешь, если Адам и Ева были первыми людьми, на ком тогда женился их сын Каин? Почему они начали плодиться и размножаться только будучи изгнанными из рая? И почему они

вообще жили в нем, если в шестой день им была отдана во владение вся земля?

— Прости меня, рабби, ибо знаю я, что вы относитесь к своей Книге, как к дарованной свыше, но ведь писана-то она людьми. А уж не мне тебе рассказывать, как люди могут переиначивать любой текст по мере необходимости. К тому же, прошу еще раз простить, читывал я и другие древние книги, из кусочков которых, похоже, создана ваша. Трудно найти логику в рисунке, склеенном из лоскутков.

— Видишь ли, многоуважаемый Деодан, меня не интересуют простые решения сложных задач. Посему я принимаю за аксиому, что все написанное в Торе написано неслучайно, а следовательно, задача имеет решение. К тому же мне теперь достоверно известно, что это так. Так вот, в языке Торы слова «сотворить» и «созидать» не тождественны. В одной из наших молитв говорится: «Он созидает Свет и творит Тьму». Сотворить можно лишь то, чего не существует, а создать — значит придать некие новые свойства существу. Когда про человека сказано, что его сотворили, это означает, что из ничего возникло нечто. Во второй же главе Книги говорится, что Бог человека создал. Если ты помнишь, рыб, гадов и птиц в пятый день Он сотворил. А вот всех тварей земных почему-то создал. Спросишь — из чего? У меня есть ответ. Зверей и скот Он создал из рыб, гадов и птиц. Легенды, что говорят о допотопных исполинских гадах и птицах, тому в подтверждение. Да я и сам видал в рудниках их огромные скелетоны. Но я отвлекся. Итак, Господь почему-то взял да и озаботился усовершенствованием уже содеянного.

Он создал из физической материи Адама и вдул в него Свое дыхание — то, чего он не проделывал ни с кем из своих творений, и поселил его при себе. Адаму одному из всех было предоставлено право выбирать — пребывать вечно и неизменно в раю или отправиться в мир человеков и стать для них отцом, попав при этом под власть Змия — времени. Известно, что выбрал

Адам. Он пошел к людям с тем, чтобы помочь им обрести то, что самому ему было дано от Бога.

— Тот самый затерявшийся свет? Божественное присутствие?

— Истинно так. Прежде чем уйти, Адам и Ева были одеты Господом в кожаные одежды — то есть были покрыты кожей, как обычные люди — ведь иначе они бы не смогли жить в материальном мире — и сделались неотличимы от людей. Ну, разве что жили они и потомки их поначалу гораздо дольше прочих. Вот так отравились они в поте лиц своих возделывать землю, иными словами — улучшать дольний мир, пожертвовав вечным покоем ради краткосрочного движения, сделались духовными родителями человечества.

— По-твоему, выходит, что первым Мессией был Адам?

— Да. И с тех пор в каждом поколении его потомков пребывает один боговдохновенный человек, который раскрывается, когда мир особенно нуждается в исправлении. Мессия не приходит, он живет среди нас. С виду он такой же, как все праведники, но лишь ему предназначена в невесты Шхина, погрязшая во грехе. От алхимического брака с этой великой блудницей может родиться чудо, способное вернуть людей на путь истинный. Таков был наш праотец Авраам.

— Это тот фанатик, что чуть не зарезал своего сынишку во славу Господа?

— Сынишке, как ты говоришь, на те поры согласно мнению некоторых наших мудрецов было тридцать семь лет от роду. Мог ли старец справиться с ним — крепким мужчиной во цвете лет? Нет, связывание Исаака — а именно так мы называем то происшествие — было совершенно добровольным. Авраам всего лишь испытывал сына, испытывая и себя, дабы придать себе и ему новые качества. Но это слишком сложный вопрос, чтобы объяснять его, стоя на одной ноге. Скажу лишь, что Авраам должен был убедиться в том, что Исаак унаследовал его веру в собственное предназначение.

А Бог тут ни при чем. Он никого не хватает за руку. Сказано же, Он окончил труды днем ранее. В этом я согласен с Эпикуром, хотя с точки зрения моих единоверцев у него оттого нету доли в Грядущем мире.

— Положим, я взглянул на все твоими глазами, мой мудрый собеседник. Так чего же теперь ты ждешь от меня?

— В былые времена знающие люди могли по мере надобности проследить цепочку перерождений Мессии. Но мир изменился, на земле стало слишком людно, евреи рассеяны повсюду, да и неизвестно уже, в каком из народов обретается тот, кого мы ищем. С последнего раскрытия Мессии прошло слишком много времени. Многие мудрецы пытались найти его. Звездочеты, алхимики, чародеи. Высказывалось даже предположение, что кровь у него иная, чем у прочих. Но попытки брать для изучения образчики крови у нееврейских детей привели к страшным несчастиям.

— И что же изменилось?

— А то, что у меня в руках оказалось точное предсказание того, что должно произойти с Мессией в этом столетии! Вот и подумал я: если ты можешь по времени и месту рождения предсказать судьбу, то ведь, при твоем-то даре, сумеешь сделать и обратное, мастер Деодан!

— Вынужден тебя огорчить, врачу, но то, о чем ты просишь, еще неслыханней того, что я мог предполагать. Это все равно, что... лечить болезнь, не зная, кто болен. И болен ли вообще. Да я и не понимаю, зачем тебе знать? Ну, придет и придет. Если надо.

— Дело в том, что мне ведомо нечто такое, что необходимо открыть ему. Но доверить эту тайну я не могу никому, кроме него самого. Поэтому умоляю тебя: постарайся сделать то, о чем я тебя прошу!

— Прости, Соломон, но это никому не под силу. И я не возьмусь, не уговаривай! Ни за что!

— Даже если я открою тебе тайну Золотого Ключа? — тихо спрашивает рабби, помолчав.

Марко вздрогнул от легкого прикосновения и распахнул глаза. Тара трепала его за плечо, ласково улыбаясь уголками губ.

— Я думала, тебя сморил сон. Отец, ты совсем его заговорил. Идемте, я приготовила нам поесть.

* * *

*1 сентября 1939 года
Восточная Пруссия*

Некоторое время ехали в молчании — по моей просьбе. Амебы мыслей у меня в голове кишели, копошились и множились безо всякого толку. Самая скользкая и тошнотворная — о групповом помешательстве — все время лезла на первый план, мешая сосредоточиться, сбивая фокус. С великим трудом отогнав ее, попыталась систематизировать прочие.

В фанатизм, равно как и безумие попутчиков, поверить было сложно — никакой экзальтации, блеска в глазах и придыхания — напротив, ровный, сухой и даже иронический тон. Фанатикам несвойственно подтрунивать над предметом своей веры. Они же говорили о невероятных вещах как о чем-то не подлежащем сомнению, вроде закона всемирного тяготения или вчерашней погоды. И в том, что они говорили, была несомненная логика.

Чувствовалось, что им не терпится наконец выложить мне все — по тому, как они то и дело перехватывали друг у друга нить повествования — но мне нужен был тайм-аут. Не хотелось сидеть полным болваном в этом преферансе. Однако концы с концами свести не удавалось — без мистических допущений, против которых восставало все мое атеистическое существо.

За завтраком в какой-то придорожной забегаловке страшно нервировали липкие взгляды хозяина — белобрысого борова со складчатым затылком, что было

странно — ведь подобные проявления внимания привыкла игнорировать давно. Анализ не складывался ни в какую, поэтому плюнула, решила — что ж, буду слушать и моргать.

Спутники мои тихонько переговаривались, вырабатывая маршрут. Выходило, что езды до Виштынецкого озера всего час, а значит — надо будет дожидаться темноты в лесу. Впрочем, у нас были все шансы совершить пешую прогулку — боров злорадно прохрюкал, что бензоколонки не обслуживают частных лиц. Наша компания ему определенно не нравилась.

Следующие полчаса пути разговора не получалось — карта оказалась устаревшей, и нужно было по минутно угадывать новые наименования населенных пунктов, чтоб не запутаться в хитросплетении дорог. Посреди одной из них — пыльной проселочной, с названием Вайссе Вег, что прорезает северный окаемок Роминтенской пуши — мотор заглох.

Беэр стукнул по баранке кулаком: «Bloody car!»¹ Развернулся — раскачав автомобиль, как лодку — клоунским голосом поинтересовался, не желаем ли мы размять ноги. Но ответить никто не успел — из-за поворота выехал рысями кавалерийский разъезд — ше-стеро в светло-серой униформе и стальных шлемах, с карабинами оплечь. Завидев нас, резво переменили аллюр, стали стремительно приближаться.

— Damn!² — рявкнул Беэр. — Эсэсовцы. Похоже, серьезно влипли. Каналья трактирщик!

— Наши действия? — Шоно — деловито, разминая шею и плечи.

— Вы с Верой выйдете со своей стороны, а мы — с этой. Они вынуждены будут разделиться. А там — по обстоятельствам. Может, это еще не по нашу душу вовсе. Докхи — слышишь, мой мальчик? — ты остаешься сторожить вот этот саквояж! Никому его не отдавай! Ну, держитесь!

¹ Чертова тачка! (англ.)

² Проклятие! (англ.)

Захотелось заорать и вцепиться в Марти мертвой хваткой — скомкать и спрятать за пазуху, но — только и смогла, что поцеловать, оцарапавшись наждаком щеки. Вытащила из кармана теплый пистолет, перевернула затвор, сунула под куртку, изготовилась к неизведанному — ни убивать, ни быть убиваемой мне до тех пор не доводилось.

Нас окружили — трое сзади, один спереди, двое слева — взяли на прицел. Грубый голос приказал выйти из машины.

Марти посмотрел, безмятежно улыбнулся, сказал одними губами: «Я люблю тебя». Погладил пса по голове, шепнул: «Лежи тихо, Докхи! Охраняй!», и вышел — вслед за Беэром. Состарившийся на глазах Шоно открыл мне дверцу.

Тотчас один всадник — из тех, что стояли позади — надвинулся, оттесняя от кювета. Владелец грубого голоса — у него единственного была звездочка на черной петлице — гоготнул, крикнул, обращаясь к своим: «Это они!» — и к нам: «А ну-ка руки вверх!»

Все, что произошло затем, произошло столь быстро, что рассказ об этом занимает впятеро больше времени.

Тощий командир лаял, размахивая «парабеллумом»:

— Хайнц, обыщи старика и девку! Вилли, проверь машину! Фриц, держи медведя на мушке! Рыпнется — стреляй по ногам!

Долговязый парень — Хайнц — перекинул ногу через переднюю луку, соскользнул с седла, оправив ремни, двинулся к нам с карабином в руках. Шоно — играющий низложенного Лира — бормотнул по-русски: «Мой — верховой. Этот — ваш. Постарайтесь занять его хотя бы на несколько секунд. Когда начнется».

Хайнц — симпатичный мальчишка вблизи — подошел к Шоно, развернул лицом к капоту и, закинув винтовку на плечо, приступил к обыску, не отводя от меня льдисто-лазоревого взгляда. Его большой — на вырост —

кадык ходил ходуном. Скользнув взглядом вниз по рукаву с эмблемой — серебряная подкова в черном ромбе — отметила дрожание пальцев. У самой же тряслось все — внутри. Плечом ощущала горячее, влажное дыхание лошади, спиной — жгуче — точку, в которую целился всадник.

Шоно глядел исподлобья поверх моего плеча — туда, где обыскивали Беэра и Марти. В какой-то момент взгляд его заострился, и он прошептал: «Внимание!» В тот же миг сзади раздалось утробное рычание, которое тотчас перекрыл истошный вопль. Хлестнул выстрел — второй — третий.

Не слышала, что выкрикнул Шоно, неправдоподобно легко с места взлетая на капот — в мозгу что-то лопнуло и зазвенело, время стусилось в патоку. Человек передо мной перестал быть смазливый мальчиком в форме — он превратился в препятствие на пути к Марти. И я ударила — заученным движением — кончиками пальцев сбоку в не по возрасту большой кадык. Метнулась за спину эсэсовца, сорвала с его плеча карабин, ткнула что было силы прикладом — в основание шеи. Краем глаза успела заметить Шоно, поднимающегося с неподвижного тела спешенного всадника, увернулась от копыт, кинулась вправо — к Марти — и застыла от невероятного зрелища — летящего вверх тормашками коня вместе с наездником. Из-за поверженного наземь животного показался Беэр со свирепым выражением на налитом — или залитом? — кровью лице, ни дать ни взять — воплощенный ас Тор с ручищами-молотами. Громобой с поразительной грацией и скоростью развернулся и смахнул с седла — точно пушинку — последнего нациста, что тщетно пытался совладать с беснующейся лошадейю.

Лишь тогда — замирая от страха — решила посмотреть на Марти.

Он стоял на коленях и раскачивался, окровавленными руками прижимая к груди — словно баюкал — огромную мягкую игрушку. Глаза его были закрыты.

Наверное, чтобы не видеть жутко вытаращенных глаз валяющегося рядом трупа с перегрызенным горлом.

Докхи жил еще с четверть часа. Потом задрожал, пискнул — совершенно по-птичьи — и затих.

Беэр плакал — тихо и страшно — размазывая слезы по красно-черному лицу. Лоб его был рассечен копытом — теперь уже справа.

Шоно подошел — траурно-торжественный, как похоронный агент — принялся обрабатывать рану. Сообщил, что остались в живых только трое из нападавших. Застреливший Докхи унтершарфюрер задавлен на смерть собственным конем, а третий... — старик посмотрел странным взглядом на мои руки и сказал: «Это карма». И тут меня вывернуло наизнанку.

Часть четвертая

— У меня с кавалерией давние счеты, — Беэр воткнул саперную лопатку в кучу земли и стал раскуривать огрызок сигары, — С тех самых пор, как в девятьсот пятом на Фонтане казак нагайкой лущевал. Тогда же один бывалый из каторжан учил: лошадку по ноздрям со всей души хлобыстни, а как она плясать пойдет, тут и стягавай с ее казака, — он снова принялся копать, мощными отвесными ударами перерубая корни кустарника. По-русски принстонский профессор-палеограф говорил распевно, с простонародными интонациями. — На войне мне один раз пригодилось, а второй раз — схлопотал ятаганом по башке. Джигит оказался ловкий, нынешнему не чета. А вообще, свезло нам сегодня. Попадись нам опытные, они б сперва нас всех положили, а потом стали бы разбираться, что к чему. И Докхи, конечно...

— Положили — в смысле — убили? — Вера клацнула зубами — несмотря на жаркое утро, ее знобило.

— Нет, убить бы не убили — им же приказано нас живьем брать. А вот покалечить могли запросто. Кавалерист против пешего — это страшная штука. Нет, я лошадей-то люблю. Но без зверя сверху, — великан промерил лопаткой вырытую яму, отложил инструмент в сторону и глубоко вздохнул: — Вот, брат Докхи, твой последний окопчик. Верите ли, приходилось мне товарищей хоронить, а вот чтоб так больно сердцу...

Он помолчал. Вера не нашлась, что сказать. Беэр, впрочем, и не ожидал от нее слов.

— Я ведь этому ихнему фюреру шею-то сломал по злобе за собачку. Но не только. Он на меня сразу выставился и говорит: «*Ду бист шмуциг юд*»¹. Сходу вычислил, морда нацистская. Ну, а я ему и ответил, мол, *куш а бэр унтерн фартэх*². Он наехал на меня и сапогом в лицо. А я у второго на мушке... Тут как раз Докхи выскочил и парня к земле придавил. Фюрер от меня отвлекся и стал садить в него из пистолета. Когда в первый раз попал, Докхи того и грызть начал, не раньше. Марти своего мигом уложил, а я лошади, что позади, хлестнул по мордасам и на фюрера налетел. В такой аффектации пребывал, что аж коня на воздух поднял, что твой Самсон Засс. Вы, небось, и не слышали про такого...

— Отчего же? Слышала в детстве.

— А я видел. В Лондоне. Только он росточком вдвое меньше меня будет. Да. Вот, значит, как. Погорячились мы с вами, Верочка. Ну, на то она и война... Любой из нас мог, как Докхи... А вы молодец. Мы, конечно, знали, что вы — необычная женщина...

— Я обычная русская женщина. Которой положено останавливать на скаку коней и входить в горящие избы.

— В каком смысле, простите? — Беэр попытался поднять бровь и сморщился от боли.

— Это из одного стихотворения.

— Э... Пушкина? — с надеждой в голосе спросил Беэр.

— Некрасова, Мотя, Некрасова, — укоризненно произнес поднимающийся на пригорок Шоно. — Я всегда подозревал, что из гимназии тебя таки выперли.

— *Primo*³, я всегда предпочитаю уходить до того, как меня вознамерятся выгнать! — начал оправдываться великан.

¹ Ты — грязный жид. (нем.)

² Поцелуй медведя под фартук. (идиш)

³ Во-первых. (лат.)

— Как тогда, в Сингапуре? — прищурился Шоно.

— Это удар ниже пояса. Впрочем, тебе выше все одно не дотянуться, — парировал Беэр. — *Secundo*¹, я не люблю поэзии. Ты ведь прекрасно знаешь, почему. А в-третьих, в школе я всерьез прислушивался лишь к преподавателю гимнастики Людвигу Игнатьевичу Прауссу. Он единственный учил нас чему-то полезному.

— Ну, не знаю, не знаю. Нас в гимназии обучали упражнениям на коне, а не под конем, — ядовито заметил Шоно. — Оно, конечно, не столь эффектно, но ничуть не менее эффективно.

— Ты рассуждаешь, как легковесный человек, друг мой. Если б я по твоему примеру сиганул на спину лошадке, то переломил бы ей хребет. А я животных люблю, — сказав это, Беэр снова помрачнел. — Что там Марти? Он приготовил?..

— Марти маскирует авто. И да, все готово. Хотя я и не понимаю этой традиции закапывать в землю. Вот у нас тела скармливают орлам на вершине горы. Куда лучше, чем червям.

— Зеев, как ты мог заметить, тут плоховато с горами и орлами. Тут только кочки да комары. Так что, прошу, оставь свои буддийские штучки. Тем более, что в твою религиозность я верю не больше, чем в Санта-Клауса. Скажи мне лучше, что тебе поведали пленные?

— Ты со своими цирковыми штучками угробил единственного, кто мог поведать что-то существенное, — Шоно не удержался от шпильки. — Второй твой клиент до сих пор лежит без памяти. А наши с Марти бормочут, что ничего толком не знают — и это похоже на правду. Они — местные, деревенские. Приписаны к первому кавалерийскому штандарту, что в Инстербурге. Из штаба пришел приказ — искать группу диверсантов.

— Когда?

— Говорят — буквально час назад, то есть в восемь. У них было наше описание, но про собаку они не знали.

¹ Во-вторых. (*лат.*)

— Значит, доложил хозяин кафе, он ведь не видел Докхи. Черт, черт меня дернул туда заехать! — Беэр сокрушенно опустил перевязанную голову.

Вера погладила его по руке:

— Не вините себя, Мотенька. Вы же сами сказали — это война.

— Кстати, — добавил Шоно, — эти парни утверждают, что на рассвете начались военные действия с Польшей. Якобы в ответ на провокацию. Хотя официального сообщения еще не было.

— Так, — Беэр посмотрел сквозь путаницу сосновых ветвей на солнце, глубоко вдохнул, выдохнул и сказал: — Какой прекрасный день, чтобы умереть!

В могилу Докхи положили поводок, миску и любимый каучуковый мячик. Беэр прикатил и поставил сверху мохнатый ледниковый валун. Шоно добавил от себя какой-то желтый цветок. Вера осторожно пробралась к Мартину под мышку и крепко-накрепко прижалась к нему. Так они постояли с минуту и ушли.

Заваленный ветками серый «хорьх» в кювете был почти не виден с дороги. Связанные нацисты с кляпами во ртах лежали в придорожных кустах. Трупы их товарищей отнесли подальше — из гуманных соображений. Лошадей привязали там же. Вера спросила, почему нельзя продолжить путь верхом, раз уж есть такая возможность. На это Мартин лишь молча показал ей глубокие отпечатки копыт во мху. С момента гибели своего друга он не проронил ни слова.

На кратком военном совете принято было решение уйти вглубь Пущи — к югу-востоку, а с темнотой попытаться выйти к озеру — на заветный рубеж.

Навьючив на себя рюкзаки и трофейное оружие, они углубились в лес.

13 апреля 1204 года
Константинополь

Поданное Тарой варево в горшочках источало дивный аромат, но распробовать его Марко не удалось — первым делом он опрометчиво разгрыз некий неприметный стручок, от которого язык сделался точно полено, горящее в адовом пламени, нёбо запеклось, а гортань свело судорогой. В сознании юноши нетопырем мелькнуло ужасное подозрение. Сияясь вздохнуть, он бросил на Тару укоризненный взор, однако в расплывающемся и двоящемся образе предполагаемой отравительницы вовсе не было ничего демонического. Напротив, девушка умильно глядела на Марко и явно ожидала похвалы своей стряпне.

— Моя дочь отменно готовит! — заявил Дэвадан, ловко зачерпывая из посуды свернутой пшеничной лепешкой. — Особенно хорошо ей удается это древнее индийское блюдо.

— Индийское блюдо? — невнятно просипел Марко, опрокинув в себя целую чашу какой-то бледно-розовой жидкости, вкуса которой он не ощутил, как, впрочем, и облегчения, — Я подумал, это — пресловутый греческий огонь!

— Он разжевал *хари мирч*, отец! — Тара сперва расхоталась, потом извинилась не вполне, однако, искренним тоном: — Прости, я не успела тебя предупредить, но, как и греческий, этот огонь нельзя затушить влагой — от нее он разгорается еще сильнее! Заешь скорее этою же чечевичной похлебкой — в ней много коровьего масла, оно утишит жжение! И не дыши ртом!

Дэвадан ничего не сказал, лишь тихонько хрюкнул в бороду, не отрываясь от трапезы.

Марко принялся послушно жевать, испытывая при этом не больше удовольствия, чем если бы месил обожженными пятками глину.

Хозяин дома, скоро насытившись, степенно смахнул с бороды невидимые крошки, поблагодарил дочь и обратился к гостю:

— Я не любитель аллегорий, но твоё э... ознакомление со свойствами красного перца в сложившихся обстоятельствах жаль не использовать в иносказательном виде.

Марко поморгал слезящимися глазами и промычал вопросительно.

— Когда язык, непривычный к острой пище, впервые касается этих жгучих семян, его обладатель испытывает нешуточное страдание, но стоит ему обвыкнуться, как всякая еда, перцем не сдобренная, станет казаться пресной и скучной, — охотно пояснил старик, — Так же и жизнь — после того, как доведется встретиться с настоящей, опаляющей душу, тайной. Вот и ты, уверен, теперь сгораешь от нетерпения узнать ту, что привела тебя в мой дом.

Дэвадан прервал свою речь, дабы промочить горло, а Марко, по причине сильнейшего волнения понявший последние слова буквально, незаметно покосился на Тару и впрямь ощутил, как все нутро его полыхнуло стократ сильнее, чем прежде — язык.

Девушка — ни за что Марко не смог бы заставить себя назвать Тару женщиной, несмотря на род занятий и то, что ей исполнилось уж целых двадцать лет — пребывала в задумчивости, рассеянный взор её был устремлен в пространство, а тонкий перст привычным движением накручивал прядь медовых волос. Но локон был теперь короток и быстро кончался, отчего на ясном лице гетеры всякий раз обозначивалось мимолетное выражение досады. Воспользовавшись временным отсутствием внимания к своей особе, Марко припал к Таре ненасытным взглядом — так пустынный припадает большими губами к источнику, тщетно пытаясь напиться впрок перед очередным долгим переходом по раскаленным пескам. Он жадно вглядывался в её прелесть черты, готовый в любое мгновение спрятать

глаза, и понимал, что не сумеет насмотреться вдосталь никогда. И сердечный жар, разбежавшийся по его напряженным жилам, сменился безысходною, томительною и сладкою тоской.

Нечто подобное Марко уже испытал в десятилетнем возрасте — к античной статуе, увиденной в одном богатом доме, куда отца пригласили для родовспоможения. Роды оказались трудными, мальчик на несколько часов кряду оказался предоставлен самому себе — и все это время провел в одной из дальних комнат в созерцании мраморного изваяния обнаженной богини, изнывая от внезапной любви к дивному образу. Из грез Марко выдернул — и довольно грубо — отец. Мальчик благоговейным шепотом спросил у него, не сама ли Богородица эта прекрасная дама, на что смертельно усталый лекарь весьма чувствительно шлепнул его по губам и, неприязненно глянув на скульптуру, процедил непонятные слова, прозвучавшие резко и зло. А на следующее утро — по мнению Антонио — вследствие долгого сидения на холодном полу и святотатства у Марко началась горячка, но сам-то он был до сих пор убежден, что та была любовной. В бреду ребенка терзала навязчивая мысль о том, что какие-то неизвестные люди глазают на обожествленный им предмет, пачкая его своими грязными взглядами — и Марко обливался горячим, липким потом ревности и задыхался от ненависти и беспомощности. А потом на него милосердною прохладой снизошла благодать — он вдруг отчетливо осознал, что никакая грязь не способна осквернить его святыню, ни даже пристать к ее совершенно гладкой поверхности, и выздоровел в одночасье. Антонио же, снедаемый чувством вины и безотлучно проведенный трое суток подле скорбного одра, так и остался в неведении относительно причин болезни и избавления от нее, не без оснований приписав заслугу исцеления своему искусству врачевания и, разумеется, истовым молитвам во спасение маленького нечестивца.

Вот и теперь, вглядываясь в новый кумир, Марко опять уверялся в истинности того детского откровения — ведь все развратные женщины, с которыми он сталкивался в жизни, несли на челе некую печать обреченности, ланиты их, даже самые свежие, были словно тронуты могильным тлением, а глаза выражали у всех одно и то же — тупую коровью покорность, алчность и деланную страстность. Лик Тары, напротив, дышал благородством, высокий лоб свидетельствовал о недюжинном уме, очи сияли задорно и любопытно безо всякой белладонны, а красиво очерченные губы, сочные и яркие от природы, говорили о неподдельной чувственности и твердом характере. Словом, ни одна линия тела, ни совершенное движение или произнесенный звук не допускали и тени подозрения в распутстве и нечестии, и кабы Марко не знал доподлинно, что пред ним — блудница, он никогда бы в сие не поверил. Да и даже зная о том, он игнорировал уколы ревности, чреватые давнишним недугом, и старался утвердиться в убеждении, что вся грязь мира неспособна нарушить непорочную чистоту его возлюбленной.

Увлеченный бурным потоком воспоминаний и раздумий, Марко на мгновение утратил бдительность и не заметил, как встретился взглядом с Тарой. И хотя в ее глазах не было и намека на насмешку или иронию, но лишь искренний интерес и теплота, опаленное накануне лицо юноши болезненно вспыхнуло, и он в смятении отвернулся, возопив про себя: «Как мне выстоять между всех этих огней, Господи? И ежели Ты за грехи мои низринул меня в пекло, зачем насадил райский сад в сердце моем?»

Тем временем Дэвадан очнулся от собственных мыслей и заговорил вновь.

— Итак, я предположил, что тебе не терпится узнать о своей причастности к моему повествованию. Я прав? — старец обнажил в улыбке зубы, способные потягаться в белизне с его бородой.

Марко поспешно кивнул, потом спохватился и громко ответил:

— Да, ты прав.

— Что ж, слушай.

Барабассо весь подобрался — хоть он и знал изрядно по-гречески, но все ж разговорный язык был ему менее близок, чем письменный — и в голове его уже не осталось места ни романтическим, ни каким иным мыслям. А Дэвадан возвел незрячие очи горе и слегка нараспев — ни дать ни взять Гомер — заговорил только что не стихами:

— Сказав Соломону, что не смогу выполнить его просьбу, я слукавил. Задача сия, будучи чрезвычайно сложною, невыполнимою не была. Я не то чтобы сомневался в своих силах, но хотел предохранить репутацию на случай возможного промаха. К тому же я был не на шутку заинтригован и желал во что бы то ни стало узнать о Золотом Ключе как можно больше. Другими словами — набивал себе цену. Мой мудрый и хитроумный собеседник это понимал, как понимал и то, что без моей помощи ему действительно не обойтись. И после недолгого колебания решил посвятить меня во все подробности. Первым делом он поведал мне о предсказании. В нем говорилось, как ты уже слышал, что через двенадцать веков от рождения распятого Мессии в Новый Вавилон — сиречь самую великую столицу мира — явится его преемник — прекрасный белокурый и голубоглазый юноша из рода Давидова, обрезанный по обычаю предков, но не знающий ни обычая сего, ни даже имени своего, наследник иудейского престола, способный исцелять одним своим прикосновением, как и положено истинному царю. На груди он будет нести свое имя и знак праведности — Соломон пояснил, что знак по-еврейски — *tav*, и слово это может быть прочтено и как «буква», и даже как «нота». Но *tav* — это еще и буква, которая в древние времена писалась в виде креста. А далее в пророчестве было сказано, что первым деянием Мессии по пришествии в Новый Вавилон будет спасение Великой Блудницы.

Дэвадан сделал многозначительную паузу, а Тара тихо, но твердо произнесла:

— Вот узнавши о том от отца, я и решила ею стать.

* * *

*28 января 1161 года
Константинополь*

— ...это все, что касается предсказания, — сказал Соломон. Подумал и добавил: — Саадия Гаон утверждал, что по его подсчетам Мессия придет либо в четыре тысячи девятьсот десятом году по еврейскому летоисчислению, или в шесть тысяч шестьсот пятьдесят восьмом — по византийскому, то есть, двенадцать лет тому назад, либо через сто двадцать восемь лет. Упомянутый мною выдающийся математик и астроном Авраам бар Хия указывал на конец века нынешнего — и ему я склонен верить больше..

— Погоди, погоди, — удивленно перебил его Дэвадан, — но ты же говорил, что не можешь обратиться к соплеменникам, а они, как я вижу, и сами вовсе не против узнать срок пришествия!..

— Увы, большинством раббанитов вычисления такого рода, мягко говоря, не приветствуются, а скромный философ, твой покорный слуга, да и никто другой из ныне здравствующих, впрочем, не имеет того безоговорочного авторитета, что позволил бы ими открыто заниматься... Итак, я говорил, что многие из наших мудрецов предполагали пришествие Мессии в этом столетии...

— А еще, мне помнится, ты говорил что-то о тайне Золотого Ключа, — воспользовавшись заминкой гостя, ввернул Дэвадан.

Рабби потер свой выдающийся нос, несколько раз вздохнул и наконец выдал из себя:

— Хорошо, хорошо, я расскажу тебе все, что знаю сам, раз обещал... Предупреждаю — этот рассказ не из коротких. Но прежде... — он замялся и снова затеребил кончик носа.

— Что прежде? Хочешь связать меня какой-нибудь страшной клятвой? Предупреждаю, — в тон медику иронически отозвался Дэвадан, — я не признаю клятв, а даже если б и признавал, у меня все равно нет ничего святого, чем я мог бы поклясться.

— Нет-нет! — поспешно вскинул повлажневшие ладони Соломон, — что ты! У нас, иудеев, клятвы не в ходу! Что клятва? — пустое сотрясение воздуха, ежели исходит от человека нечестного, а правдивому и так верят. Нет, я хотел попросить у тебя... чего-нибудь съестного. Видишь ли, я с раннего утра работаю при дворе — ты же знаешь, я лечу всех — от василевса до последнего из его конюхов, затем обхожу больницы, а дома меня уже ожидают другие пациенты, так что мне приходится просить у них прощения за ожидание, ведь время перед приемом — единственная возможность для трапезы. Нынче же, дабы выкроить несколько часов для разговора с тобой, я вынужден был отказаться от еды... И вот уже чувствую приближение сильнейшей головной боли...

— О! Я буду счастлив разделить с тобою свой ужин! — воскликнул Дэвадан. — Правда, боюсь, что он покажется тебе более, чем скромным. Я вовсе не ем убоины, кроме рыбы иногда... Но сегодня у меня только лепешки и кой-какие овощи.

— А это как раз очень хорошо, — радостно перебил его лекарь. — Во-первых, я и сам крайне воздержан в пище, а во-вторых, на столе для меня не будет ничего запретного.

Накрывая на стол, хозяин спросил с добродушным ехидством:

— Отчего же ты, рабби, подвергающий по твоим собственным словам сомнению догматы веры, так страшишься нарушить одну мелкую заповедь?

— Единственный догмат, который я готов признать, — серьезно ответил Соломон, — это абсолютная вера во все, что написано в Торе. А значит, для меня в ней нет более и менее важных заповедей. А еще в Торе ни разу не говорится «верь!», но только «делай!» или «не делай!». А сие, по моему разумению, означает, что, лишь добровольно принимая на себя исполнение всех законов и предписаний, можно рано или поздно прийти к постижению главного смысла Книги. Если же нечто из прочитанного в ней вступает в противоречие с научным опытом, это свидетельствует лишь о том, что истинный смысл того или другого покуда ускользает от моего понимания. Впрочем, не думаю, что тебя и впрямь занимают подобные тонкости. Мне нужно омыть руки — где я могу это сделать?

Когда по окончании ужина Соломон вторично благословил нехитрую снедь по-еврейски, добавив затем несколько греческих славословий хозяину, тот поинтересовался:

— Я слышал, что ваша жизнь пронизана всяческими ритуалами, но теперь воочию в том убедился. Омывание рук до и после еды — это я понимаю и одобряю, но зачем еще и молиться до и после? Ужели вашему Богу не довольно одного раза?

— Все, что еврей делает ради Бога, он делает для себя самого, — весело усмехнувшись, ответил рабби. — Так молитва исподволь учит нас умению быть благодарными. От многократного повторения благодарность входит в нашу кровь и делает лучше и счастливее. Знаешь ли, есть такое забавное свойство нашего существа — улыбка делает нас веселее. Попробуй улыбнуться, когда тебе грустно, и увидишь, что настроение твое сразу улучшится. Я рекомендую это всем своим пациентам, правда, они вечно жалуются, что им это не под силу — и верно, порой проще поднять мельничные жернова, чем уголки губ. Как верно и то, что это едва ли не самое сильнодействующее из известных мне лекарств. Так и ритуалы, пусть даже исполняемые по

самопринуждению, в конечном итоге приводят нашу душу в возвышенное состояние.

— Однако же что-то я никогда не видал, чтобы религия сделала кого-нибудь лучше, — ворчливо возразил Дэвадан. — Хороший человек и без молитв хорош, а подлецов и лицемеров — вон погляди — полные храмы.

— А отчего, многоученный друг мой, ты думаешь, я так страстно желаю прихода и полного раскрытия Мессии? — отозвался Соломон. — Ведь сказано у пророка Софонии: «И тогда переверну народы, и все заговорят Господу ясным языком и служить Ему станут единодушно». Религия же есть инструмент, что придуман праведными людьми для других, чтобы не забывали они о своей одушевленности. Ведь зачем, к примеру, нужно чтить субботу? Затем, чтобы хоть раз в неделю человек давал законный отдых себе, домочадцам, своим работникам и даже скоту, дабы не уподобляться последнему, а задумываться о душе, устремляться мыслью к Создателю и...

— Что ж, — ласково прервал его астролог, — Тогда, верно, стоит взяться за дело, не откладывая? Ты сказал, что рассказ будет длинным, но с подобными отступлениями, боюсь, он превратится в бесконечный.

— Да-да, ты прав, ты безусловно прав, я отвлекся... — врач прокашлялся, сложил ладони морской звездой у груди и, уставив невидящий взгляд в темный угол, спросил: — Скажи мне, любезный хозяин, известна ль тебе сколько-нибудь древняя история моего народа?

Дэвадан неопределенно пошевелил пальцами у виска:

— Э... Сказать по чести, не особенно. Мне знакомы, разумеется, имена патриархов, Моисея, Давида и Соломона, но и только.

— Тогда я попробую вкратце восполнить сей пробел, поскольку без одного знания тебе сложно будет что-либо понять.

— Изволь.

— Итак, согласно Книге, древний Израиль как единое царство со столицею в святом городе Иерусалиме — да отсохнет моя правая рука, если забуду о нем! — просуществовал при названных тобою великих монархах Давиде и сыне его Соломоне, в честь которого назвали меня родители, около восьми десятков лет. Наследник Соломона Ровоам не обладал и толикой отцовской мудрости и ловкости, отчего не сумел удержать в руках — справедливости ради замечу — начавшее крошиться по краям еще при жизни родителя государство, и от него тотчас же отложились северные колена, давно лелеявшие обиды на дом Давидов. В образованном старым врагом Соломона Иеровоамом Израильском царстве — прости мне неуклюжий оборот — вечно царила смута, династии сменялись, как времена года, не успевая оставить следа на земле, возродилось язычество. И в наказание за мерзкие дела сии перед Господом всего через два века Израиль был стерт персами с лица земли. Что до Иудейского царства, то оно оставалось оплотом Завета и, хотя за грехи правителей и неправедность подданных утратило независимость и подверглось тяжким испытаниям вроде вавилонского пленения, однако благодаря боговдохновенным пророкам все же не только сохранило Закон Книги — что важнее всего, ибо лишь с Торой мыслимо существование нашего народа — но даже и автономию при ассирийцах, персах, египтянах и греках.

* * *

lomio_de_ama:

Этот Ровоам был, судя по всему, большой наглец и грубиян. Знаешь, что он ответил старейшинам северных колен, пришедшим смиренно просить об облегчении налогового ярма, возложенного на них покойным Соломоном?

8note:

Насколько я помню, смысл был такой: вы, сукины дети, еще не знаете, что такое настоящее ярмо, но я вам покажу.

lomio_de_ama:

Ага. А дословно присовокупил: «Мой маленький потолще папиного торса будет». Неудивительно, что при такой политике он в скором времени потерял большую и богатейшую половину отцовских владений.

А ведь нет ни одного доказательства тому, что Израильское царство вернулось к язычеству. Все археологические находки свидетельствуют об обратном.

8note:

Ну, читаем-то мы это не в израильской, а в иудейской книге, созданной к тому же несколькими веками позже. Историю пишут выжившие. Однако ни одного археологического подтверждения существованию Соломона тоже нет, насколько мне известно.

lomio_de_ama:

Пока не нашли, да. Зато откопали одну арамейскую таблицу девятого века до нашей эры с упоминанием некоего царя из дома Давидова.

8note:

И то хлеб.

Впрочем, лично я считаю иудаизм религией, мало подходящей на роль государственной, — продолжал рабби Соломон, — ибо всякий истинно верующий не признаёт над собой ничьей власти, кроме Всевышнего. Цари же земные всегда воспринимались иудеями как предстоятели и защитники народа, деяния коих лишь тогда были хороши, когда они согласовывались с пророками. Увы, таковое согласие случалось не слишком часто — монархи не очень-то любят, когда им указывают на ошибки, а уж обличений не терпят и подавно. Но я вновь отвлекся...

Покуда Иудеей управлял из Иерусалима первосвященник и совет старейшин — *геру́сия*, а никто из завоевателей — ни Дарий, ни Птолеми, ни даже сам Александр Македонский — в дела духовные не вмешивался, народ терпеливо нес тяжкое фискальное бремя и выполнял воинскую повинность, но! — Соломон столь резко вскинул указующий перст, что Дэвадан вздрогнул. — Стоило захватчикам замахнуться на святое, как народ возмутился и возроптал. Случилось это в правление сирийских греков Селевкидов, к которым отошла многострадальная Иудея через сто с небольшим лет, после завоевания ее македонцами. Поначалу все шло так же, как прежде — эллины вообще никогда никого не понуждали к принятию своего жизненного уклада, ибо были непоколебимо убеждены в его преимуществе над прочими и полагали, будто подаваемого ими примера достаточно, дабы покоренные народы сие преимущество признали и пожелали принять за образец добровольно. Все так и поступали, но только не мое жестоковейное племя, справедливо полагавшее собственную веру куда более возвышенной и правильной, нежели язычество. Эллины, впервые столкнувшиеся в отношении себя с высокомерием тех, кого считали варварами, сперва недоумевали, а затем рассердились и решили покарать непокорных. То же

самое, надо сказать, случилось два века спустя при римлянах и закончилось, увы, весьма трагически — Храм был разрушен, а народ лишен отчизны. Но в отличие от римлян, греки допустили одну непростительную оплошность — они попытались под страхом смерти запретить иудеям быть иудеями. Селевкиды не в силах были вообразить, что среди тех сыщется столько людей, готовых пожертвовать жизнью за веру. Но они нашлись — грубые, угрюмые пастухи-священники — ибо каждый иудей священнодействует в храме сердца своего — достойные потомки тех, кто избрал себе Бога Единого! — рабби промокнул повлажневшие глаза рукавом халата.

— Разве в вашей Книге не написано, что это Он избрал их? — прервал свое молчание Дэвадан.

— В наших преданиях говорится, что Сущий предлагал Тору всем народам, и только евреи согласились ее принять. Это, разумеется, означает не то, что Всевышний ходил подобно торговцу от двери к двери, пытаясь всучить свой залежалый товар. Отнюдь нет, Закон Божий существовал от сотворения мира, он был разлит в воздухе, которым мы дышим, начертан в звездах небес, на которые мы взираем по ночам. Издревле во всех народах рождались люди, умевшие его если не читать, то чувствовать и понимать. Но лишь один народ — простое, суровое племя бесхитростных кочевников-скотоводов — по какой-то необъяснимой причине сподобился сделать этот Закон своим. За то и был избран примером — для других. Все хорошее и все плохое в этом народе видится преувеличенным, будто под особым арабским стеклом в форме чечевичного зерна. Не зря говорят, что у евреев если мудрец, то всем мудрецам мудрец, а если уж подлец, то подлее подлого. Можно сказать также, что наш народ — это блуждающая совесть мира...

— Вот уж да! — рассмеялся Дэвадан. — Неудивительно, что блуждающая. Вы носитесь по миру с избретенной вами совестью и сетуете на то, что вас

отовсюду гонят. А совесть никто не любит — без нее-то жить гораздо легче. Она же запрещает самое приятное человеческой природе — убийство, разврат, воровство... Не обижайся, друг мой, я это говорю как сын другого гонимого и бесприютного народа. Я не понимаю, отчего вам не сидится спокойно. Ну, соблюдали бы вы себе свой замечательный закон — зачем же пытаться осчастливить им других против их воли? Разве недостаточно быть праведными самим?

— Разве тот, кто знает рецепт лекарства от смертельной хвори, не должен поделиться им с ближним? Или достаточно будет того, что он сам останется здоровым?

— Так пускай бы больной сам пришел к нему за помощью, увидев, что тот излечился! Где этого видано, чтобы врач искал пациента?

— Мне почему-то не верится, что ты говоришь искренне, любезный Деодан. Ведь ты-то не можешь не понимать, что сам больной не ведает, что болен. И если бы мои предки не начали первую в истории мира войну за веру, кто знает, не прозябал ли бы этот мир по сю пору во мраке язычества и беззакония?

— Можно подумать, — пожал плечами Дэвадан, — что ныне полчища одних варваров с крестами не истребляют взаимно таких же с полумесяцами, полагая при этом, что воюют за веру.

— Да, они еще больны, — мягко возразил Соломон, — но, если уж продолжать медицинские сравнения, болезнь эта детская — ведь дети жестоки не по природе, а по недоумию — и от хвори сей уже есть лекарство, давшееся моему народу ценою невероятных страданий. Ты указываешь на очевидное зло, а я в ответ замечу, что если в обозримом мире люди перестали приносить в жертву кровожадным истуканам детей, если все большему количеству людей делается не по себе при мысли об убийстве или ограблении ближнего, если люди все чаще стали испытывать стыд и задумываться о духовных надобностях, то это происходит

отнюдь не потому, что изменилась человеческая сущность — она неизменна, но оттого, что, подобно всепроницающей воде, нравственный закон подтачивает богопротивные устои, прорывает затоны и плотины косности и орошает порой наиболее черствые сердца. И в том я вижу великий смысл претерпеваемых нами страданий, смысл всего нашего бытия. Душевноболезной может нанести увечья врачу, но это не повод отказывать ему в лечении — ведь он страждет, зачастую сам того не сознавая. Разве не так?

— Возможно, ты и прав. Во всяком случае, то, что ты говорил, звучало прекрасно. А так ли все обстоит на самом деле — не ведаю, ибо чаще смотрю на звезды, чем на людей. Но на сей раз я сбил твое повествование с прямого пути, прости.

— Не стоит извинений, — Соломон широко плеснул рукавами на огонек светильника, и тени вокруг заволоклись, как разбуженные безголосые псы. — Я и сам собирался коснуться этой темы, только чуть позже. Но — продолжим...

* * *

*1 сентября 1939 года
Роминтенская пуща*

...и всыпали тогда наши грекам по самое первое число, — Беэр оторвался от созерцания окрестностей сквозь оптический прицел ружья и стал любовно протирать линзы мягкой тряпочкой. — Мы на Молдаванке с греками тоже часто стукались, и стенка на стенку, и один на один. Кореш у меня был — Гоша Триандофилиди, дюже здоровый — поменьшее меня, но двухжильный, как биндюга. Ох и помордовали же мы друг дружку при первом свидании! А в пятом году он — чистый грек, представляете? — вместе со мной пошел в нашу еврейскую самооборону от погромщиков.

Самое смешное, что мы себя тогда именовали «маккавеями». И тут он — грек... Снаряд у него за спиной разорвался, когда войска начали порядок наводить, он шрапнель на себя принял, а меня даже не царапнуло, только контузило об стену до потери пульса. Так и провалялся я всю заварушку безучастным предметом обстановки — в Гошиной крови. Оттого лишь, наверно, и в живых остался. В том году в прекраснейшем городе Одессе сильно поубавилось добрых хлопцев. Страшный был год.

— Это вы, Мотя, просто не знаете, что там творилось после семнадцатого. Я, по правде сказать, тоже имею весьма смутное представление, почерпнутое из рассказов писателя Бабеля — изустных, в основном, — откликнулась Вера.

— Это какой Бабель? Как зовут? — встрепенулся Беэр.

— Исаак Эммануилович.

— Иська Бабель? Писатель? Если он так же красиво пачкает бумагу, как пачкал пеленки, с которых я его знаю, то он наверняка имеет большой коммерческий успех! Но что этот босяк мог вам нарассказать за Одессу? Как он шлялся повсюду за мной хвостом — на французскую борьбу или подглядывать, прошу прощения — мы были глупые дети, через щелочку в бордель мадам Пейсаховер? Помню, Иський дед, убитый, кстати, в том самом переполохе девятьсот пятого, когда видел нас вдвоем, всегда говорил одно и то же: *да Ицик мит дем кляйнер шпицик унд Беэр мит дем гроссер пеэр*¹. Опять-таки мильпардон за соленый юмор старого шлимазла, но таки это он первый стал называть меня Беэром. А что случилось с его внучком при Советах?

— Он талантливо писал книги и работал в ЧК. А в этом году его арестовали, инкриминировав террористическую деятельность и прочую подобную чушь.

— Ой-вэй! — горестно сморщился Беэр. — А ведь папаша мне все время ставил Иську в пример, хотя тот

¹ Ицик с маленькой колючкой и Беэр с большим сокровищем (*идиш*).

и был на четыре года младше меня. Он производил впечатление чрезвычайно смышленного мальчика и знал весь Талмуд наизусть. Нет, я решительно не понимаю, зачем все эти еврейские умники полезли делать великую русскую революцию, как до этого они лезли делать великую русскую культуру, вместо того, чтобы сделать сперва маленькую свою! Отчего они не прислушались к Жаботинскому, с которым я имел честь познакомиться во время войны в Палестине... Вот уж кто, между прочим, несравненно писал за Одессу!

— Не довелось читать, к сожалению, — вежливо сказала Вера и, указав на двуствольное ружье в руках собеседника, спросила: — Это ведь штуцер, да? Калибра двенадцатого, кажется?

Беэр изумленно воззрился на нее:

— Все-таки не зря я в вас влюбился с первого взгляда, Верочка. В моей жизни была только одна женщина, способная отличить штуцер от аркебузы. Но это было давно, в Египте. Мы с ней вдвоем охотились на крокодилов и гиппопотамов. Это было ужасно романтично... Бьюсь об заклад, вы отменно стреляете! Ведь так? — весь его одесский акцент куда-то пропал.

— Порядочно, — Вера склонила голову набок и улыбнулась, — но охоту не слишком-то люблю. Во всяком случае, на безопасных зверей. А в ружьях разбираюсь немного оттого, что была... близко знакома с одним любителем. Он собрал огромную коллекцию охотничьего оружия — реквизированного у буржуев и аристократов, разумеется. Жемчужиной его сокровищницы был очень похожий на ваш Holland & Holland с царским вензелем, только калибром поменьше. Можно? — она протянула руку, и великан безропотно протянул ей свою драгоценность, — Ох, какой тяжелый! С этим можно и на слона идти! Мотя, скажите, а зачем вам — тут — такая гаубица? В здешних лесах самый страшный зверь — кабан... или человек, нужно бы что-то полегче и побыстрее.

— Вы меня не устаете поражать, ей-богу! Эту пушку я приобрел из чистого пижонства. Ну, и еще

воспоминания детства — обожал читать рассказы про африканскую охоту, а там у всех обязательно был штуцер не меньше этого вот. А давеча — когда вы сидели в парикмахерской — зашел в оружейный магазин, увидел там свою детскую мечту, ну и подумал, что неизвестно, как оно все обернется... а так хоть порадуюсь обладанием. А на э... кабана у меня вон в том чехле — замечательная игрушка Purdey, smooth-bore, как это говорят по-русски, гладкодульный?

— Гладкоствольный.

— Да. Возьмите его вместо вашего Маузера! Он довольно легок.

— Спасибо, но с этим мне как-то привычнее, — Вера погладила темную ложу карабина, — да и зарядов в нем больше.

— Ну, как знаете, — в голосе Беэра ей послышалась обиженная нотка, и Вера поспешила перевести разговор на другое:

— Мотенька, вы стали рассказывать про маккавеев, это было очень интересно. И не дуйте на меня, пожалуйста, я не вполне пришла в себя после утреннего происшествия, потому и нетактична.

Беэр мгновенно оживился и спросил:

— Хотите орешков? Арахиса? Я всегда ношу в карманах.

— Орешки давайте. И дорасскажите уже про этих ваших маккавеев, не мучьте! — сказала Вера самым жалобным тоном, хотя и силилась улыбнуться. — Я хочу, наконец, понять, что я такое и зачем здесь оказалась, а вы ходите все вокруг да около! Вы все — такие неносные обскуранты!

— Верочка, ангел мой, бога ради! — великан прижал ручищи к груди со столь трепетным видом, что стал похож не на отпетого, а на кающегося разбойника, — помилуйте! Всё, ради чего мы так тянем резину, это токмо ваше драгоценное душевное здравие! Если б вы знали, в каком мы сами были потрясении, когда... Хотя мы, разумеется, не можем быть ни в чем

уверены... Знаете ли, ученые — самый суеверный народ в мире... — казалось, ему не хватает дыхания, чтобы довести фразу до конца.

— Да знаю я этот народ! — Вера нетерпеливо дернула плечом, — Мотя, не томите, вы же сами сказали, что я — необыкновенная женщина! Вот давайте предположим, что это действительно так, и я как-нибудь справлюсь с этим переживанием! Мотенька, вы же не врач, — она кивнула на спящих поодаль Шоно и Мартина, — а такой же авантюрист по натуре, как и я.

— И то верно, — неожиданно легко согласился Беэр, — Я из тех, кто рубит хвост одним махом.

— Так отрубите же! — взмолилась Вера. — Мне уже не будет хуже, чем сейчас, потому что это просто невозможно! — слезы брызнули из ее глаз, и она отвернулась, больно закусив согнутый указательный палец.

— Верочка!.. — Мотя нерешительно придвинулся — гигантским голубем, нежно погладил ее по плечу, воркуя: — Что вы? Право же... Все не так уж...

Она неожиданно обернулась и, вцепившись в его жесткие кудряшки, долго поцеловала в губы. Великан залопал глазами, завел руки за спину, закаменел.

— Вера! Ангел мой, — прошептал он, лишь только рот его оказался свободен, — Зачем вы это?.. Этого нельзя...

— Я не ангел, — зло ответила женщина, вытирая глаза грубой замшей рукава, — Это вот он — ангел, а я — убийца и шлюха. Кто я такая, чтобы он меня любил?

— Что вы такое говорите, милая? — забормотал Беэр, непритворно ужасаясь услышанному. — Как же он может вас не любить, если вы — его предназначение свыше?

— Я не хочу, чтобы он меня любил как предназначение! — глаза Веры вновь повлажнили, она зажмурилась, мотнула головой, — Я хочу, чтоб он любил меня, как вы! Да, я знаю, знаю — ваше большое сердце стучит так громко, что выдает вас с головой. Ах, Мотенька,

если б не он, если б не вся эта история, я была бы с вами, клянусь! Вы ведь мне очень-очень нравитесь!

— Но как же... О-ох... Но как же Марти?.. — Беэр с трудом выталкивал из себя звуки.

— Его я боготворю. И буду с ним, что бы ни случилось. А он... Вы заметили, что он едва перемолвился со мной словом после того... случая на дороге? Я ему стала омерзительна?

— Боже, какие глупости вы говорите! — вдруг рассердился Беэр, — Да он же просто места себе не находит, потому что из-за него, как он считает, вы подвергаетесь смертельной опасности!

— Правда? А вы? Как вы считаете?

— Я фаталист, — буркнул Беэр, внимательно разглядывая носки сапог.

— Мотя, — тихонько позвала его Вера, помолчав с полминуты, — а ведь нас здесь всех, пожалуй, убьют, а? — голос ее стал совершенно ровен и спокоен.

Беэр пожал могучими плечами и спросил:

— Я знаю? Но мы очень постараемся, чтоб нет.

— Ладно, не будем об этом, — Вера закурила, воткнула горелую спичку глубоко в мох, прислонилась спиной к морщинистой сосне и, прикрыв глаза, попросила: — Расскажите мне, наконец, эту историю про маккавеев.

* * *

*28 января 1161 года
Константинополь*

— Когда упомянутый мною Антиох по прозвищу Эпифан, коего не без оснований отождествляют с малым рогом из откровения пророка Даниила, не удовлетвовавшись ограблением Храма, решил искоренить самое веру иудейскую — запретил под страхом смерти обрезание, изучение Торы и соблюдение прочих

заповедей — многие иудеи по малодушию или из корысти поддались ему, приняли греческие имена, стали приносить жертвы языческим богам... — на лице Соломона появилось такое выражение, будто он хочет сплюнуть, но не знает, куда. — Однако многие предпочли умереть с гордо поднятой головой, не изменив вере праотцев. А иные ревнители подняли не только голову, но и меч. Ты, верно, слышал про восстание Хасмонеев?

Дэвадан наклонил голову:

— Да, припоминаю что-то такое. Какие-то чудесные победы...

— О! Со времен Иисуса Навина не было среди иудеев столь выдающегося полководца, как Иуда Маккавей! С малыми силами неизменно побеждал он бесчисленных врагов, что подтверждает праведность его деяний перед Господом. Были такие, кто почитал Маккавея за Мессию, что, конечно, неверно, ибо, во-первых, он не происходил из рода Давидова, а во-вторых, умер насильственной смертью, как и все четыре его брата. Последним из братьев правил Иудеей мудрый Симеон, а когда и его предательски убили, власть унаследовал единственный оставшийся в живых сын Симеона Иоанн, которого по-гречески звали Гирканом. Иоанн Гиркан сей счастливо избежал участи злодейски умерщвленных братьев, сделался первосвященником и сподобился от Господа покойно править своим народом в течение тридцати одного года и умереть своею смертью в окружении пятерых сыновей. Однако перед самую кончину он предрек неблагоприятное будущее хасмонеийской династии. И прорицание его сбылось в точности — старший сын Иоанна Гиркана Иуда Аристобул вскоре самовольно провозгласил себя царем, чего прежде него не дерзнул совершить ни один из Хасмонеев. К тому же он заточил в темницу свою родную мать и всех братьев, кроме Маттатии Антигона, которого любил и сделал соправителем...

— Сказать по чести, я несколько запутался в этих хитросплетениях и именах. Насколько они важны для понимания нашего дела?

— Весьма важны, ибо имена эти ты услышишь еще неоднократно, посему постарайся запомнить: в те времена у знатных иудеев было принято помимо имени еврейского носить соответствующее ему греческое — для общения с внешним миром. Так Маттатия прозывался Антигоном, Иоанн — Гирканом, Иуда — Аристокбулом. Этих трех вполне достаточно для моего повествования.

— Хорошо, три я, пожалуй, смогу заучить.

— И прекрасно. А я для удобства запоминания буду всякий раз употреблять оба имени. Итак, Иуда Аристокбул, самопровозглашенный царь Иудеи, отличал среди прочих своего брата Маттатию Антигона, который, по всей видимости, унаследовал полководческий талант первых хасмонеев и был не менее их любим народом. Подлые и завистливые наушники из числа придворных поспешили вбить клин между ним и его венценосным братом, нашептав последнему, будто молодой Маттатия Антигон замышляет его убить. Впрочем, вполне вероятно, что нечто подобное внушало и Антигону его собственное окружение. Как бы то ни было, в конце концов клеветникам, а может, напротив, прозорливцам, удалось убедить Иуду Аристокбула в том, что ему угрожает опасность со стороны единокровного брата, того заманили во дворец и зарезали недалеко от царских покоев.

— Очень некрасиво. Но совсем неудивительно.

— Ха! Удивительное только начинается. Согласно широко известному преданию, гибель Антигона в тот самый день была предсказана неким ессеем по имени Иуда...

— А что значит — есей?

— Ессеи были чем-то наподобие монашеского ордена, как у христиан. Святые люди, пользовавшиеся уважением и любовью всего народа. Утверждают, что

в отличие от двух других религиозных сект — саддукеев и фарисеев — они не вмешивались в дела политические и вообще мирские, но лишь проповедовали и всячески стремились к духовному очищению.

— Возможно, с этими эссеями так оно и было, но весь мой скромный жизненный опыт подсказывает мне, что любое сколь-нибудь значительное объединение людей так или иначе в определенный момент проявляет заинтересованность политикой. И чем громче сие объединение декларирует свою невовлеченность в мирские дела, тем, как правило, глубже оно в них вовлечено бывает. Вот и в нашем случае: что, казалось бы, этому монаху до дворцовых интриг?

— Ты, что называется, зришь в самый корень, мой многомудрый друг! Я и сам придерживаюсь сходного мнения, что в каждом подобном объединении рано или поздно найдутся люди, кои попытаются негласно использовать его возможности для достижения неких *особых* целей. Но если ты позволишь мне продолжить рассказ, то убедишься в том, что для подобных домыслов оснований он даст более, чем достаточно.

— Я весь — внимание.

— Итак... Я говорил об этом эссе Иуде, о котором написано, что он был предсказателем, никогда не ошибавшимся в своих прогнозах...

— ...что лишний раз убеждает в его исключительной информированности. Предсказание ведь зиждется не на угадывании, а на знании, каковое вкупе с природным чутьем и опытом позволяет сделать верные выводы. Когда арабы утверждают, что предсказывающий всегда лжет, они имеют в виду, что он либо говорит неудачу, либо знает больше, чем показывает, но в обоих случаях пытается убедить окружающих в мистическом происхождении своего дара. Предвосхищая твой вопрос — он начертан у тебя на лице — скажу, что сам я крайне редко прибегаю к заведомой лжи — и только тогда, когда знаю, что клиенту она не навредит, а наоборот — укрепит и ободрит. И знаешь, что самое

поразительное? Эти мои предсказания тоже почти всегда сбываются.

— Очевидно, дар твой от Господа, коли так. Но вернемся к Иуде. Не знаю, к какому разряду прорицателей относился он, но только многие ученики свидетельствовали, что в тот печальный день Иуда был сокрушен и подавлен, увидав Маттатию Антигона в Иерусалиме, тогда как согласно пророчеству его должны были убить в Стратоновой башне, переименованной потом при Ироде Великом в Кесарию, до которой от града Давида¹ три дня пути. Иосиф Флавий в своих «Иудейских древностях» пишет, что место, где был зарублен телохранителями царя молодой воевода, также называлось Стратоновой башней, и, дескать, именно это ввело в заблуждение предсказателя. Однако буквально тут же он сообщает, что злодеяние было совершено в подземелье, неподалеку от царских покоев, и становится непонятно, зачем брат шел во всеоружии навестить больного брата подземным ходом? К тому же нигде, кроме как у Флавия, Стратонова башня в Иерусалиме не упоминается, и у меня даже возникло такое ощущение, будто он ее попросту выдумал, дабы придать сей истории еще более мистический оттенок, либо опираясь на чьи-то недостоверные рассказы.

— О, историки часто грешат подобными вольностями! Мне же видится, что Иуда тот доподлинно *знал*, что Антигона *должны* убить, причем убить в этой самой *Стратонос фиргос*, а увидев его целого и невредимого возле дворца, понял, что *должного* не произошло, и не сумел скрыть своих истинных чувств, которые очевидцами были истолкованы превратно. Думается также, что оного Антигона решено было убить подальше от столицы затем, чтобы царю избежать в глазах народа Каинового клейма, а может, из каких-то других соображений, о коих мы можем нынче лишь догадываться.

— И вновь ты недалек от истины, друг мой! Я говорю это с такою уверенностью потому, что благодаря

¹ Древнейший район Иерусалима.

найденному папирусу являюсь, возможно, единственным в целом свете человеком, кому она известна. Если, разумеется, полагать написанное там истиной. В этом же меня убеждает то, что история, изложенная в свитке, в чем-то противоречит рассказу Флавия, а в чем-то дополняет его. Впрочем, суди сам!

* * *

*103 год до нашей эры
Иерусалим*

— Говорят, ты предсказал... смерть брата моего... — прохрипел Аристокбул, после того, как молоденький прислужник стер пурпурным платком розовую пену с губ его и почтительно отступил за изголовье царского ложа.

Пегий старик на несколько мгновений прикрыл желтые глаза.

— Ты кто? — спросил царь, помолчав немного.

— Иуда, — донеслось отрывисто из неухоженной бороды прорицателя.

— Смешно. Я вот тоже — Иуда.

— Нет, ты — Аристокбул. Убийца матери и брата. Присвоивший скипетр Иуды¹, — безразлично ответил старик.

— Ты — ессей, да? Ничего не боишься... И что я велю сейчас содрать с тебя шкуру, ты тоже не боишься?

— Не боюсь. И ты не велишь. Ты умрешь раньше меня.

— Скоро? Отчего? — царь вскинулся, охнул и вновь упал на подушки. Юноша за спиной его беспокойно шевельнулся, но он остановил того резким взмахом руки.

— Скоро. Вижу, что приближенный прольет твою кровь.

¹ Игра слов: «скипетр Иуды» означает власть над Иудейским царством.

— Кто?

— Кто угодно. Неважно, — старик внезапно метнул острый и молниеносный, как дротик, взгляд в прислужника, от которого тот пошатнулся, будто и впрямь ощутил удар. — Он будет лишь орудием в руках Господа.

— Господа... — проговорил Аристокбул с неизъяснимой мукой в голосе. В следующий миг его страшно вырвало кровавой слизью в поспешно подставленный слугой бронзовый сосуд.

— Я бы посоветовал тебе не лежать, а сидеть, опираясь на подушки, охлаждать левую сторону груди и меньше разговаривать... если бы желал тебе добра. Но я не желаю.

— Ты странный, — прошептал царь, пытаясь приподняться. — Чего ты хочешь от меня?

— Ничего. Это ты меня позвал.

— И верно... Скажи, когда я... умру, что будет с царством?

— Зачем тебе это знать? Почему ты не спрашиваешь, что будет с тобой?

— Тебе и это ведомо?

— Да, конечно. Просто я не понимаю, зачем один умирающий спрашивает о судьбе другого.

— Так оно умрет? Когда?

— Зачем тебе?..

— Я царь! Я умираю! Я хочу знать! — жалобно и упрямо вскричал Аристокбул.

— Оно проживет ровно втрое больше тебя.

— Мне тридцать три, значит, еще шестьдесят шесть лет? А что потом?

— Последнего царя будут звать так же, как убитого тобой брата — Маттатия Антигон. Он умрет позорной смертью. А похоронит его внук того, кто прольет твою кровь. И я хочу, чтоб ты знал — сын этого человека будет Мессией.

— Безумный старик! Ты ждешь, что я поверю в твои бредни? — голос царя взлетел к потолку и разбился вдребезги о кедровые балки.

— Я ничего от тебя не жду... Аристокбул.

— Тогда убирайся пророчествовать на базар! И радуйся, что сохранил шкуру! Хизкия, проводи его до третьих дверей, темно уже! И позови моего врача, наконец!

Юноша подбежал к стене, снял с нее факел и почтительно указал гостю рукой на выход. Оказавшись с ним один на один, старик вдруг положил ему руку на плечо и сказал совсем другим — тихим и мягким голосом:

— Покажи-ка мне *то* место.

Хизкия вздрогнул, но повинился безропотно. Через полсотни шагов по узкому, вырубленному в белесом камне ходу он остановился и показал пальцем на большие темные пятна на стене и полу. Иуда осмотрелся, поднял руку, коснувшись низкого свода, бормотнул что-то вроде «зарубить никак... закололи, как ягненка...», затем присел на корточки, подержал ладони над кровавым следом, легко поднялся и, оглянувшись, поманил к себе отрока:

— Послушай, Хизкия. Когда тебя выгонят из дворца, найди меня. ... — он помолчал, а потом прошептал, склонившись к уху мальчика: — Ведь ты же из рода Давидова, верно?

Интонация его, впрочем, была скорее утвердительной, чем вопросительной.

* * *

1 сентября 1939 года
Роминтенская пуща

— Боже мой! — воскликнула Вера, — Неужели этот мальчик и убил царя?

— Все нет, — возразил Беэр, — В предсказании говорилось не про убийство. Флавий пишет, что некий юный прислужник, выносивший сосуд с кровью царя, поскользнулся и пролил ее на том самом месте, где

укокошили Антигона. Придворные подняли страшный гвалт, некоторые кричали, что мальчишка сделал это намеренно, требовали расследования. Но тут царь, которому сообщили о происшествии, сообразил, что это предсказанное сбылось таким оригинальным манером и что его смертный час настал.

— И что?

— И помер, натурально. Предсказано же. Наши друзья-эскулапы предполагают, что у него, скорее всего, был э... *стеноз митрального клапана* или *прободение язвы желудка*, — Беэр произносил медицинские термины с видимым удовольствием, — Ну, или какая-то еще чепуха, я не запомнил. Перед смертью царь якобы каялся, что сгубил родную кровиночку. Про заморенную голодом мамашу, заметим, не упоминал.

— Наверное, та еще была матушка.

— Нет, ни один хороший еврейский сын так бы не поступил с мамой, каким бы чудовищем она ни была. Тут я согласен с оценкой Флавия — дрянь человек был этот Аристокл.

— А что же наш мальчик? Меня беспокоит его судьба.

— Да он уж две тыщи лет как помер!

— Мотя, прекратите трепаться! Что случилось с ним тогда?

— Очевидно, если история на том не закончилась, благополучно смылся под шумок из дворца.

— Скажите, Мотенька, а это только мне кажется странным, что прислужник, поливший кровью какой-то темный угол, оказывается в центре внимания придворных?

— Если только сам не вздумает об этом кому-нибудь из них рассказать. По глупости, например. Или по чьему-то наущению.

— Да, не иначе. Интересный персонаж — этот ессей Иуда. Загадочный. Вы не знаете, кто за ним стоял?

— Скорее всего, он сам за собой и стоял. Конспирологическая тема плохо вписывается в партитуру этой

симфонии. Тут играют вдохновенные одиночки, а главное правило — точно как жандармское предписание времен моей мятежной юности: больше трех не собираться! Да, в общем-то, и не особенно важно, кто он был такой — то есть, интересно, конечно, безумно, но мы все равно можем только строить предположения на сей счет. Что *да* важно — так это его роль в дальнейшем развитии сюжета: передача юному отпрыску рода Давидова некоей секретной информации и, весьма вероятно, помощь в приобретении необходимого положения в обществе.

— Необходимого для чего? И какой информации? И для чего тогда была вся эта морока с монархами и пророчествами, если дело было лишь за тем, что вы сказали?

— Я начну отвечать с последнего вопроса, если позволите. Это всего лишь мое предположение, но думаю, что оно верно. Во всяком случае, мне как ученому оно близко — дело в том, что после досадной погрешности в предсказании гибели Антигона старик засомневался в своих расчетах и решил проверить себя, усложнив задачу. Я сам часто прибегаю в работе к этому приему. Оно, конечно, всегда неприятно херить новую и остроумную гипотезу, но это всяко лучше, чем уткнуться в тупик в конце долгого пути. А может быть — и это тоже вполне вероятно — он попросту хотел произвести на юного Хизкию правильное впечатление, чтобы тот ему поверил. Согласитесь, одно дело, когда к тебе пристает на улице какой-то всклокоченный безумец, и совсем другое — человек, которого ты встретил в царской опочивальне.

— Да, это звучит здраво. Предположим, что все так и было. Так какое же положение должен был обрести Хизкия, и зачем? И, наконец, какую информацию ему мог сообщить эссей?

— Тсс!.. — Беэр вдруг схватил Веру за локоть, заставив ее поморщиться от боли, и показал глазами куда-то в глубину леса, — Вы его видели?

— Кого? — спросила она, незаметно потирая руку.

— Ну вон же, смотрите! Видите, орешник шевелится? — досадливо прошептал великан и, расчехлив оптический прицел, вскинул ружье к плечу.

— Не сильна я в ботанике, уж извините, — прошипела Вера недовольно, — Кого вы там, черт побери, углядели? Снова этих? В сером?

— Да нет же! Ох, какой красавец! Вот, сами полюбуйте! — Беэр нехотя оторвался от окуляра и протянул Вере штупер.

— На кого любоваться-то?

— Возьмите чуть правее, вот так, — Беэр тихонько отклонил дуло ружья вправо, — Видите?

— А. Олень как олень. Большой, с рогами. Я таких в зоосаде видела. Уф... как вы меня напугали!

— Ой, Верочка, неужели вы не видите, что это не просто олень! Это же король-олень! Даже нет, это бог-олень!

— Да по мне хоть черт-олень, не до этого сейчас. Мотя, не морочьте мне голову. У меня такое ощущение, будто вы нарочно увильваете от интересующей меня темы. Зоология же меня интересуется еще меньше, чем ботаника. И я вам уже говорила, что не люблю охоту, в отличие от этой вашей англичанки.

— Откуда вам известно про англичанку? — Беэр резко помрачнел.

— Прочитала... в вашем досье. Простите. Я не должна была... Просто у меня уже сил никаких не осталось терпеть все эти недомолвки.

— Надо же, как глубоко они копают.

— На тех, кого считают шпионами, копают и глубже. А на вас собирал материалы еще сам Блюмкин.

— Блюмкин?

— Не делайте вид, что не знаете, кто это. Вы с ним встречались как минимум дважды.

— Я и не делаю, а пытаюсь вспомнить. Я же своего досье не читал в отличие от вас. А на какую разведку я работал, позвольте спросить?

— Они считают, что на военную британскую.

— Ну, разумеется, как и все выпускники Оксбриджа, — Беэр саркастически усмехнулся.

— А вы — нет?

— Весьма условно. Я выполнял для них кое-какие работы по криптографии, но в штате никогда не состоял. Да и было это давным-давно.

— У них другие сведения. Вас считают действующим агентом. И сейчас вы работаете на...

— ...на меня, — сказал неожиданно появившийся Шоно. — Простите, что вмешиваюсь в вашу беседу, коей свидетелем сделался я невольно по причине старческой бессонницы, — он уселся, скрестив ноги, на мох перед собеседниками, — Посудите сами, дражайшая Вера, ну чем таким могла соблазнить нашего титана государственная служба, коли он избыточно богат — ведь он умудрился удесятерить доставшееся от родителя наследство — и к тому же невероятно своенравен?

— Я не знаю, может быть — общественным положением? Какой-нибудь особый статус, орден, титул, наконец...

— Что они могут мне предложить? Орден Бани? Баронство? — Беэр по-моржовьи фыркнул, — Это так мелко! Вы, право, держите меня за какого-то тщеславного Портоса и чрезвычайно этим расстраиваете, так и знайте! — он демонстративно надулся, что не очень то вязалось с весельем его глаз.

Вера проигнорировала эту выходку и обратилась к Шоно:

— Чего ж такого вы наобещали вашему столь привередливому другу, что сумели завербовать? Теряюсь в догадках.

— Я обещал Беэру поделиться властью над миром, когда захвачу ее с помощью открывшейся мне древней магии, — напыщенным тоном ответил Шоно.

— О, Господи!

Беэр неприлично захрюкал, и Шоно посмотрел на него укоризненно, затем перевел взгляд на Веру:

— Верочка, милая, признайтесь, вас ведь частенько посещает мысль, что наша троица — компания опасных маниаков?

— Вернее сказать, она меня в последнее время не покидает. Разве что на те моменты, когда я более склонна считать безумной себя, а вас — жестокосердными клоунами. Впрочем, обе этих мысли прекрасно уживаются в моей бедной голове.

— И правильно! Никакую возможность не стоит сбрасывать со счетов. Однако, дабы дальнейший разговор наш имел смысл, давайте предположим все-таки, что мы не умалишенные!

— Давайте!

— Прекрасно! — Шоно повернулся к другу: — Ступай-ка, составь Марти компанию, мальчик мой! До наступления темноты есть еще пара часов, а ночью ты нужен мне бодрым и свежим.

— Слушаю и повинуюсь, о повелитель! — Беэр встал и с ужасающим хрустом потянулся. — Будешь тереть лампу — три посильнее, иначе не разбудишь.

— Ты ведь согласишься мне продолжить твой проникновенный спич?

— Кому же доверять, как не тебе, златоустому? Верочка, позвольте откланяться — я и впрямь не спал уже двое суток.

Когда он удалился, Шоно некоторое время молча жевал сосновую хвоинку, а потом спросил:

— Что вы думаете по поводу услышанной истории?

— По правде сказать, я с гимназических лет с историей не в ладах. Все эти имена и даты наводят на меня тоску, хотя память на них имею цепкую.

— Это вы по молодости. История без дат и имен ведь превращается в сказку: давным-давно в тридевятом царстве жил-был царь... А для нас, стариков, прелесть сказок как раз и заключается в этих мелких деталях. Сюжеты-то их все давно не новы. Вот и наша — это старая, как мир, история о погоне за чудом, исключительная

лишь тем, что каждый в нее посвященный неизбежно становится ее участником.

— Я пока что не чувствую себя посвященной, при том что участвую уже, кажется, в полной мере.

— Отнюдь не в полной, а ровно в той же, в какой посвящены. Вы вовлечены и подготовлены, но на вас еще нет ответственности за происходящее. Узнав все, вы разделите ее с нами. Сейчас же вы еще можете уйти в сторону.

— В этих словах мне слышится какая-то угроза? Кто помешает мне уйти потом? Вы?

— Сама история не отпустит вас. Я сознаю, что это звучит по меньшей мере странно, но поверьте, что так оно и будет. Итак, каким будет ваше решение?

— Ну, разумеется, я с вами. Куда я уйду... выбора особого у меня все равно нет.

— У вас есть хотя бы его видимость, — Шоно грустно улыбнулся, — Нас с Марти попросту затянуло, словно водоворотом.

— А Беэра?

— О, тут совсем другое! Как вы верно заметили, он — прирожденный авантюрист и искатель приключений...

— Вы и это слышали? Однако...

— Простите великодушно, но у меня все чувства обострены от рождения. Такой, знаете ли, курьез натуре. Но не извольте волноваться! Как писали в романах времен моей молодости, «на устах моих — печать молчания».

— Пустое! Так что Беэр?

— Он сам делает свою судьбу, а она ведет его, куда ему надо. Он — единственный здесь волонтер.

— Вы же говорили, что он работает на вас! Или это была очередная шутка?

— Помните наш разговор в авто? Про монархов и прочее? Так вот, в отношении меня это правда — я действительно вот уже многие годы возглавляю борьбу за секуляризацию и независимость Тибета.

Беэр же по велению широкой и бескорыстной — здесь я серьезен, как никогда — души примкнул к нашему движению и оказал неоценимую помощь в различных вопросах, связанных с... так скажем — получением информации.

— Иными словами — был вашим шпионом?

— Говоря по-русски, я, как и ваши бывшие коллеги, предпочитаю слово «разведчик». Но принципиально вы правы.

— Скажите, это как-то касается вашего... нашего нынешнего предприятия?

— Ни в коей мере! Для меня это нынешнее началось много позже того, а для Беэра — раньше. Мы познакомились с ним в библиотеке Берлинского университета очень забавно — схватившись за одну и ту же книгу на полке. Для этого мне пришлось встать на цыпочки. Гигант и карлик. Смешное должно было быть зрелище...

— И вовсе вы не карлик.

— Рядом с ним — все мы карлики. И не только в смысле роста.

— И даже Марти?

— Марти — это случай особый. Как простой человек он не дотягивается пока что до уровня Беэра, но Мартина нельзя мерить тем же аршином, что и всех. В нем заложен некий потенциал... Нет, лучше поговорим об этом позже. Сейчас получится невнятно и путано. Лучше пойдем по порядку. Вас же интересует наша мотивация... — Шоно посмотрел поверх деревьев в розовеющее небо, глубоко вдохнул и спросил: — Вот вы — верите в волшебство?

— Нет, разумеется.

— Хорошо, а в чудеса?

— Никогда не видала, к сожалению. Нет, в чудеса я тоже не верю.

— А раньше верили? Вот когда впервые увидели, как фокусник вытаскивает из своего только что расплавленного *шапо-кляк* настоящего зайца — неужели и тогда не верили?

— Верила, конечно. Но я уже давно не наивное дитя.

— То есть вам объяснили, *как* это делается, и ощущение чуда моментально исчезло?

— Я не помню, но, вероятнее всего, так и было.

— Значит, все дело именно в объяснении, а чудо по определению — это нечто необъяснимое.

— Наверное, да.

— Ну, а теперь вообразите, что перед взрослым и ребенком одновременно достают кроликов из своих цилиндров два волшебника, при этом один из них *на самом деле* достает кролика из обычной шляпы, которая секунду назад была пуста, а другой — из потайного кармана или откуда там они их обычно достают. Ребенок будет уверен, что увидел настоящее волшебство, а взрослый — в том, что это был всего лишь фокус. Кто из них более близок к истине?

— По-моему, они равноудалены. Хотя нет! Взрослый ближе, потому что ведь первый волшебник делает то же самое, что и второй, только каким-то другим способом. Нам его секрет неизвестен, но самому-то фокуснику — да, ведь так?

— А если нет? Помнится, в первую нашу встречу речь зашла об электричестве, которым пользуются почти все, не имея ни малейшего понятия о том, что оно собою представляет. Так почему тот же волшебник не может применять в своих трюках неведомые ему силы, если он эмпирическим путем этому научился? Но, как бы то ни было, вы выбрали правильный ракурс — ведь все дело действительно в методике. Кто такие ученые? Разрушители чудес. С непосредственностью ребенка, ломающего музыкальную шкатулку, дабы посмотреть, как та устроена, они спешат вскрыть и уяснить любой природный механизм. А затем, развенчав очередное чудо, тотчас создают его подобие из подручных материалов. То же самое относится и к художникам в широком смысле этого слова.

— Понимаю. Мимесис. Как сказал Сенека: *Omnis ars imitatio est naturae*¹.

— И был безусловно прав. Конечно, в сравнении с природой получается покуда плохонько, однако даже эти поделки способны привести в священный трепет какого-нибудь дикого туземца. Но занятнее всего то, что всегда найдется один туземец, который попытается в меру способностей и воображения симитировать, к примеру, увиденный им аэроплан. Вот эта необъяснимая, а оттого наводящая на мысль о своем чудесном происхождении склонность к подражанию, свойственная, кстати, также птицам и приматам, и движет нами — учеными, артистами, престижджигаторами. Только она да врожденное любопытство. Жажда власти, денег, славы — все это безыскусные погремушки в наших глазах. Нам хочется *настоящих* волшебных игрушек! И когда кому-нибудь из нас выпадает наткнуться на что-то никем не виданное, он не знает покоя до тех пор, пока не доищется до сути явления или хотя бы не создаст его подобие.

— Например, самолет, который очень похож на настоящий, да только не летает?

— Пусть бы и так! Ведь вполне возможно, что эта машина принесет какую-то пользу. Допустим, некогда люди стали свидетелями истинных чудес, а в результате появились фокусники, чьи хитроумные изобретения очень продвинули механику и оптику, и алхимики, коим мы обязаны всеми достижениями современной химии...

— Все это замечательно, прекрасно и возвышенно, но слишком неконкретно и расплывчато. Вы говорите — допустим. А на каком, собственно, основании? Кто их видел, эти чудеса, где доказательства?

— Так ведь в том-то и дело, что никто не видел и нигде нет никаких доказательств! Все эти левитации, трансмутации, оживления покойников и вообще превращения неживого в живое на поверку

¹ Всякое искусство есть подражание природе (*лат.*).

всегда оказываются фикцией, но! Это вовсе не означает, что настоящее чудо невозможно! Просто, все большее количество исследователей, обнаружив очередную подделку, опускают руки и становятся скептиками. Но нам, кажется, повезло...

— Кажется? По русской традиции в таких случаях советуют перекреститься.

— Будет надо — и перекрестимся, и через плечо поплюем, и по дереву постучим. Нет людей суевернее ученых...

— Я это уже сегодня слышала.

— ...поэтому я и говорю — кажется, хотя все говорит за то, что нам и впрямь несказанно повезло столкнуться с чудом взаправдашним, самым что ни на есть. Более того, именно теперь мы обладаем всем необходимым для его воспроизведения.

— Кроме подходящей обстановки. Трудно, должно быть, заниматься чудотворчеством, когда за тобой гонятся вооруженные люди с дурными намерениями.

— Кудесники и волхвы во все времена подвергались преследованиям. Помните, мы разговаривали о тайнах? Я тогда еще упомянул особую породу охотников до чужих секретов. Они, подобно акулам, чующим кровь за версту, улавливают слабейший аромат тайны. Как правило, это не слишком умные люди, движимые примитивными чувствами. Таких бывает нетрудно обмануть и отвадить. Но иногда среди них встречаются чрезвычайно ловкие и хитроумные субъекты, и вот эти чрезвычайно опасны. Абсурдность же ситуации состоит в том, что никакого проку им с нашей тайны не будет.

— Отчего же?

— Да оттого, что речь идет не о сокровищах, философском камне или эликсире бессмертия! Чудо, которое мы намерены совершить, не принесет нам никакой личной выгоды, кроме удовлетворения исследовательского азарта и, уж простите за патетику, гуманистических наклонностей.

— Я, кажется, догадалась! Вы собираетесь исправить весь род человеческий!

— Именно, причем без малейшей иронии. Ирония хороша для прикрытия небольших слабостей, а человечество — наша большая слабость.

— Надо же, я полагала вас законченными мизантропами!

— Я не вижу здесь никакого противоречия. Нелюбовь ко многим людским проявлениям влечет за собой желание их искоренить. Можно, конечно, подойти к проблеме хирургически и искоренять проявления вместе с людьми, но нам как-то ближе метод терапевтический.

— И каким же образом вы собираетесь исцелить человечество?

— Мы будем счастливы, если нам удастся его хотя бы чуточку улучшить. Впрочем, у нас есть все шансы не дожить до результатов. А ответ на свой вопрос вы получите, дослушав до конца невероятную историю, собранную нами по крохам из самых разных источников. Вы готовы?

— Сделайте одолжение! Итак?

— Итак... О Хизкии, про которого рассказал вам Беэр, известно, что у него родился сын Элизер. Вы помните, кто такой был Марк Лициний Красс?

— Смутно. Это он был триумвиром вместе с Цезарем и Помпеем и разгромил восстание Спартака?

— Совершенно верно. Но в нашей истории он упоминается совсем по другому поводу.

* * *

lomio_de_ama:

По поводу Красса и прелестей перевода. Недавно читаю вполне себе прилично написанную по-русски историческую статью. И вдруг натыкаюсь на следующее лирическое отступление:

Весной 53 г. Ород потребовал объяснения у Красса относительно похода, а на заявление, что ответ будет дан в Селевкии, надменно приказал сказать, что «прежде вырастут волосы» на пальме, показанной послам, чем он увидит Селевкию.

И я даже не о том, что из фразы совершенно неясно, кто на ком стоял. Но ты же помнишь, что царский посол показал Крассу при этом на самом деле.

8note:

Свой Palm Pilot?

Жабры! А вот интересно, вдруг выражение «волосатая ладонь» уже в те поры обозначало взяточника? И парфянин просто намекал, что готов устроить Крассу визит в столицу за приличный бакшиш?

28 января 1161 года
Константинополь

— Паче честолюбия Красс отличался неутолимою страстью к золу. Ничем не брезговал он ради получения выгоды и готов был даже на святотатство. И вот по пути в Парфию, где тоже намеревался захватить богатые трофеи, не упустил случая наложить руку на сокровищницу Иерусалимского храма, кою, замечу, благоразумно не тронул Помпей, захвативший город десятилетиями ранее, хотя и он осквернил Свята Святых, войдя в нее. Тем и была предопределена печальная участь последнего — через пятнадцать лет он пал от меча бывшего подчиненного, — Соломон прервал свою речь, чтобы глотнуть воды.

Дэвадан с трудом сдержал смешок:

— Видимо, он получил такую долгую отсрочку за то, что не позарился на достояние храма.

Рабби сделал вид, что не ловил иронии:

— Именно так! Красс же сей поплатился за свое злодеяние на следующий год. Говорят, парфяне залили рот его отрубленной голове расплавленным золотом и играли ею в шары. Но я затем лишь упомянул его недостойное памяти имя, что хранителем сокровищницы Храма, изо всех сил пытавшимся — увы, безуспешно — не допустить ее разорения римлянами, был никто иной, как сын Хизкии, Элиэзер.

Так бывает — сидишь в первом ряду, глядишь на сцену, видишь все на примы, аплодируешь в нужных местах, но основное внимание отчего-то более всего притягивает развязавшаяся лента на туфле кордебалетной девочки — ох, как бы не запнулась! — или выглядывающий из-за кулис красавчик-премьер — интересно, имеет смысл познакомиться или он тоже из «этих»? Вот и тогда — слушала, кивала, запоминала, а думала при этом совершенно о другом.

Поняла — наконец! — в чем причина безотчетного страха перед Шоно — на его лице совершенно не было морщин — не лицо, а непроницаемая — для меня — личина. Ничего, что свидетельствовало бы о возрасте, жизненном опыте, слабостях, страстях — ничего из того, что умею хорошо читать. Мимика же его — при всей живости — была столь неординарна и неожиданна, что казалось, будто он старается оживить свой лик только потому, что знает — у людей так положено — но не очень знает, как именно, и оттого выбирает выражение совершенно случайным образом. Хотя, возможно, причиной моей — уже не неприязни, но все еще неспособности принять его близко к сердцу — была попросту дремучая ревность — ведь он был ближе к Марти, на тысячу лет ближе меня! Так, верно, христиане ревновали иудеев к их общему Богу... Впрочем, отчего не испытывала ничего подобного в отношении Моти? Оттого ли, что на него Марти не смотрел такими глазами?

Между тем Мотя был мужчиной того редкого типа, что меня всегда будоражил и притягивал — в той жизни. Надежный, обаятельный, остроумный, воинственный, щедрый, и при всем этом — искренне простой и прочный человек с какой-то детской ясностью в душе. Меня пленяло в нем сочетание проявлений первобытной мощи и высочайшей образованности — равно маскируемых невинным бахвальством или насмешками над всем и вся, и в первую голову — над самим собой. Оттого был столь естественен образ ученого медведя, который он создавал — медведя из волшебной сказки, а не из цирка, разумеется — цирковых мне всегда было жаль. А в отличие от большинства женщин — особенно русских — жаление для меня исключало желание. Ощущать влечение после сострадания не могла, а поскольку почти все мужчины рано или поздно пытаются найти в женщине мать и утешительницу, почти все же мои влюбленности оканчивались торопливой кодой — скомканной, как слишком маленькие чаевые в приличном ресторане. Неудивительно, что я была и плохой матерью, и никудышной женой.

Но с Марти все это мое прежнее не имело никакого значения. С ним — была готова на все — восхищаться, защищать, благоговеть, терпеть, служить, и только на то, чтоб сдохнуть — если без него. Чисто пригретая собачонка.

Слушала складный рассказ Шоно о каких-то древних евреях, в полной мере испытывая то самое чувство богооставленности, о которой толковал Дэвадан. Как там было: *Ελωι ελωι λεμα σαβαχθави*?¹ А Марти спал...

* * *

Мартин не спит, пытаюсь справиться с самой трудной задачей в своей жизни. Решение задачи известно, трудность же состоит в том, чтобы это решение принять. Более всего Мартину хочется быть сейчас с Верой, но это абсолютно невозможно. Ей не должно достаться ни капли из чаши, предназначенной ему.

* * *

13 апреля 1204 года
Константинополь

— Почтенному Элизеру, сыну Хизкии, достигшему волею судеб весьма высокого положения при Храме, Господь даровал пятерых детей, но речь пойдет лишь о единственном сыне, родившемся, когда отцу было уже сорок — в год гибели Красса. Его называли Абба. Имя это произносится почти точно так же, как слово, означающее на арамейском «отец», хотя и пишется на одну букву иначе — *alef-beth-hey* — вот как у тебя тут, —

¹ Господи, Господи, зачем Ты меня покинул? (греческая транскрипция последних слов Иисуса Христа, произнесенных по-арамейски).

Дэвадан показал пальцем точно в середину Марковой груди, будто то была его собственная, — и вследствие этого взаимные обращения отца и сына друг к другу звучали одинаково.

Младенчество Аббы пришлось на смутное время. Иудея, на те поры уж десять лет, как утратившая независимость и превратившаяся в римскую провинцию, управлялась племянником упомянутого ранее Аристобула — Гирканом Вторым, человеком излишне мягким и вялым, отчего поначалу он был оттеснен от кормила своим деятельным младшим братом Аристобулом Вторым. В последовавшей междоусобице Гиркан взял верх, отдавши страну — и жизнь брата — римлянам, а бразды правления народом — своему другу и советнику идумеянину¹ Антипатру. Этот Антипатр потихоньку прибрал к рукам всю власть и, хоть был иудеем лишь во втором или третьем поколении, ухитрился положить на могилу рода Хасмонеев надгробный камень, ставший краеугольным для новой династии — сын Антипатра Ирод в скором времени стал царем иудейским — вопреки закону — он ведь не был из рода Давидова — впрочем, и потомки маккавеев в глазах народа тоже не обладали безоговорочным правом на престол. Конец же сих последних был бесславным — Аристобула Второго отравили сторонники Помпея, старшего его сына Александра обезглавили по приказу Сципиона, а младший сын Антигон пребывал в изгнании. Пытаясь переломить свою жалкую судьбу, он искал участия у Юлия Цезаря, но тот благоволил Гиркану и Антипатру, оказавшим ему неоценимые услуги. Однако Антигон, известный в своем народе как Маттатия бен Иуда, не пал духом и стал выжидать. И вот в правление Марка Антония, когда парфяне, воспользовавшись беспечностью увлекшегося Клеопатрою императора, захватили Сирию, Антигон решил, что настал его час. Обещав парфянам богатую добычу,

¹ Идумеяне — соседний с иудеями народ, насильно обращенный при Хасмонеех в иудаизм.

он заручился их поддержкой и вскоре захватил Иерусалим. Парфянам удалось пленить Гиркана, но его соправитель Ирод сумел ускользнуть и бросился искать помощи у римлян, каковая ему была оказана. Между ним и Антигоном завязалась кровавая распря.

Прошедшее время похоже на пыль — к древности спрессовывается в камень. Настоящее — острее всего чувствуется, когда глядишь на закат. Будущее существует лишь в грамматике.

* * *

38 год до нашей эры
Иерусалим

Аббе тогда исполнилось тринадцать. Он уже был *bar-mitzva* — сыном Заповеди — и усердно готовился к храмовому служению по примеру отца.

На следующий день после того, как парфяне захватили Иерусалим и провозгласили Антигона Маттатию царем и первосвященником, Элиезер, не говоря ни слова, отвел сына к деду и оставил их наедине.

Хизкия, подслеповато щурясь, так долго рассматривал Аббу, что мальчик не выдержал:

— Это я, дедушка!

— А я уж было подумал — ангел смерти, — старик усмехнулся, выпростал из-под покрывала, сухую и скрученную, как корень оливы, руку и, ухвативши внука за полу хитона, притянул к себе. Усадил на край ложа, потрепал по золотой голове, вздохнул: — Смотрел я на тебя, а видел себя самого много лет тому назад...

Хизкия замолчал, а внук степенно кивнул:

— Понимаю. Ай! — дед сильно дернул его за ухо:

— Что ты там себе понимаешь?

— Э... Что похож на тебя...

— Я в твоём возрасте никогда не перебивал старших! Похож, конечно, ты же мой внук, — Хизкия снова погладил его по кудряшкам, — но не о том речь. Шестьдесят лет назад все было точно так же — древний старик говорил с цветущим юношей о самом важном в его жизни... И только сейчас я осознал, что все эти годы, всю эту долгую жизнь я прожил одной лишь надеждой на то, что это важное произойдет. И вот на пороге смерти — сбывлось! Предвечный в благости своей сжалился надо мной, продлив годы мои до сего счастливого дня! Кто бы мог подумать, что Маттатия все же станет царем?

Старец снял руку с головы внука, чтобы утереть застезившийся глаз, и мальчишка, осмелев, спросил:

— Но что ж тут хорошего, что он стал царем, дедушка? Отец сказал, что Антigon — разбойник и у-зурпатор почище покойного папаши. Говорят, он вчера откусил своему дяде ухо, чтоб тот больше не мог быть первосвященником! А еще отец сказал, что добра от всего этого не жди, и...

— Твой отец не знает того, что знает твой дед! Я хотел было рассказать это тебе. Но ты вновь перебил меня, и я засомневался — можно ли доверять великую тайну столь непочтительному и своевольному мальчишке!

От перспективы узнать настоящую *взрослую* тайну, о которой неведомо даже отцу, у Аббы занялся дух. Он умоляюще сложил руки у груди и вскричал наизялостнейшим голосом:

— Ой, прости, прости, дедуля! — потом подумал, что ведет себя несолидно, и смешался.

Но дед, питавший к единственному внуку понятную слабость, сердился единственно для того, чтобы скрыть волнение:

— Ну, так молчи и слушай! Чтобы понять, что Маттатия, — старик упорно не желал называть нового царя греческим именем, — принесет много бедствий народу, не нужно быть гением. Одно хорошо — долго ему

не править. Мне было предсказано одним ессеем, что последнего царя из Хасмонеев будут звать Маттатией, и умрет он позорной смертью не более чем через три года от восшествия на престол. А из семени человека, который предаст земле его останки, родится Мессия. И человек сей будет моим потомком. Ты понял?

— Не совсем. А кто будет этот человек?

— Да ты же, дурачок! Ты похоронишь Маттатию и станешь отцом истинного Царя иудейского!

— Ух ты! — Абба даже зажмурился от восторга, однако в следующее мгновение встревожился: — Но я же из коэнов! Ты сам говоришь: род наш — от Аарона! Как я могу прикоснуться к покойнику?

— Придется оскверниться. Сам подумай — на кону спасение народа! Да что там — всего мира! Что тут твоя чистота? Да и храм земной уже не понадобится, ибо сказано, что будет храм в сердце каждого, и будет сердце каждого храмом — по пришествии Мессии! Кому тогда понадобятся священники? Понимаешь?

— Кажется... Но не очень. А что мне теперь делать? И как у меня получится его похоронить?

— Перво-наперво, ты должен стать ближайшим к нему человеком, его наперником, его тенью. У тебя есть все, что для того нужно: ты родовит, и смыслен, и красив. Со своей стороны я помогу, чем смогу — у меня еще остались кое-какие связи.

— А отец? Он ведь за Гиркана. Ну, то есть, против Антигона... Говорит, что тот навлечет на народ еще пуще бедствия. Да и в Храме теперь новые люди, того и гляди отца сместят с должности.

— Не сместят. И чинить тебе препятствия он не станет, когда я посвящу его в подробности.

— Но почему только теперь, дедушка? Зачем ты раньше ему ничего не рассказывал?

— Затем, что это было ни к чему. Хотя бы до сих пор он, в отличие от меня, жил спокойно. Теперь же, когда предсказанное начало сбываться, настало время ему узнать, *что* он столь ревностно хранил все эти годы.

- Как — что? Сокровища Храма.
- А что такое, по-твоему, сокровища?
- Ну... Золото, драгоценности, завесы из виссона...
- Глупости! Золото, драгоценности — это все пустое! Металл и камни! — старик разгорячился, — Сколько раз язычники грабили Храм — и что? Он снова и снова, хвала Всевышнему, обретал былой блеск и величие. Но главное сокровище в нем вовсе не это!
- А что же?
- Ты это скоро узнаешь, мой мальчик. Теперь уже скоро. Мы с твоим отцом должны все хорошенько обдумать. Ступай пока и помни: пусть даже небо упадет на землю, но ты должен быть рядом с царем до последнего и во что бы то ни стало погresti его останки по обычаю!
- Я обещаю, дедушка! Но...
- Что?
- Почему ты так уверен, что этот твой эссе не ошибся?
- Потому что иначе моя жизнь потеряла бы всякий смысл. Понял?

* * *

ночь на 2 сентября 1939 года
Роминтенская пуща

Мартин подошел, шагая беззвучно, но Шоно, кажется, был способен услышать даже биение крыльев бабочки:

— Ты очень кстати, мой мальчик. Будет правильно, если следующую часть истории расскажешь ты. А я пойду будить Беэра.

— Желаю удачи! Не приближайся к нему слева!

— Ничего, я хорошо уворачиваюсь.

Он удалился, притворно побряхтывая. Вера и Мартин некоторое время неловко молчали, точно жених

и невеста, впервые оставленные наедине. Затем она виновато вздохнула, подвинулась к нему, обхватила руку:

— Ты злишься на меня?

— Бог мой, да за что же мне на тебя злиться?

— Если б не я, вы бы плыли сейчас на пароходе в Америку.

— Не бывает никакого «если бы». И злюсь я не на тебя, а на себя. За свою слабость. Но давай, пожалуйста, не будем говорить об этом!

— Как скажешь, любимый. Давай будем говорить о древних. Что там дальше случилось с этим Аббой?

— Известно, что после трех лет непрерывных сражений Антигон проиграл Ироду вчистую — его ставка на парфян оказалась фатальной ошибкой. По взятии Иерусалима Ирод добился от Антония того, чтобы свергнутый царь был обезглавлен топором — до тех пор римляне никогда не казнили плененных монархов таким позорным способом. Произошло это в Антиохии, куда Антигона доставили в цепях, ибо изначально Антоний предполагал использовать его для своего триумфа в Риме. Захваченного же вместе с царем Аббу ввиду малолетства всего лишь жестоко бичевали, а затем продали в рабство в Вавилонию — на шесть лет. Но и по прошествии этого срока возвращение на родину Аббе было заказано под страхом смерти — навсегда. Вавилония — напомним — была частью парфянского царства.

— Как так? Продали в рабство — врагам?

— Не совсем. Продали тамошним иудеям, с которыми Ирод, в отличие от тех, что были ему подвластны, всегда прекрасно ладил. По закону еврея можно было продать только единоверцу и не более, чем на шесть лет.

— Как гуманно! И часто такое практиковалось?

— Нередко. Как правило — за долги. Отношение к долговым обязательствам было весьма и весьма серьезным. Клочком пергамента человека можно было заставить себе служить, словно голема. Поэтому люди брали займы только в самых крайних случаях.

— Разве сегодня что-то изменилось?

— Нынешняя Ойкумена неизмеримо шире. В те времена изгнание — добровольное или вынужденное — зачастую означало гибель или неволю. Мало кто мог решиться на бегство.

— А что же, выкупить мальчика из рабства было нельзя? Он ведь, как я поняла, был из обеспеченной семьи.

— Отец Аббы Элизер ради того, чтобы приблизить сына к царю, сам сделался сподвижником последнего — и был казнен Иродом в числе сорока пяти главных сторонников Антигона. Разумеется, он предвидел такой финал и сознательно пошел на жертву. Также он предвидел, что все его имущество отойдет к Ироду и Антонию, поэтому кое-что успел спрятать — и не только деньги, но старый Хизкия к тому времени уже опочил, а самому Аббе возможность добраться до тайника в южном предместье Иерусалима представилась только через четверть века.

— А что изменилось? Он был амнистирован?

— О нет, Ирод никого не прощал. И пока он был жив, ходу Аббе на родину не было. Но в том году — двенадцатом до нашей эры — Ирода вызвал к себе Октавиан Август для расследования многочисленных исков и жалоб, поступавших от иудеев на высочайшее имя, и вскоре по стране пролетел слух о том, что Ирод мертв. Это совпало по времени с восстанием в Трахоне — одной из подаренных Ироду Августом провинций, лежащей как раз на границе с Парфией. Едва прослышав об этом, Абба — к тому времени свободный сорокалетний купец, неоднократно доходивший с караванами до Китая, то есть, человек бывалый и знающий цену риску — бросил дела и устремился через Трахон в Антиохию, взяв с собою молодую жену на сносях.

— А это-то зачем? Такая обуза в опасном предприятии...

— На то могло быть несколько причин, в том числе — пожелание самой Мириам...

— Так ее звали Мириам?

— Да. Ее впоследствии прозвали Мириам-парфянка — по месту рождения. О ней известно, что она происходила из тех левитов, что не вернулись в Землю Обетованную после вавилонского плена. Так вот, у меня есть основания полагать, что она попросту не отпустила мужа одного. Например, мотивировав это тем, что человек, путешествующий с женой, куда менее подозрителен, нежели одиночка.

— С беременной женой!

— Ну, в начале пути это было еще совсем не заметно.

— Предположим. Но объясни мне, пожалуйста, вот какую вещь: что мешало Аббе отправиться в путь несколькими годами ранее? Я вообще слабо представляю себе античные реалии, но тогда же не было удостоверений личности с фотографическим портретом, пограничных кордонов, виз и всего такого? Почему он не мог назваться каким угодно именем? Да и кто узнал бы его? Можно подумать, у каждого стражника был с собой список всех изгнанников!

— У каждого, разумеется, не было. Как не было паспортов и виз. Но система распознавания чужаков и м-м... идентификации существовала и работала вполне успешно. Я уже говорил, что пределы обозримого мира были несравненно уже нынешних, и людей, его населявших, было, вероятно, порядка на два меньше, чем теперь. В те времена назваться чужим именем значило подвергнуться страшной опасности — был очень велик шанс случайно встретить знакомого, а любой стражник при малейшем подозрении мог учинить очную ставку, и уличенный в подлоге человек был бы обречен, поскольку сокрытие имени априорно трактовалось как признак злоумышления. Ведь доброе имя было едва ли не главным достоянием индивида. И, наконец, свободные люди в те поры относились к своим именам с куда большим трепетом, чем мы — из соображений метафизического толка.

— Допустим, все так. Но это не отменяет моего первого вопроса: почему твой предок — ведь он твой предок, верно? — выбрал именно этот момент, чтобы тронуться в путь?

— Во-первых, в Трахоне, где поднялась смута, существовала довольно большая община недавних переселенцев из Вавилонии, которых поместил там благоволивший к ним Ирод. Абба справедливо рассчитывал, что при необходимости он сможет сказаться спасающимся от резни беженцем из их числа. Во-вторых, он к этому моменту сумел накопить некоторую сумму, позволившую ему предпринять путешествие. Ему ведь нужно было добраться до Антиохии, разыскать там останки Антигона, выкрасть их и перевезти в Иерусалим. На это, кстати, ушли все его средства, поэтому за склеп для захоронения Аббе пришлось выдать долговую расписку в расчете на спрятанный отцом клад.

— Постой-постой! В городе появляется никому не известный человек и вот так запросто получает ссуду? И это при том, что он — не почтенный негоциант с поручительными письмами, а фактически нелегальный иммигрант! Я не могу в это поверить.

— А почему ты решила, что у него не было писем? У Аббы были и письма, и связи среди иудейских купцов, активно торговавших с вавилонянами. Более того, он состоял в тайных сношениях с антииродиански настроенными членами Синедриона, которые помнили и Элиезера, и Хизкию. К тому времени, когда Абба прибыл в Иерусалим и исполнил свою миссию, слухи о смерти Ирода столь умножились, что кончина ненавистного царя воспринималась многими уже как достоверный факт. В созвездии Льва — а Лев был символом Иудеи — в конце лета заметили яркую хвостатую звезду, приближавшуюся к звезде Мелех, то есть «царь» по-еврейски — сегодня-то мы знаем, что это была просто комета Галлея, которая появляется на небе каждые семьдесят шесть с небольшим лет, а тогда она

была воспринята как непреложное свидетельство скорого пришествия нового монарха. В народе вновь окрепли мессианские чаяния, надежды на возвращение трона Хасмонеям. В такой обстановке Аббе несложно было найти сочувствующих даже среди знатных людей. Он настолько уверовал в то, что вскорости будет восстановлен в правах, что велел выбить на каменном оссуарии Антигона буквально следующее:

я Абба сын коэна

Элиезера сына Аарона Великого

я Абба преследуемый мученик,

что родился в Иерусалиме и был изгнан в Вавилон

и поднял Маттатию сына Иуды и похоронил его

в склепе, что купил за вексель

«Поднял» в контексте означает «привез в Землю обетованную». Поскольку она для иудеев — вершина мира, в нее можно только подняться. Сын Аарона Великого здесь значит «потомок».

— Потрясающе! Какая лапидарность — в прямом смысле этого слова!

— О, да! С одной стороны он из осторожности не пишет, что похоронил царский прах, с другой дает понять, что дело было великой важности, раз уж он — коэн — пошел на такое — ведь коэнам нельзя не то, что прикасаться к мертвым, но даже ступать на кладбищенскую землю, а также счел нужным влезть в долги, что также среди священнослужителей было не принято.

— Однако тщеславия ему было не занимать!

— Думаю, ты не права. Он, конечно же, был горд своим подвигом — и по праву, но поместил запись о нем в более чем укромном месте — в какой-то пещере на холме к северу от Иерусалима. Быть может, когда-нибудь археологи найдут саркофаг и станут строить догадки и предположения и, вполне вероятно, даже догадаются о том, что речь идет об Антигоне Втором. Но вряд ли Абба в тот момент думал о вечности. Гораздо вероятнее, что он таким образом задокументировал свое деяние на тот случай, если к власти вернутся

Хасмонеи. Тогда, предъявив могилу родственника, он был бы ими заслуженно возвышен. Но этой его надежде сбыться было не суждено — в конце сентября живой и невредимый Ирод вернулся из Рима и принялся наводить порядок в государстве железной рукой. Первым делом он лично отправился подавлять трахонитский мятеж.

— А что Абба?

— Он узнал о возвращении царя от людей, покидающих столицу в страхе перед новыми репрессиями. Отыскать отцовский клад оказалось вовсе не так легко, как он предполагал — описание места, которое он помнил наизусть, как граф Монте-Кристо, было очень подробным, да только за двадцать пять лет на нем произошли кое-какие изменения — пастухи облюбовали его для стоянок при перегонах скота в Иерусалим. Поэтому Абба вынужден был грызть в отчаянии бороду, выжидая, пока очередное стадо не покинет заветную рощу.

— А где была его жена?

— Гостила у одного немолодого ессея по имени Йосеф — некоторые ессеи по каким-то причинам селились в городах отдельно от общины. Этот Йосеф-лекарь был близко знаком с Хизкией, и именно ему тот завещал позаботиться о внуке. Но получилось так, что позаботиться пришлось о правнуке. Абба сумел откопать клад и перенести в дом к Йосефу, однако на следующий день был схвачен во время тайного совещания планировавших вооруженное восстание в Иудее заговорщиков, один из которых предпочел этому более чем рискованному предприятию предательство. Главным несчастьем Аббы стало то, что он опрометчиво сообщил сподвижникам о скором рождении Мессии и своей роли в грядущем событии. Это, разумеется, дошло до Ирода.

— Боже мой, какая легкомысленность! Теперь я представляю себе, насколько его распирало от гордости! Но что же Ирод? Неужели он принял это всерьез?

— Дело в том, что он знал историю с первым предсказанием Иуды Аристокбулу, а услышав про второе, насторожился, тем более, что оно затрагивало самую болезненную для царя тему.

— Да, я помню. Он не был законным правителем. Но он был трезвым и циничным человеком. Поэтому я и удивилась, что он поверил в эту... в это предсказание.

— Ты до сих пор не чувствуешь себя частью этой истории... А ведь наша с тобой встреча тоже была предсказана.

— Извини, я все никак не привыкну... Хорошо. Итак, Ирод поверил. Зная его репутацию детоубийцы, предположу, что над Мириам и ее будущим ребенком нависла страшная угроза.

— Разумеется. Узнав об аресте Аббы, Йосеф тотчас собрал самое необходимое, усадил Мириам на осла и отправился на юг — к Мертвому морю, возле которого располагалась самая большая ессейская община. Но далеко уйти они не успели — на подходе к Бейтлехему у Мириам отошли воды. Йосеф, будучи опытным лекарем, понял, что довести ее до города невозможно. По счастью, поблизости оказались пастухи. Они отнесли роженицу в свою пещеру, развели огонь, принесли воды и ушли ночевать под открытым небом. Через четыре часа Йосеф принял у Мириам мальчика. Она нарекла его Йеошуа, что значит «Божья помощь».

— Вот как. Я ожидала чего-то в этом роде. Выходит, не плотник, а врач. И не родной отец.

— Он соблюдал безбрачие. Но в целях безопасности сперва фиктивно объявил Мириам своей женой, а потом решил плюнуть на свой целибат и сделал ей шестерых детей.

— А девственность Марии — откуда это пошло?

— В слове «парфянка», написанном по-гречески, первые четыре буквы совпадают со словом «партенос» — девственница, а если учесть, что писцы зачастую прибегали к сокращениям в целях экономии

места и облегчения труда... Евангелисты, скорее всего, понятия не имели об истинном месте рождения Мириам, а волшебная история о непорочном зачатии пришла им очень кстати.

— А теперь на сцене должны появиться восточные цари с дарами?

— Цари? Ах, ты о волхвах... Нет, конечно, царями они не были. Все это — красивая средневековая выдумка. Но в ней есть доля истины.

Часть пятая

*12 год до нашей эры
Вифлеем Иудейский*

Яков бен Азария, владелец Бейтлехемского пундака¹, сидел под смоковницей своей в приятной послеобеденной прострации и, время от времени разлепля сонные веки, поглядывал на большую дорогу. Делал Яков это, скорее, по привычке, а не по надобности — недостатка в постояльцах он не испытывал, особенно теперь, когда среди них было двое таких, что стоят десятка обычных — оба занимали по *отдельной* комнате, платили исправно и, что самое удивительное, совсем никуда не торопились. Стоило ли суетиться, заведев вдалеке приближающегося пешком путника без поклажи? Однако чутье на особых людей, коим Всевышний щедро наделил хозяина гостиницы, заворчалось, заворчалось, словно сторожевая собака спросонья, и он сам того не заметил, как оказался у ворот.

— Благословен всяк приходящий в мой скромный дом! — со всею возможной учтивостью поприветствовал Яков странника. — Зайди и отдохни, добрый человек, а если надо — здесь ты за умеренную цену найдешь самый лучший стол и кров во всем Бейтлехеме!

¹ Постоялый двор (*арам.*).

Говоря эти затертые слова, он жадно разглядывал прищлеца, пытаясь сообразить, что в облике последнего заставило его встрепенуться. Конечно, редко встретишь человека, странствующего налегке вдали от дома — а то, что человек этот был нездешним, Яков знал достоверно, но на своем веку он навидался всякого, даже совершенно нагих путешественников. Обладая недюжинным любопытством, он, тем не менее, придерживался правила: не задавай вопросов, если желаешь знать побольше, а жить — подольше. Посему ограничился беглым осмотром незнакомца, и осмотр сей дал ему богатую пищу для размышлений. Во-первых, путник был совершенно очевидно *переодет*. Объяснить свою уверенность словами Яков бы затруднился, просто его опытный глаз всегда умел отличить крестьянина от разбойника, а простеца от книжника, в какие бы одежды те ни рядились. Например, этот косматый муж в скромном платье городского ремесленника смотрелся бы куда более естественно в пророческом рубище или в белом ессейском облачении. Во-вторых, он пришел по иерусалимской дороге, но вовсе не выглядел как человек, проделавший на своих двоих путь хотя бы в пару парсангов. Было еще и в-третьих, и в-четвертых, но с выводами Яков не спешил. Одно было совершенно ясно — гость имеет причину скрывать свое имя и положение, и спрашивать его о них смысла не имело, да и ни к чему это — лишний раз вынуждать человека лгать.

Человек однако представился сам, и по тому, как он назвал свое имя, Яков понял, что оно — истинное:

— Меня зовут Йосеф бар Гиора. Я — э... садовник из Иерусалима.

«Ага, — подумал гостинщик, — в таком случае, я — казначей Ирода. Видали мы руки садовников. Старик то совсем врать не умеет. Значит, человек порядочный». Любопытство его разыгралось не на шутку. Старик, впрочем, оказался не так уж и прост — уловив мимо-летное выражение лица собеседника, тотчас пояснил:

— В прошлом. Удалился на покой. Вот, присматриваю дом в ваших краях.

Яков покивал головой:

— Да, места у нас славные. Не Галилея, конечно, но для покоя — в самый раз. Присаживайся, прошу, вот здесь в тени! Выпей вина!

Гость уселся на подушки, но от выпивки отказался, попросил простой воды. «*Назір*¹! Не пьет, волос и бороды не стрижет, не завивает, — мелькнула в голове Якова догадка, и он тотчас задал вопрос с тем, чтоб в ней утвердиться:

— А велика ль семья у господина? Я затем спрашиваю, что дома на продажу-то тут имеются, но ведь тебе же не всякий дом подойдет, верно?

— Верно. У меня только жена и сын.

«Вот те и раз! Выходит, что не назир. А ведь я был готов руку дать на отсечение. Правда, слышал я, что ессеи иногда заводят семью. Может, он из таких? Сейчас выясним!» — так подумал Яков, а вслух произнес:

— О, понимаю! В нынешние лихие времена трудно воспитывать сына в столице. Столько языческих соблазнов для молодых людей! Хоть и близко к Храму, да благочестия в тамошнем народе ни на грош. Да и чего ждать при таком-то царе? — Яков проговорил эти рискованные слова совсем тихо, как заединщик. Иосеф же сделал вид, что их не расслышал:

— О, нет, мой сын еще совсем маленький. Вчера родился.

— Да будет он благословен! Но для маленьких детей Иерусалим, говорят, тоже нехорош. Слишком много народу, того и гляди — начнется поветрие какое-нибудь... А еще я слышал... — Яков сделал многозначительную паузу.

— Что ты слышал?

¹ Назорей, букв. «посвященный Богу» — человек, давший обет не употреблять винограда ни в каком виде, не стричься и не прикасаться к умершим.

— Да глупости всякие болтают... Дескать, Ирод только притворяется иудеем, а сам тайно приносит Молоху в жертву младенцев, как в древние времена в Гинноме¹.

— Вот уж действительно глупости.

— Может, и глупости, да только на пустом месте слухи не растут. Не далее как вчера прискакал гонец из Иерусалима, зачитал царский указ: всем семьям, где родился или должен скоро родиться ребенок, немедленно известить о том власти по месту жительства, а коли кому известно станет о таких, что не сообщат, вменяется в обязанность на них доносить. Но ты не бойся, я тебя не выдам, господин мой, не таков я, чтобы способствовать этому выскочке-идумейнину, этому римскому лизоблюду в его черных делах! Мои дед и отец всегда стояли за Хасмонеев.

— Это хорошо, сын мой, это хорошо, — пробормотал Йосеф, погруженный в тревожные думы.

— Я так понимаю, что жену с дитем ты неподалеку оставил — то мудро. Как стемнеет, приводи ко мне — уж я вас укрою надежно.

— А что, много ль у тебя постояльцев?

— О них не беспокойся! Местные жители у меня, само собой, не останавливаются, а приезжие об указе не знают. Да и съедут сегодня трое, а остальные двое тебе не опасны.

— Кто эти?

— Бог знает. Чужаки. Один — египтянин из Александрии, голова бритая, срамно смотреть. Он ее оливковым маслом смазывает, чтоб ярче на солнце блестела, видать. Зовут как-то вроде Атентетыр или Асонсосер, не разобрался. Про себя именую его фараоном. Другой — не пойми кто, то ли перс, то ли индеец, с востока, одним словом. Лицом темен, что твой *кúши*², волос

¹ Глубокий овраг, ограничивающий Иерусалим с запада. По преданию язычники бросали там в огонь младенцев. Отсюда произошло название «геенна огненная».

² Негр (*иср.*).

красный — хной крашенный, не иначе, а имя тоже такое, что и не выговоришь, не упомнишь — «бартрахартра» какая-то, я и не трудился запоминать. Этот у меня — халдей.

— Как же ты с ними ладишь?

— Хорошо лажу. Они хоть и *паганы*¹, но люди честные, тихие, состоятельные, особенно «халдей». По всему видать — во дворце жить ему привычнее, чем в таком убожестве, — на этих словах Яков не без гордости развел руками, показывая свои немалые владения и основательный каменный дом в два этажа. — Говорю с ними по-гречески, когда надо, да немного-то и надо им со мной говорить. Они целыми днями друг с дружкой болтают.

— Так они вместе пришли?

— В том-то и дело, что нет! — гостинщик хлопнул одним махом целый кубок кислого вина, сморщился, заел сахарным фиником. Сам того не заметив, он из расспрашивающего сделался расспрашиваемым. — «Фараон» прибыл с караваном три недели назад, а «халдей» — полторы. Ему сюда надо было, а он по ошибке сперва в галилейский Бейтлехем попал. У меня и познакомились ко взаимной радости. Они ведь за одним и тем же здесь...

— И за чем же?

Яков напустил на себя таинственный вид и даже оглянулся по сторонам для убедительности:

— Да все за тем же... Сперва «фараон» стал допытываться про народившихся в городе младенцев мужского полу. Город наш невелик, все на виду. Я разузнал, что за последний месяц родилось трое — две девочки и один мальчик, но он не выжил. Тогда «фараон» расстроился и говорит: «Неужто я ошибся в расчетах?» Я, конечно, спросил, что он там такое нарассчитывал. А он отвечает рассеянно так, мол, знаю, что у вас читать будущее по звездам запрещено. Ну да, отвечаю, на то пророки имеются. У нас же, говорит — это первейшая

¹ Язычники (*ивр.*).

из премудростей, и я в ней достиг некоторых успехов. И вот звезды мне открыли, что где-то здесь исполнится древнее предсказание и родится царь всего мира. Я, говорит, про это в одной рукописи нашел в Александрийском книгохранилище. Мне занятно стало, как звезды могут точное место указать? А он объяснил, что вся хитрость в том, как их наблюдать. Два пергамена дорогих исчеркал какими-то закорючками, про углы говорил, про то, что ход небесных тел на земле отражается, да я все одно ничего не понял. Кроме того, что где-то тут ходы эти и пересеклись. Правда, сказал он, не совсем тут, а малость посевнее, ну да это, он думает, по... погрешность измерения, потому как в том месте только змеи да скорпионы рождаются. Я, понятное дело, решил, что он с придурью, и думать о том забыл. Как тут является второй, который «халдей» — с караваном богатейшим из страны Син, каких у нас отродясь не хаживало — такие водят все больше вдоль моря, ну или Царской дорогой! Караван ушел себе на Хеврон, а «халдей» у меня остался. И сразу спрашивать — кто тут у вас родился? Ну, думаю, принесло еще одного безумца на мою голову! Никого, говорю, не родилось, кроме двух девочек. Он опечалился и говорит: «Я — царь толкователей снов, а свой собственный сон понять не сумел! Горе мне!», и все такое прочее. Я спрашиваю — что за сон? Снилось мне, отвечает, три ночи подряд, что в доме хлеба рожден будет Сын Света, о котором предрекал Затар... Затра...

— Заратуштра?

— Вот-вот, он самый! И, говорит, бросил я все, что имел — тут он приврал, конечно, потому как немало с собой захватил — и пустился по свету искать дом хлеба. Счастливая звезда моя вела меня на запад и вот остановилась тут — он, вроде бы, как-то так сказал, мудро его греческий понять — и я узнал то место, которое видел во сне. И надо ж такому случиться, что все оказалось зря! Пожалел я его и говорю: не один ты с этим сюда пришел, так что, может, и не ошибся

вовсе, а просто твой этот Сын Света еще не родился покамест. Он как про второго искальца услышал, чуть ума не решился от радости, даже заплясал, будто пьяный на поминках. Веди, кричит, меня к этому достойному человеку, и целый динарий мне в руку сует.

— И что же дальше?

— Вот они вдвоем с тех пор время и коротают. То рисуют что-то, то фигурки резные двигают на клетчатой доске — колдуют, верно, то спорят, то ссорятся — правда, тихо, без тумачков, потом мирятся и музыку играют.

— Музыку?

— Ну да. «Фараон» — на лире, а «халдей» — на свирели. Очень складно выходит, мне нравится.

— Послушай ... Ох, забыл спросить, как зовут тебя!

— Яков к твоим услугам.

— Вот что, Яков. Прими-ка и мой динарий да познакомь меня с этими господами! Я — человек любопытный, а ты уж больно занимательно про них рассказал.

* * *

ночь на 2 сентября 1939 года
Роминтенская пуца

красивая женщина в синем покрывале на золотых волосах подошла и присела рядом и было как-то понятно что она это я хотя и другая лицом и светлая но во сне так часто бывает и не удивляет совершенно когда сон про кого-то другого а вот что увидела себя удивило и подумала еще это к смерти но не испугалась а наоборот успокоилась а она погладила по плечу и ничего не сказала но стало ясно что все понимает как никто никогда не

Проснулась от поцелуя в макушку — теплого и щекотного — сперва даже подумала — отец? Открыла

глаза — словно очутилась в кинозале, когда на экране показывают ночь. Мгновением позже поняла, что ночь и есть. Марти стоял на коленях, положив руки мне на плечи, и смотрел так, будто ждал ответа. Ответила, конечно «да» — хотя и не слышала вопроса. Он кивнул, притянул, прижал к себе — всего-то на пару секунд, помог подняться.

Подле Моти, который с наступлением темноты успел побывать в поселке на берегу озера — он сказал, кажется, Биллену, торчал некто в брезентовом дождевике, мохнатой кепке и рыбацких сапогах — при ближайшем рассмотрении — скелетоподобный человек с треугольными впадинами вместо щек и узко посаженными глазами-дырочками в глубокой тени белесых надбровий — и впрямь, Харон Хароном — впрочем, в лунном свете все выглядят несколько потусторонне. «Идемтихобыстро!» — бросил по-немецки с неявным акцентом, не дожидаясь, пока надену рюкзак, развернулся и резко пошагал по одному ему заметной тропинке. Мотя лишь развел руками и извиняющимся тоном бормотнул, когда поравнялась с ним: «Не в духе. Говорит — война началась, рискуем сильно. Плату двойную взял...»

Шоно шел вторым, Марти — следом за мной, Беэр — в арьергарде. Луна ленивой рыбой плыла справа, то и дело подныривая под сети ветвей, и вполглаза следила за нашим отрядом. Редкие восклицания и всхлипы ночных птиц гнетущей тишины не нарушали — подчеркивали.

Идти по однообразным холмам под такой аккомпанемент стало невыносимо тоскливо уже через пять минут. Попыталась привести в порядок мысли — да только на них все время наплывал огромной черной кляксой вопрос: «Что с нами будет?» Поскольку единственно верный ответ на него можно было узнать лишь одним способом, плюнула на размышления и начала просто считать шаги. Так и заснула бы на ходу, кабы Мотя, не менее моего изнывающий от молчания, не стал подавать реплики драматическим шепотом.

А может, просто хотел меня подбодрить. Сказал, что проводник наш — урожденный литовец, женатый на немке — знает эти места не хуже, чем мальчишка — содержимое своих карманов. Что в последние три месяца переход границы для прикордонных жителей с обеих сторон был значительно облегчен и патрулирование производится больше для порядку, да и вообще, всей пограничной стражи в Литве — кот заплакал. Что главное — не наткнуться на внеурочный немецкий патруль, каковой может случиться на пути по причине военного времени, но если соблюдать осторожность... — здесь проводник остановился и злобно прошипел: «Яжесказалтихо!», и весь дальнейший путь мне пришлось мыкаться в бессловесной тоске.

Лес скоро кончился, потянулись плешивые холмы, два раза по четверти часа пришлось лежать в кустах, пережидая нечто, видимое лишь проводнику. А потом — вдруг — резко потянуло свежим озерным запахом, и мы нырнули в плотный, как овсяный кисель, туман. Одежда тотчас сделалась волглой, на лицо налипли тысячи холодных капелек — это бодрило. Берег окончился так неожиданно, что мы чуть не посыпались в воду брейгелевскими слепцами — с трехэтажной высоты. Харон ощутимо успокоился, в своей скупой и вязкой манере сообщил, что «туманхорошо» и что «здесьезероузко, обрыввысокай, никтонеждет», после чего счел разъяснения исчерпывающими и стал копать в корнях громадной кривой сосны. Вытащил из тайника веревку, принайтовил ловко к стволу, показал вниз. Шоно ушел первым — как в воду канул. Проводник повернулся ко мне — лица его было не видно, но поняла — сомневается. Неожиданно для себя возмутилась — хотя казалось бы — чем? — и в три секунды соскользнула дюльфером. И тут же была наказана за гордыню — обожгла бедро и чуть не убилась о торчащую из склона корягу. Еле удержалась, чтобы не вскрикнуть от боли, но не вскрикнула — от стыда. Остальные спустились без приключений.

За вцепившимися в узкую кромку песка кустами оказался обширный песчаный грот — рукотворный, укрепленный изнутри деревянными брусьями — а в нем — большая лодка. Харон бесшумно спустил ее по каткам на воду, оглядел нашу команду и велел Моте сесть на весла, Марти с Шоно отправил на носовую банку, меня усадил на дно — в ногах у Моти — вместе с кладью, а сам устроился у руля.

Перекрестился — чем удивил. Скомандовал «Вперед!»

* * *

Два вооруженных человека шли по тропинке вдоль берега. Тот, что постарше — нес карабин на плече, шагал размеренно и привычно, зевая и ежась от сырости, второй — передвигался в синкопированном ритме, зыркал по сторонам, а оружие держал в нагрудном положении, несмотря на то, что ремень нещадно натирал ему тонкую шею — словом, вел себя как положено новичку.

— Беда с тобой... как тебя там? — скучным голосом сказал старший.

— Гинтас, — буркнул младший, — Третий раз уже спрашиваешь.

— Ладно, не злись, а то еще прыщ на носу вскочит. Ну, суди сам, разве не беда с тобой, Гинтас?

— Это почему это?

— Да потому что на кой ляд ты мне тут нужен?

— Я что, навязывался, что ли? Мне приказали — я пошел.

— А в «Шаулюсяюнга» тебе кто приказал идти, молодкосос? Мамочка? Тоже мне — стрелок! Ты стрелять-то умеешь хоть?

— Умею, и получше тебя! У меня медаль...

— Ага, две медали. Ври больше — скорей поверят!

— Не веришь — не надо! И чего ты ко мне привязался, а? Я что ли виноват, что тебе спать не дали?

— А кто виноват? Если б таких как ты *долбовольцев* не было, никому бы в голову не пришло вами границы усиливать. Да кончай уже по сторонам пялиться и винтовку не тереби, а то пальнешь в меня ненароком! Я второй год служу, знаю — никаких нарушителей тут не бывает. Сам подумай, дурья башка, кому здесь надо тайком переходить?

— Второй год служишь, а даже одной лычки не выслужил!

— Это потому, что я перед начальством не выпендриваюсь. А геройство тут проявить никак нельзя. Йэх... Да ты молодой еще, тебе не понять. Сколько тебе?

— Восемнадцать.

— Врешь! Тебе и семнадцати нет, я ж твои документы видал, дурень! Кабы не было здесь спокойно, думаешь, послали б таких сопляков на подмогу? Да нас тут на всю границу с немцами — всего человек двести, и ничего, как-то справляемся.

— Так зачем нас сюда послали, по-твоему? Командование, небось, не глупей тебя, а сидит повыше и видит подальше.

— Вот я и говорю — дурной ты еще. Начальству главное что?

— Что?

— Жопу прикрыть, вот что! И чтоб на бумаге все было красиво. Приказано усилить пограничную охрану — вот, усилили вдвое, а что толку с вас — зеленых, необученных — ноль, так об этом в реляциях не пишут.

— Ну, а зачем нужен какой-то толк, если ты сам говоришь, что тут все равно никто не ходит? А? Съел, умник? Самому-то двадцать всего, а гонору на все тридцать.

— Во-первых, двадцать один. Во-вторых, я и вправду не знаю, что тут может стрястись. Да ведь начальство и само не знает, чего ждать, вот и принимает меры на всякий случай, только толку от этих мер ни при каком раскладе не будет. В чем, по-твоему, состоит задача пограничной стражи? В том, чтобы при внезапном

вторжении противника оказывать посильное сопротивление вплоть до прибытия подкрепления. А теперь прикинь, какое сопротивление мы с тобой можем оказать с нашими двумя пукалками, если на нас немцы попрут или поляки? Да они и не станут озеро форсировать — сбоку влегкую обойдут. Так что все что мы можем — это нарушителей ловить, а в этом проку от тебя не будет.

— А с тебя, значит, будет? Откуда ты знаешь, если никогда их не ловил?

— Будет. Меня-то этому учили. И вообще, отстань от меня и иди тихо, а то по тыкве слопочешь!

— Я и не приставал, очень надо.

— Вот и заткнись!

Некоторое время пограничники шли молча. Первым голос подал младший:

— Шарунас!

— Чего тебе?

— Вот ты говоришь, что нарушителей тут не бывает...

— Ну?

— А это тогда кто? Святые апостолы? — Гинтас торжествующе показал на выплывавшую из туманного сгустка лодку.

— Ах ты, мать честная! Ну и везение у тебя, парень! Ох... Вот, что... Тут метров сто пятьдесят, пока они причалят, пока наверх вскарабкаются... Ты это, Гинтас, шуруй что есть духу на заставу, поднимай в ружье! А я пока за ними прослежу. Далеко уйти не успеют. Дуй давай!

По лицу новобранца было понятно, что роль мальчика на побегушках его не устраивает. Он нерешительно потоптался на месте и спросил:

— А почему мы это... не вступим в бой? А на заставе бы услышали и прибежали.

— Ты дурак или как? Какой бой? Их — четверо, а за спиной у них — не удочки торчат, а стволы, и они их не просто так носят, как некоторые. Ухлопают тебя, а мне отвечать! Короче, я приказываю: одна нога здесь,

другая там! — Шарунас демонстративно отвернулся и припал к биноклю.

Гинтас нехотя повернулся и небыстро побежал, хлопая голенищами здоровенных сапог. Его напарник во все глаза вглядывался в быстро приближающуюся лодку. Теперь он видел, что людей в лодке не четверо, а пятеро — один сидел на дне и оттого был малозаметен из-за спины гребца, и неудивительно, поскольку этот гребец был сам шириной с лодку. Не успел Шарунас порадоваться, что послал за подмогой, как тишину разорвал выстрел. Лодка тотчас начала разворачиваться — тут слева гроыхнуло снова и один человек из нее рухнул в воду. Шарунас лишь теперь сообразил, что происходит. Гигантскими скачками он понесся в направлении, в котором послал мальчишку — и едва успел толкнуть того под локоть, так что пуля, предназначавшаяся кому-то из пассажиров лодки, обиженно взвизгнув, ушла в туманное молоко.

Гинтас обернулся недоуменно:

— Ты спятил? Я бы сейчас второго снял! — и тут же получил тяжеленную затрепину по лучшему гордостью и ликованием лицу. Размазывая хлынувшую из носа кровь по юным щекам, крикнул: — За что?

— За что? — заорал в бешенстве Шарунас, — А за что ты его убил, идиот несчастный?

— Он же нарушитель... — пролепетал Гинтас.

— А что, за нарушение границы у нас — смертная казнь без суда и следствия, говнюк ты этакий? Да он даже на берег не вышел! Тебе же, засранцу, литовским языком объясняли — граница проходит по *нашему* берегу! Господи, ну откуда ты взялся на мою голову, стрелок ты недоделанный?

* * *

Первый выстрел расщепил правый борт совсем близко от меня — в щеку брызнули деревянные иглы —

и в тот же миг слева снизу — вода. Харон крикнул «жми!» и резко заложил руль влево, Мотя выругался матерно и замолотил веслами с бешеной скоростью. Потом еще выстрел — почти не услышала его — из-за грохотания собственного пульса в ушах, почувствовала, что корма резко приподнялась — обернулась — а Харона нет. Был еще, кажется, третий выстрел, а после — ничего, только сумасшедший плеск воды и паровозное дыхание Моти. Поднялась и села к рулю — хоть смысла в том было мало, но зато — убедилась, что Марти и Шоно живы.

Мотя домчал нас назад с невероятной скоростью — лодка врезалась в песок с такой силой, что я не удержалась на банке, упала на колени — в стремительно прибывающую воду. Спешно выгрузились на сушу — по счастью — всего метрах в пятидесяти от схрона. Оттолкнули полузатопленное суденышко от берега, не стовариваясь, кинулись в грот. Первое, что сказал Мотя, рухнув на деревянный настил и отдышавшись: «Как вам повезло, что я когда-то был загребным в Кембриджской сборной! Самым тяжелым за всю историю, между прочим». Потом добавил по-русски: «Жалко Донатаса. Хороший был мужик, хоть и жадный. Вода ему пухом». Марти спросил: «Что будем делать?» Шоно ответил: «Переждать переполох в курятнике».

Старый лис как всегда оказался прав. Через несколько минут издалека донеслось монотонное гудение лодочного мотора — быстроросло до *forte* — пронеслось мимо нашего укрытия *fortissimo*, убыло — *morendo*, потом вновь вернулось — и вновь убыло.

— «Си» большой октавы, — вдруг сказал из крошечной темноты Мартин.

— Скорее, «си» с четвертью, — поправил его Мотя, когда звук вернулся опять.

— Это тебе из-за эха кажется, — вступил Шоно. — Тут чистое «си».

Под это чистое «си» я заснула — как будто меня выключили.

во сне знала что сплю потому что снова явилась та в небесно-голубом на золотых волосах положила мою голову себе на колени и стала гладить нежно как старшая сестра она сперва казалась так молода а потом начала говорить и стало ясно что она древняя старуха хотя на лице не было ни морщинки но глаза глаза а потом она стала рассказывать свою жизнь по-арамейски и мне все было понятно и совсем не удивительно потому что когда я пошутила про третий сон Веры она тоже поняла и засмеялась а ведь казалось бы откуда ей знать

*27 год нашей эры
Восточная Галилея*

Впервой увидала его, когда уж решила все — конец мой пришел. Так уж били меня, так били... По всей деревне протащили за волосы, одежды изорвали — срам нечем прикрыть. Вот ведь — меня убивать волокут, а я про стыд думаю. Это я к тому, что бесстыдницею никогда не была. Грешницей — конечно, но я про свои грехи все знаю получше прочих — вот гордыню, к примеру, никак не изживу. А что мужчин у себя принимала, так ведь жить как-то надо было. Там я пришлая была, чужая. Говорить по-местному не умела. После того, как муж мой помер, никто меня к себе пускать не хотел — женщины, понятно. Не по душе им было, что их мужья на меня заглядываются. И как тут прокормишься, если единственное ремесло мое — городское — женщинам красоту наводить? Выживали меня оттуда. Я б и сама ушла с радостью, да только некуда было податься. Все, что у меня было — дом да коза. А тут приходит один и говорит, чтоб я легла с ним за плату. Я сперва на порог его не пустила, так он пригрозил, что коли не дам ему, чего он хочет, со свету живет. И шжил бы, я не сомневалась — бедную вдовицу защитить некому. Так и покатилося — один другому похвастал,

другой — третьему... Денег у меня прибавилось, а вот жизнь легче не стала — к колодцу ходить затемно приходилось, чтоб не повстречать никого из женщин. Особенно Двора колченогая по прозвищу «пророчица» меня ненавидела. Как встретит на улице, так начнет чешить на чем свет стоит! А мне и ответить нечем — правда ее была. Но один раз не выдержала и бросила ей, мол, меня за деньги все хотят, а ты и даром никому не нужна. Зря, конечно. Нажила смертельного врага — да и только. Это ведь она всех и подстрекала меня камнями побить. И добилась своего. Мужчины-то, которые допрежь меня имели, все больше в сторонке держались, но один из них — Эйтан, муж той самой Дворы — меня таки и выволок за косы из дома. Он всего раз ко мне приходил, но ничего у него не получилось, так он деньги назад потребовал. Я отказала, а он силком отобрать попытался. Ну, я ему лицо-то и расцарапала. А теперь он отыграться решил.

Вот, значит, вытащили меня за околицу, наземь швырнули, как падаля, стали камни собирать. Мне бы молиться да пощады просить, вдруг бы они сжалились, а я, как назло, все молитвы забыла и будто онемела — только плачу тихонько. Страшно мне было и горько — ведь всего-то на те поры неполных двадцать лет на свете прожила. Подняла я голову — в последний раз на небо посмотреть, да один глаз подбитый — не открыть, а в другом все от слез расплывается. Но все ж углядела неподалеку двоих незнакомцев.

Один из них и спрашивает — вроде негромко, но так *важно*, что все вдруг замолчали и к нему обернулись:

— Мир вам, уважаемое общество! Позволено ли мне будет осведомиться, чем так прогневила вас сия девица, что вы ополчились на нее столь рьяно?

Так он часто говорил — точно по-писаному — и все слова его я стала запоминать с той самой минуты и хранить в сердце. Памятью-то меня Господь не обидел. Но пуце слов мне тогда в душу голос его запал — такого

ангельского голоса ни у кого никогда не слышала и, верно, уж не услышу, пока не умру.

И все вокруг тоже что-то такое почувствовали и оробели. А может, и не поняли его толком, ведь он не по-галилейски говорил, а, скорее, по-нашему, по-иудейски. Поэтому он вопрос повторил — попроще да построже:

— Люди, за что вы ее убиваете?

Тут Двора хромая опомнилась и как закричит, мол, шлюха она бесстыжая, прелюбодейка, развратница, приبلуда мужебесная, разрушительница семей, грешница, семью бесами одержимая и все в таком роде, а ты сам-то кто такой, мы твоего имени знать не знаем и ответ держать перед тобой не намерены, может, ты и вовсе проходидец, вор или разбойник.

А он усмехнулся и говорит:

— Может и разбойник, а может и нет. Зовут же меня Йеошуа. А вы здесь, как я понимаю, все праведники, особенно вон те, что поодаль, потупясь, стоят? Никто из вас ни разу не прелюбодействовал даже в сердце своем? Чужого не возжелал? Субботу не нарушил? Не солгал? Коли так, закидайте и меня камнями, ибо в отличие от вас грешен аз!

Тут Менаше-дурачок булыжником в него и запустил со всей своей дури. А он хоть умишком был слабже трехлетки, да мышцею силен — по-бычьи. Но Йеошуа камень, что ему прямехонько в голову летел, посохом отбил запросто, а другие, увидав такое, кидаться побоялись. Он тогда засмеялся в голос и сказал:

— Что же, больше безгрешных нет среди вас? Тогда ступайте по домам и не грешите, и помните, что убийство себе подобного — самый великий грех. А с девицей сей я сам буду говорить. И бесов изгоню, коли правда они в ней сидят.

И вот диво — все мигом разбрелись покорно, как овечки, будто ветром их сдуло! Одна Двора и осталась стоять — уж больно не хотелось ей передо мною слабину давать, но только долго и она не выстояла, плюнула, да так с камнем и поковыляла восвоися, выбросить забывши.

Тут только до меня дошло, что я чудом жива осталась — кинулась к нему в ноги, обхватила колени его что было сил, да и чувств лишилась.

Когда очнулась — уж вечереть начало. И снова — чудо! Ничегошеньки у меня не болело, а самое удивительное — глаз подбитый почти совсем раскрылся! И вот открываю я глаза и вижу, что лежу под хлебным деревом, тончайшей, что твой виссон, тканью прикрытая, а спаситель мой рядышком сидит и со своим спутником беседует негромко — а о чем, мне непонятно, потому что не по-нашему.

Лишь теперь и смогла его хорошенько рассмотреть — украдкой, ведь лучше всего человека разглядывать, когда он о том не знает. Что худой он и росту высокого, то я еще раньше заметила, а вот сейчас увидела, что волос у него темно-рыжий, жесткий, густой да вьющийся — такой стричь да укладывать одно мучение, уж я-то знаю, борода курчавая, обильная — чуть не из-под самых глаз начинается, лицо бронзовое, обветренное, а больше ничего видно не было — он боком ко мне сидел. А потом вдруг обернулся, словно взгляд мой почуял, я и обомлела — глаза у него были зеленые-презеленые, как первые листочки на дереве — таких я у людей никогда не видывала, только у кошек, а слева на медовых волосах белоснежная прядка и посерединке на левой брови — тоже, будто на него сметаной плеснули. На это сперва было не очень приятно смотреть и отчего-то боязно, а потом, когда привыкла, стало даже нравиться — ну, с непривычными вещами оно всегда так. Вот и тогда я вздрогнула и взгляд опустила, но он это по-своему понял, улыбнулся и говорит своему приятелю, но так, чтоб и мне понятно было — по-гречески:

— Видишь, Пандит, — я тогда подумала, что это того зовут так, но потом оказалось, что это как наше «рабби» по-индийски, — Видишь, как она стыдливо опустила глаза? Можешь ли ты поверить в те ужасные преступления, в коих обвиняли ее те люди?

Пандит этот — сухонький такой старичок, весь черно-белый, только щеки бурые, как перезрелый гранат — глаза агатовые прикрыл, головой качнул из стороны в сторону — очень серьезно.

— Вот и я не верю. А ты людям прости, — это он уже ко мне обратился, — ибо не ведают они, что творят. Ведь никто — от Каина до наших дней — никто в целом свете не знает, что такое смерть ... — Йеошуа вздохнул очень горько, а потом спрашивает: — Скажи, в том, что они о тебе говорили, была доля истины? Насчет бесов?

А я словно язык проглотила — так мне и впрямь перед ним стыдно сделалось. Вот лежу и моргаю, как глупая корова, а он, видать, решил, что я по-гречески не понимаю, и переспросил по-арамейски. Я снова молчу, только слезы на глазах выступили. Он руками развел, обернулся и что-то своему индийцу сказал по-ихнему с сожалением — верно, решил, что я не только грешная, но и убогая вдобавок. Да откуда ему было знать, что я и по-гречески и даже по-латински не только читаю, но и писать умею? По-латыни пишу, *алиба́ де э́мет*¹, не очень ловко — добрый муж мой представился пред очи Всевышнего раньше, чем успел меня как следует научить. Что-то такое Йеошуа, видно, прозрел в моих глазах, потому как спросил:

— Ты ведь не глухонемая, нет? — я головой помотала, и он снова спросил ласково-ласково, так что весь страх и стыд мой сразу куда-то улетучился: — Как зовут тебя, красавица моя?

— Мириам, — отвечаю, а голос дрожмя дрожит, и в груди невозможно жарко и тесно сделалось оттого, что он меня красавицей назвал — хотя уж какая там красавица, с разбитым-то лицом.

— Вот как? — говорит. — Мою мать так же зовут. Она в Иерусалиме живет. Я тебя с ней познакомлю, Бог даст. Нам с тобой теперь разлучаться никак нельзя, а то ты снова пропадешь.

¹ По правде сказать (*арам.*).

Я как про то услышала, снова чуть в обморок не свалилась, даром, что и так лежала. Но с духом собралась и спрашиваю, почему, мол, снова? А он улыбнулся загадочно и молвит:

— Потому что встретились мы неспроста, ведь я тебя повсюду искал — от Ливийской пустыни до Индийского моря.

А я — про себя тогда подумала — за тобой теперь на край света пойду. Но вслух не произнесла, понятно. Иешуа же продолжает спрашивать:

— Откуда ты родом? Кто твои родители?

И тут меня точно прорвало — все ему про себя выложила. Слезы по щекам — что ручьи по весне, слова арамейские с греческими мешаю — и говорю, говорю, и остановиться не могу. Ведь целых полтора года мне было словом не с кем перемолвиться, а он — слушал так внимательно и по голове меня гладил ласково.

сестра сестра как же я тебя понимаю вскричала а она наклонилась и поцеловала

Лишь когда сказала ему, что родом из Антиохии, он отчего-то бровью своей меченой повел — а все прочее выслушал, в лице не меняясь и молча. Я сперва хотела скрыть про то, отчего вся моя жизнь кувырком покатилась, а потом подумала — ну и пусть узнает. И все рассказала — как двоюродный брат меня обесчестил, когда мне двенадцать было, а потом объявил всем, что это я его соблазнила, и как поверили ему, а не мне, потому что его отец — дядя мой — важная фигура в общине, главный заступник перед римлянами — кто ж против него в здравом уме голос поднимет? А мой отец — простой переписчик, человек тишайший, но тут чуть с ума не сошел от горя и позора. Брат хотел с ним по-свойски договориться, деньги сулил, а он — ни в какую. Ясное дело, что в суде отец проиграл, а брат ему мстить начал. Ославил меня на всю общину прелюбодейкой и бесноватой. «И что ж люди, так запросто

поверили?» — вопрошает спаситель мой. Пришлось признаться, что и прежде меня дерзкою юницей считали — и не без причин, а оттого поверить во все наговоры даже близким было нетрудно. С тех пор сделалась жизнь моя несносной, замуж брать меня никто уж, понятно, не желал, да оно бы и ладно, но ведь и обеих сестер моих сватать не торопились, отцу стало меньше работы перепадать, а матери на рынке проходу не давали. Уж не знаю, что б мы делали, кабы старинный друг отца не взял меня за себя. Он, верно, немолод был, но добрей человека я не встречала. Муж мой, Ихиэль, состоял на государственной службе, имел римское гражданство и большие связи — надежнее защитника и представить нельзя. Порешили они с отцом, что лучше всего будет увезти меня куда подальше, пока все не забудется. Так и сделали — Ихиэль выхлопотал себе перевод в Александрию Египетскую. Взаперти он меня никогда не держал, разрешил заниматься делом — и я выучилась у тамошних умелиц уходу за волосами и кожей лица, и прочим подобным вещам. А потом муж мой вышел в отставку, купил дом в Галилее — в своей родной местности, куда он всегда мечтал вернуться. Тут уж мне заняться было вовсе нечем, и чтоб я не заскучала, Ихиэль стал обучать меня чтению и письму. Ну, а потом помер скоропостижно.

— Так ты, выходит, — гражданка Рима? — спрашивает Йеошуа. — Как же эти люди не побоялись тебя преследовать?

— А никто б ничего не узнал, — отвечаю. — У них тут круговая порука, да и римлян они терпеть не могут, то всем известно.

— Да, — говорит, — я здесь недавно, а уж заметил. Знать, осталась ты совсем одна?

Поняла я, на что он намекает. Рассказала, что детей у нас с Ихиэлем не было — но то не по моей вине, у него и с первой женой ничего не получилось. Тогда он спросил, отчего не вернулась обратно в Антиохию — к семье, а я сказала — ну как поеду в такую даль одна,

без денег? «Верно, верно, — отвечает. — Скажи, а вот та женщина — на хромую ворону похожая — кричала, что ты... — тут он мне руку на голову положил, — что у тебя *андромания* и что ты одержима бесами... Я в это, конечно, не верю, но знаю, что порою с людьми случаются странные вещи, вроде припадков, и тогда эти люди не отвечают за свои деяния. С тобой ничего такого не приключалось?» «Да нет, — говорю и чувствую — кончились слезы, — не помню за собой такого. Грешила я, всегда в здравом уме пребывая. И хотя верно, что с мужчинами стала ложиться по принуждению, но верно и то, что отнюдь не всегда мне это было противно. В ином случае предпочла б умереть, наверное. Так что правильно меня на смерть осудили, и не надо было меня спасать». А он вместо того, чтобы разозлиться, сказал тихо: «Кто я такой, чтобы судить тебя? Все мы ищем любви — каждый на свой лад. Никакой же грех смертью искупить невозможно, жаль только, что люди этого не понимают. Прости, если обидел тебя».

Вот такой он был человек. Никогда никого не осуждал и не обличал, но каждый при нем тотчас нутром свою греховность понимал. Одних это толкало на путь исправления — и они всем сердцем любили его, другим — было невыносимо, и они его от всего сердца ненавидели. Само собой получалось, что среди этих последних все больше были власть имущие да законоучители, а вот первые...

Тут надобно сказать, что никого он за собой не звал, не соблазнял и никому не проповедовал, а просто ходил по городам и весям вместе со своим индийцем-учителем, пользовал людей — ибо был врачом от Бога — совершенно бесплатно, а на пропитание добывал, показывая на рынках всякие невероятные чудеса — мог висеть в воздухе, стоять на голове подолгу, лежать на гвоздях или, накрыв тем самым тончайшим — шелковым — платом пустой кувшин, вытащить из него птицу, превратить свой посох в змею, а простую воду

в вино, и многое в таком роде. Я сперва пугалась очень, но он объяснил мне, смеясь, что такому волшебству можно кого угодно выучить — хоть бы и меня, только надо очень долго упражняться. «Настоящее чудо, — говорил он, — это когда человек исцеляется не моим умением, а одною верой в исцеление. Сего я ничем, кроме Божественного промысла, объяснить не могу. Отворить же нарыв, вырвать зуб или даже вырезать опухоль — дело, конечно, хитрое, но многим доступное». Не сразу, но уяснила я смысл его речений. А вот те, прочие, что ходили за ним, как привязанные, были людьми темными и безграмотными — и почитали его за великого чародея и пророка. Он же по доброте своей их от себя не гнал и даже пытался что-то втолковывать, хотя бы на пальцах.

Когда позже в день моего спасения встретила сих привязавшихся, поняла, отчего так поспешно разбежались мои гонители — видать, слух о спутниках Йеошуа до них дошел. Недаром в Иудее говорят: увидел галилеянина — увидел разбойника. А еще говорят: галилеянин днем рыбу ловит, а ночью — человек. Эти вот как раз такими рыбаками и были по большей части. Мне потом их вожак — Шимон Бар Йона по прозвищу *Цéфа*, то есть, гадюка — поведал, что они восьмером пытались поймать Йеошуа и его товарища, а вышло так, что это те их поймали — и безо всякого кровопролития, одними словами. А люди то были все опасные, с острыми лезвиями под полою и со многою кровью на руках — братья Яков и Йоханан, которых Йеошуа называл *Бней-рэгеш* — сынами чувства, в шутку, разумеется, поскольку проще вообразить взволнованным камень, чем этих двоих, и Шимон — другой — *Канáй*, сиречь ревнивец, завистник, и не пропускавший ни одной юбки Иуда по прозванию *Тумá* — невинность, и Йосеф-Андреос — брат Шимона-гадюки, и Йона-Фелефéй, прозванный так оттого, что раньше служил в царской охране, и Натаниэль бар Толма́й по кличке *Каца́в* — мясник, и Маттагия Леви, которого

называли *Мохэс* — мытарь, потому что его любимой забавой было перегородить в узком месте дорогу и взимать с путешественников мзду за проход — и ведь многие безропотно платили, а все потому, что Леви почтенно выглядел, умел писать и красно говорил.

Я как-то спросила Йеошуа, отчего не отвадит всю эту шайку, ведь в глазах окружающих он представлялся ее предводителем, а это могло ему повредить, если бы стало известно властям. А он ответил ласково, но твердо:

— Я не могу, Магдали, — *магда ли*, услада моя — так он называл меня, с тех пор, как сделал своею женой, — я чувствую, что в ответе за них. Они — невежественны и наивны, как дети, и чтобы донести до них даже самую простую мысль, мне приходится измышлять притчу, и все равно я никогда не бываю уверен в том, что они понимают ее правильно. Зато теперь они никого не грабят и не убивают, хотя порой еще приворовывают, я знаю, но надеюсь рано или поздно отучить их и от этого.

Так они и шастали за ним повсюду, жадно ловя каждое слово его, каждый взгляд, ссорясь и соревнуясь между собой за малую толику его внимания, за место подле него, сияя от похвал и приходя в отчаяние, когда он отказывался принимать от них подношения, добытые нечестным путем.

Число следующих за Йеошуа прирастало день ото дня — весть о чудесных исцелениях опережала его, как молния — гром. В ближний круг вскорости вошли еще несколько человек — из них я хорошо запомнила некоего Иуду. В отличие от прочих, он не был ни галилеянином, ни простолюдином. Напротив, он происходил из весьма distinguished и богатой семьи *перушій*¹, помимо Закона Божия знал латынь и греческий — и был ярким ненавистником римлян. Он первым начал величать Йеошуа Мессией, узнав, что тот происходит из рода Давидова, и то и дело заводил разговоры о вооруженном свержении богопротивной власти Кесаря.

¹ Фарисеев (*иер.*).

Йеошуа всегда от этих разговоров уклонялся, ссылаясь на то, что всякая земная власть — от Бога, и покуда она не мешает народу исполнять Моисеевы заповеди, не стоит менять ее на другую. Иуда же горячился и подзуживал остальных, утверждая, что римляне уже не раз пытались осквернить Храм — вот и недавно префект Пилатус приказал поместить в нем изображения Августа, а в отместку за всеобщий протест конфисковал храмовые деньги с тем, чтобы выстроить на них в Иерушалаиме водопровод. На это Йеошуа отвечал, что Иерушалаиму не лишне будет отмыться от царящей в нем нечистоты, а Храм в гораздо большей степени оскверняют заповононившие его менялы и бездельники — и тому подобное. Услышав такое, Иуда всякий раз хватался за голову и со скорбными воплями убегал прочь. Однако при первой возможности возвращался к этому разговору, полагая, наверно, что долбящие беспре­рывно в камень капли способны его проточить, как говорится в римской поговорке. За это Йеошуа весело дразнил Иуду «кликушей» — *иш крийóт*. Все наши разбойники-галилеяне его недолюбливали, потому что он был чужак и единственный из всех умел разговаривать с Учителем на языке книжников. Мне бы Иуду привечать — ведь я и сама для них была такая же, как он, но я тоже его не особо любила — из ревности, наверно, потому как если Йеошуа кого и считал своим учеником, так это Иуду, и оттого много времени проводил в беседах с ним. Он считал, что сумеет того переубе­дить, а я как раз боялась обратного.

Но до поры, до времени все было тихо. Йеошуа оставался всю зиму вблизи Киннерета¹, далеко не уходил. Я уж надеялась, что осядем, заживем как люди. Да не тут-то было...

Когда появился этот старый египтянин, сразу поняла — его-то Йеошуа и ждал в Галилее, видать, заранее договорились. Имя у него было странное — Атенсотр — не египетское, не греческое, серединка на

¹ Галилейское море.

половинку, такого я никогда не слыхивала, хотя в Александрии жила и египтян повидала немало. Думаю, это вообще было прозвище. Атенсотр был похож на тамошних жрецов тем, что брил голову наголо, но татуировки на верхних веках не имел и часто улыбался во весь рот, в котором желтые зубы сидели редко, как высушенные горошины в стручке. А лысина у старика была что твое куропаточье яйцо — коричневая и вся рябая. У него нехорошо пахло изо рта, он о том знал и оттого все время жевал мастику и с людьми разговаривал, повернув голову чуть вправо, — да и левым глазом он лучше видел.

Йеошуа сразу кинулся египтянина обнимать, потом у меня кувшин и губку отобрал и сам ему ноги омыл, а потом сказал мне: «Этот человек, Магдали, — один из трех отцов, данных мне Всевышним взамен родного. Тринадцать первых своих лет жил я в доме его и набирался ума-разума».

С приходом Атенсотра многое переменялось в нашем житье. Йеошуа теперь внимания мне уделял мало, хотя оставался по-прежнему ласков, а все больше времени проводил в разговорах со своими учителями — египтянином и индийцем — с глазу на глаз. Несколько раз уходили на неделю в пустыню — вовсе без съестного и без питья. Я его спросила:

— Что вы там делаете?

— Сидим и молчим, — пожал плечами.

— Неделю? Зачем?

— Чтобы услышать музыку сфер, — это он по-гречески произнес.

— Но почему ж не едите и не пьете?

— Это все отвлекает от слушания.

Как хочешь, так и понимай.

А в самом начале месяца *адар*¹ — еще зимние дожди не кончились — он вдруг заявил, что пришла пора подниматься в Иерусалаим.

¹ Двенадцатый, если считать от ниссана, месяц еврейского календаря, приходится приблизительно на март-апрель.

Шли почти две недели — кое-где дороги так размыло, что ноги увязали чуть не по колено. Из-за коротких переходов несколько раз пришлось ночевать под открытым небом. Одежда не просыхала за ночь, огня было не развести. Все измучились и даже начали роптать, но Иешуа поднял свою бровь убеленную и сказал, что никого за собой не тянул. Все утихло, но я позже, когда осталась с ним наедине, спросила: что, и меня тоже не тянул? Он, кажется, растерялся и пробормотал: «Это же не я тебя тяну, а судьба. Мне казалось, ты чувствуешь...» Я, помнится, рассердилась тогда на него — в первый раз — и говорю: «А этих — нищих духом? Верно, ты их не соблазнял нарочно, но они соблазнились и пошли за тобою — разве это не судьба?» Он повторил за мной «нищие духом», улыбнулся мелчком и спросил, сама ли я придумала это выражение, — а потом сказал: «Открыть им, зачем иду в Иерусалаим, я никак не могу. Они или не поймут, или поймут ложно, что еще хуже. А притчами тут не обойтись. Да и незачем им знать — в том, что мне предстоит, они мне не помощники». «Вот как? — говорю, руки в бока уперев. — Ну а мне тоже знать не надобно? Или думаешь — не постигну своим слабым женским умишком?» Тут уж он совсем смешался и тихонько так — будто выдохнул — ответил: «Да я и сам-то толком не знаю... Знаю точно лишь, что без тебя у нас ничего не выйдет». — «Что не выйдет?» — «То, что предназначено сделать. Умоляю, не пытай меня до срока, я все равно не умею объяснить сейчас! Просто будь со мной — и увидишь все сама, если будет на то воля Всевышнего!»

И тогда я узрела в его глазах такую боль и смятение, и так мне сделалось его жалко, что сразу бросилась ему на шею и вопросы задавать больше не стала. А вскоре мы пришли в столицу, и разговор тот у меня из головы и вовсе вылетел. Ведь я в Иерусалаиме до тех пор ни разу не бывала, да и поняла, как соскучилась по большому городу — хотя против Антиохии был он, прямо

сказать, невелик, да и Александрии в роскошестве уступал — но зато было в тамошнем воздухе нечто такое, от чего дух то замирал, то трепыхался в груди щекотно, как бабочка. Сладко и ужасно было представлять, что по этим самым камням ступала нога царя-песнопевца и сына его — мудрейшего из земных владык. И было это много веков назад, а ведь до того город долго был столицей иевусеев — мне о том мой добрый Ихиэль рассказывал. Это был древний, мудрый и совсем равнодушный к людям город.

Нас там приютил некий Йосеф Раматянин, у которого жила мать Йеошуа Мирьям-парфянка — бодрая, смешливая старушка с точно такими же зеленущими, как у сына, глазами и пестрыми, словно дятлово крылышко, волосами. Второго мужа своего — отчима Йеошуа, — от которого у нее было шестеро уже взрослых детей, она схоронила давно и с тех пор, как родных, воспитывала и обихаживала детей этого Йосефа, потому что он тоже был вдовый. Дети ее любили и называли матерью, а Йеошуа почитали за старшего брата.

Мирьям приняла меня близко к сердцу и сразу взялась опекать. Сказала, что знает в городе многих состоятельных женщин, которым могут понадобиться мои услуги. А когда я поделилась с нею сомнениями по поводу способа, что ее сын выбрал для заработка, вместо того, чтобы лечить людей за плату — хотя бы только богатых, она засмеялась и говорит: «Чего еще ожидать от сына человека, который пытался нажить состояние, торгуя страусами в Китае?»

Хозяин дома владел тысячами голов скота и заседал в *Большом Санхедрине*¹, и хотя не принадлежал к главенствующей там партии *цдуким*² и, как объяснил мне Йеошуа, вместе с прочими *перушим* находился в оппозиции им, а значит — и Риму, однако был вхож к самому префекту Пилату как главный поставщик мяса и кож римлянам. Как говорится, политика политикой,

¹ Великий Синедрион — высший государственный совет Иудеи.

² Саддукеи.

а дело делом. Йеошуа в свое время исцелил его своими мазями от застарелой чесотки, и неудивительно, что этот Йосеф стал еще большим поклонником моего возлюбленного мужа, чем наши разбойнички, и теперь целыми днями таскал его за собой по разным собраниям. Мне это не нравилось прежде всего потому, что мы с Йеошуа стали редко видеться, а ему — оттого, что из него пытались сделать предводителя какой-то новой партии. «Эти еще хуже тех, — жаловался мне ночью. — Те просто ничего не понимают, а эти понимают, но выводы делают совершенно неверные! Они готовы ввергнуть страну в полымя едино ради своей гордыни и спеси!»

А однажды — было это в конце адара — Йеошуа сказал мне, что пришло время нам пожениться по-настоящему, ведь до тех пор мы жили во грехе. Я, конечно, обрадовалась, как любая бы на моем месте, и стала в уме подсчитывать, сколько народу надо будет позвать и во что нам это все встанет. Но он вдруг добавил, что хочет все проделать тайно, а празднование отложить на потом. Я удивилась и спросила, почему так. А он ответил: «Потому что это будет необычное венчание. Ибо мы с тобой — необычная пара. И свидетели нам не нужны. Будем только мы и мои учителя». «Но они же иноверцы! Что же это тогда будет за свадьба — без брачного чертога, без песен?» — вскричала я. «Как у праотца нашего Адама и праматери Хавы — перед Богом, благословенно имя Его. А песни будут, — ответил он. — Но если ты не согласна...»

Понятное дело, я согласилась.

В назначенный день сходила в *мíкве*¹, завила и уложила волосы, оделась в белое, села ждать вечера, до которого было еще далеко. Свекровь спросила, отчего это я бездельничаю, как засватанная — пришлось соврать, что болит голова, а что мне оставалось, коли даже от нее Йеошуа все в тайне держал? Да и делать я ничего не могла — так волновалась, что руки ходуном ходили. Мирьям губы поджала, но отступилась.

¹ Купель для ритуального омовения.

После третьей звезды явился хозяин дома, взял меня под руку и молча отвел в самую дальнюю кладовую без окон, где уж поджидал нас Йеошуа со своими египтянином и индийцем. Йосеф, как мне показалось, надеялся остаться, но Йеошуа покачал головой, и тот вышел вон покорно, хоть и крякнул с досадой. Я оглядела помещение. По углам горели четыре светильника, а посреди стояло что-то вроде невысокого столбика, накрытого белой холстиной, а более ничего не было. Атенсотр затворил дверь на засов — я было хотела спросить, зачем это в кладовой запор изнутри нужен, но увидела, что у него уши заткнуты воском, поглядела на Пандита — и у того то же самое. Не успела удивиться, как тут любимый мой подошел, обнял крепко и велел ничего не бояться, молчать и глаза держать закрытыми крепко-накрепко, а потом их мне платком завязал. Только он по доброте своей побоялся больно сделать, оттого затянул не туго, так что, я подглядывать могла немножко — как в детстве, когда в жмурки играла. Мне бы его послушаться, но уж больно я тогда была глупая, любопытная и своенравная.

Вот чувствую — что-то в руки дают, на ощупь — вроде, ткань. Голову назад запрокинула легонько, глянула в щелочку — и впрямь, тот самый холст, что на столбик был наброшен. Растянули его за четыре конца, и оказался он вовсе не квадратный, как я думала, — Йеошуа, что за противоположный конец держался, стоял на пол-локтя ближе ко мне, чем Атенсотр, но почти на локоть дальше, чем Пандит.

Хоть я умом и понимала, что от Йеошуа ждать дурного нельзя, а все ж было мне немного боязно и неприятно — но все больше, конечно, странно. Но когда египтянин с индийцем вдруг запели, тут уж я про все забыла, оттого что удивилась по-настоящему — ведь эти двое вовсе ничего не слышали — с залитыми-то воском ушами, а пели так стройно и красиво, что у меня даже дух захватило! Чуть погодя я догадалась, что это Йеошуа им ритм задает, свой уголок полотна подергивая.

Пели они так, как, верно, на Седьмом Небе Архангелы, Херувимы и Серафимы Самому Господу хвалу поют — невозможно красиво! Атенсотр гудел тяжело, как шмель, а Пандит соловьем звенел. Пели без слов, да и понятно было, что никаких слов тут не надобно. Голоса то сходились, то расходились, то разом смолкали — и всякий раз в лад, и всякий раз — на новый. Я поначалу эти разы считать пыталась, да на пятом десятке сбилась — сомледа. В груди у меня будто начало что-то горячее набухать и теснить самое душу мою, точно надувают меня, как бычий пузырь через соломинку — вот уж я и вздохнуть не могу, сердце замерло, в ушах завьло невыносимо — а потом это внутри меня как лопнет, как высверкнет что твои тысяча молний! Полотно из пальцев моих рванулось, точно живое, а больше я ничего не помню.

* * *

lomio_de_ama:

По шесть Имен необходимо петь в течение времени, равному числу 10 полных циклов дыхания и, если божественное провидение не останавливает тебя, можно петь дольше. Так продолжать до Имени Мэвамэ (по порядку следования имен в таблице, справа налево, сверху вниз).

Божественный импульс придет к человеку, произнесшему 24 первых Имени, то есть <когда он> закончил на имени Хээва. Но, если же Святой, благословен Он, в силу твоей нечистоты не снисходит до тебя, начни читать второй стих, начиная с Имени Нутаэ.

И, если достоин ты Высшей Воли, то явится перед тобой видение, подобное старцу и ребенку одновременно. И это есть ангел Метатрон. И поведает он тебе тайны Имени. И явится также ангел Габриэль, так как именно он преподает тайны ha-Шема.

В беспамятстве я пролежала долго. Очнулась от того, что кто-то сказал: «Тебе надо скрыться!» Я хотела посмотреть, кто мне это говорит, да не смогла веки приподнять — так ослабела. А голос — похожий на Йосефов — продолжает: «Еще немного — и его начнут ловить, а куда они придут первым делом? Сюда! И схватят тебя вместо него!» Тут я попыталась спросить, вместо кого меня должны схватить, но получилось только застонать тихонечко. Мне тотчас смочили губы, а голос воскликнул: «Вот видишь, она уже приходит в себя! Теперь с ней все будет хорошо, а ты уходи, пока не поздно! И не вздумай его искать, это мое дело!» На этих словах я поняла, что обращаются не ко мне, а вот к кому — сообразить не смогла и заснула.

Весь другой день я проспала, а на третий мне стало уже лучше, и я даже немного поела из рук служанки и стала ждать Йеошуа и думать о том, что же со мной стряслось. Но он отчего-то все не приходил, и я начала переживать. После полудня зашла свекровь. Вид у ней был удрученный донельзя. Сперва не хотела говорить, отчего, а потом не выдержала и поделилась горестно:

— Сын-то мой, похоже, в уме повредился. Дольше недели, что ты в бесчувствии лежала, от одра ни на шаг не отходил, а стоило тебе в разум вернуться, так исчез, слова никому не сказав! А нынче видали его — возле Храма!

— Может, пошел жертву приносить, за мое исцеление? — предположила я, хотя уж больно это было на Йеошуа непохоже.

— Кабы так! — Мирьям даже руками замахала на меня. — Он там *проповедует!* Сам весь в белом, и толпа вокруг него — человек тыща!

— Ну уж тыща, — усомнилась я, — привирают, поди, для красного словца. Да и не такой он человек, чтобы перед толпой проповедовать — уж мне ли не знать?

— Да какое там! Я ж сама туда побежала, благо недалеко, вместе с сыновьями. Да увидала его только издали — ближе было не протолкнуться. Кричу ему: «Йеошуа, сынок!», а он мне: «Чего тебе, жено?» Жено! Это мне-то, родной матери! — свекровь утерла глаз кончиком платка и носом шмыгнула жалобно. — Я ему: «Я же мать твоя, и братья твои тут!», а он руками на этот сброд показывает и говорит: «Вот моя мать, вот братья мои!»

— А верно ли это он был? Издалека-то запросто можно обознаться!

— Ну как же не он? Мне ли родного сына не признать хотя б и за сто шагов? Голос его, такой ни с каким другим не спутаешь. Да и эти его бандиты с дрекольем вокруг стеной стояли что твои *крэти уфлэти*¹ царя Давида.

— Быть того не может! — ужасаюсь и сама всхлипывать начинаю, а уж Мирьям и вовсе в слезы ударилась.

— Ох, я б и сама хотела обмануться! Но сердце-то не обманывает! — запричитала, как по покойнику. — И что самое ужасное — седину себе хною закрасил, чтоб народ прельщать! И бровь свою с Божьей отметиной! А ведь это у него в знак спасения от гибели — он десяти лет от роду был, когда в него молния ударила! Видать, даром это ему все ж не прошло...

Ну нет, думаю, в такое я не поверю, покуда своими глазами не увижу. К Йеошуа-то и со стрижкой было не подступиться — все ему недосуг, а уж волосы красить!.. А с другой стороны — ежели меня та волшба свадебная едва не убила, то и его вполне могла с ума свести. Кое-как успокоила свекровь, а когда она ушла, поняла, что сама успокоиться не смогу, ежели тотчас не отправлюсь искать Йеошуа. И пошла, хотя ноги подкашивались, голова кружилась, и в утробе беспрерывно ёкало.

Разыскать человека в Иерусалаиме в канун Песаха — все равно что найти кунжутное семечко в *эфе*² проса — можно только ненароком. Сто раз поблазнится, что вот

¹ Хелефеи и фелефеи (*библ.*).

² Мера сыпучих тел около 24 л.

оно, а на поверку окажется либо соринка, либо жучок. Вот и я вместо Йеошуа столкнулась в людской каше с Иудой. Он был мрачен, брел без цели, грыз бороду и глядел долу. Я к нему — знаешь ли, где Учитель твой? А он с неохотою отвечает, не знаю, мол, и знать не хочу, потому как не ученик я ему боле. Вот так новость, думаю, а что сказать не знаю — только и вымолвила: «Что стряслось?» И вдруг он на меня посмотрел — прямо в лицо! — а ведь сколько с ним раньше Йеошуа ни бился, он, как все перушим, на женщин не глядел никогда. Тут же просто-таки вцепился в меня взглядом — глаза синие, как васильки, а в них — слезы стоят. Посмотрел на меня так, будто прочесть что-то надеялся, потом отвернулся снова и, эдак зло усмехнувшись, говорит: «У него теперь другие ученики... И ученицы тоже. Да и не учит он теперь, а поучает». «Чему поучает?» — спрашиваю. «Все тому же, — отвечает, — только прежде-то он объяснять старался, а нынче провозглашает. Оно и верно — такой толпе не наобъясняешься. И людей лечить перестал совсем. Времени-то нет. Слышал я, что с людьми слава подобное делает, но от него не ожидал. Да что там, впрочем! Я бы как эти блаженные нынче ходил за ним, рот разинув, кабы он сам меня в свое время от этого не отучивал столь настойчиво». «Что-то мне в это не верится, — говорю, а про себя думаю, что уж и не то чтобы не верится, просто верить в такое не хочется. — Мне бы самой с ним встретиться. Ты же знаешь, где его искать, так скажи, прошу тебя!» «Вот и тебя он бросил, сестра, — отвечает прегорько, — только ты еще о том не ведаешь. Хочешь обжечься — ступай и сама его ищи, а я тебе не помощник». С этими словами Иуда ушел прочь.

Йеошуа в тот день я так и не нашла, как не нашла его ни на другой, ни на третий. Все эти дни Мирьям ходила темнее тучи, готовая в любой миг пролиться дождем, а Йосеф появлялся дома поздно и на мои вопросы отвечал уклончиво, дескать, волноваться нечего, Йеошуа жив и здоров и передает мне приветы. Да только по

лицу его было видно, что дела обстоят иначе. Сердце мое было не на месте, чуяло беду. И беда случилась.

В канун Песаха¹ пронеслась весть — Йеошуа разыскивают римляне. Люди болтали разное — одни утверждали, что он со своими сторонниками учинил погром в Храме, и что в стычке то ли убили, то ли покалечили кого-то из храмовых стражей, другие же говорили, что это якобы римляне пытались разогнать толпу, следовавшую за Йеошуа, вследствие чего произошло кровавое побоище. Второе было вероятнее, ибо первое было внутренним делом общины, и римский префект не стал бы в него вмешиваться, оставив на рассмотрение Санхедрина. Второе же было и гораздо страшнее, ибо на взвешенное следствие и справедливый суд там рассчитывать не приходилось — Пилат был известен судом скорым и жестоким. Несмотря на это, Йосеф держался на удивление спокойно, хотя в доме его все словно сидели *шиву*². Глядя на него, я немного успокаивалась — но всякий раз ненадолго.

А за четыре дня до пасхальной субботы ночью прибежал Иуда и стал биться в дверь, всполошив всех и вся — взмыленный, всклокоченный, с непокрытой головой и разорванной одежде, забрызганной кровью из расцарапанного ногтями лица. Вбежав, упал наземь и разразился рыданиями. Когда удалось его утихомирить, он рассказал, что вечер таинственным образом обнаружил в своей комнате на постоялом дворе записку, в которой Йеошуа просил его о встрече с глазу на глаз — нынешней ночью в известной обоим оливковой роще внутри городских стен. Получив послание, Иуда тотчас забыл о своих обидах и в назначенный час примчался к условленному месту. Йеошуа уже был там, он обнял Иуду и попросил прощения за то, что не имел возможности объяснить ему происходящее. Затем он справился о здравии матери и жены, велел передать,

¹ Весенний иудейский праздник в честь исхода из Египта.

² Траурное сидение в первую неделю после смерти близкого родственника.

что чтит и любит, как прежде. Когда же Йеошуа назвал Иуду любимым учеником, тот в восторге пал ему на грудь и поцеловал. В тот же миг из-за деревьев выскочили вооруженные кольями люди и с криками «Попались, мерзкие мужеложцы!» бросились к обнявшимся. Йеошуа успел шепнуть Иуде: «Беги и передай Раматянину, что меня взяли. И главное — скажи: *ло ноц'ар эла бар абба!*», а затем с посохом в руках преградил дорогу нападающим. Вот, что поведал Иуда.

Услышав сие, Йосеф взрычал громко, словно раненый лев, схватил Иуду за воскресные одежды и потащил в свои покои. Дворня было заголосила, но под грозным хозяйским взглядом притихла и разбрелась по углам. А я без сил сползла по стенке, на которую спиной опералась, да так и осталась сидеть до утра, пытаясь понять темный смысл последних слов моего мужа «не созданный, но сын отца».

Весь следующий день новостей не поступало никаких — я могла только догадываться, что делают с Йеошуа в застенке, и оттого хотелось выть, как волчице, у которой отняли приплод. Поговорить было не с кем — Мирьям при упоминании сыновнего имени только плакала, все прочие же и вовсе меня сторонились.

Йосефа я видела лишь мельком — он вышел из дома в сопровождении четырех дюжих слуг на ночь глядя, облаченный, как для заседания Санhedрина, а вернулся лишь с первыми петухами. Наутро к нему пришли египтянин с индийцем, про которых я и думать забыла. Они долго о чем-то совещались, затем Раматянин вновь куда-то отправился — в еще лучшем одеянии, под полой которого позвякивало так, как позвякивает только туго набитая мошна — и на сей раз с ним было четверо провожатых с дубинками. Возвратясь, выглядел спокойным и даже довольным. Я предположила, что он, пользуясь знакомством, ходил к самому префекту Пилату, который приехал из Кесарии в Иерусалаим по случаю Песаха — известно было, что он сребролюбец и за взятку может смягчить участь узника.

То ли взятка оказалась мала, то ли дело зашло слишком далеко, чтобы давать ему обратный ход, но Пилат осудил Йеошуа на жуткую казнь распятием. Когда Йосеф сообщал мне об этом, он прятал глаза. Я еще надеялась, что в честь праздника казнь будет отменена или хотя бы отложена, ведь нельзя же казнить в канун субботы, да еще и пасхальной! Но какое дело было римлянам до наших праздников, а уж тем более Пилату — известному ненавистнику иудеев, убивавшему их тысячами? Какое ему было дело, что он обрек на смерть самый смысл жизни моей?

Тот ужасный день я помню смутно — все плыло и раскачивалось перед глазами. Кажется, я несколько раз ненадолго теряла сознание. Йосеф пытался отговорить меня присутствовать при казни, но как я могла не пойти — не увидеть мужа в последний раз? Он бормотал нечто, казавшееся ему утешительным — дескать, Пилат обещал ему, что все закончится быстро, и что Йеошуа перед казнью дадут выпить особого напитка, замутняющего рассудок, и еще что-то в том же роде... Господи, как это все жалко и подло звучало! А потом я мельком поймала взгляд Иуды — он все это время отирался подле Раматянина — и во взгляде его мне почудилось торжество. Он тотчас отвел глаза, и лицо его сделалось виноватым, и я подумала — а ведь это он выдал Йеошуа властям. Никто, кроме него, не знал места их встречи. Я хотела сказать об этом Йосефу, но Иуда куда-то исчез, и я все забыла.

Начало казни я видела сквозь пелену слез издалека — ближе чем на сорок шагов нас не подпустили. Когда же раздались удары молотка, вбивающего огромные гвозди в щиколотки казнимых, а вместе с ними — душераздирающие крики несчастных, я лишилась чувств.

Очнувшись, узнала, что все кончено. Пилат сдержал слово — все закончилось до наступления субботы. Тело Йеошуа успели снять с креста и отнести в семейный склеп Раматянина, что находился недалеко от

Гульгольты¹ — к северу от Иерушалаима. Сам Раматянин к гробнице не приближался, поскольку был из коэнов. Он же запретил совершать помазание и наложение *тахрихíм*², ибо нужно было успеть вернуться в город до закрытия врат. Сказал, что это подождет. Тело просто обернули в плащаницу, а вход в пещеру завалили камнем — от диких зверей. Все это мне рассказала Мирьям.

Не было в жизни моей горше дня, чем та праздничная суббота. Насилу дождавшись наступления второго дня Пасхи, я взяла кувшин с миром и лоскуты, надобные для пеленания, и в одиночку засветло отправилась к могиле любимого. Всю дорогу мне казалось, что кто-то идет за мной следом, но сколько раз я ни оборачивалась, никого не увидела. Когда же пришла на тот холм, про который говорила Мирьям, то поняла, что найти нужный склеп среди множества не могу. Села на камень и реву в три ручья. И вдруг краешком глаза заметила что-то белое на дальней скале, присмотрелась — а это ангел. Стоит и крылом куда-то указывает. Я туда и понеслась, не чуя ног. Но только я от ангела глаза отвела, чтоб под ноги поглядеть, так он и исчез. Прибежала я к тому месту, которое он указывал, глядь — а там гробница отверстая. А в ней — никого и ничего. Только саван, на каменном ложе распростертый, да кусок дерева, им прикрытый и белым холстом обернутый. Я платок в руки взяла и сразу его признала — тот самый, что на свадьбе в руках держала! Тут в пещере вдруг темно сделалось, обернулась и вижу — кто-то мне свет застит. Я обомлела, а он и говорит голосом, который ни с каким другим не спутаешь: «Не бойся, Магдали, это я!» Ноги у меня подкосились, но упасть я не успела — Йеошуа бросился, подхватил, прижал к себе, вынес на чистый воздух. И шепчет на ухо: «Прости, любовь моя, прости ради Бога, за то, что заставил тебя пережить такое!» А я ему отвечаю «Да что ж ты

¹ Голгофы (*арам.*).

² Погребальные пелены (*ивр.*)

такое говоришь, любимый? Да ты ли это? Да верно ль ты жив?» и прочие глупости, а он все прощения просит, а я чувствую, что вот сейчас точно помру от счастья. Стала ему руки целовать — а на них следы от ран, такие, будто давнишние, поглядела в лицо — живое, плачет, смеется, а на нем словно тень смертная в морщинах залегла. А бровь, как прежде, бела. Я спрашиваю: «Как же так вышло, что ты из мертвых восстал, милый? Ведь видела своими глазами, как распяли тебя! Какое чудо тебя воскресило?» «Твоя любовь, — отвечает, — что ж еще? Но надо мне уходить, пока не явились меня хоронить! Ты то полено и холст, что во склепе, с собой возьми и сбереги пока!» «Пока что?» — удивляюсь. «Пока я не вернусь к тебе насовсем. Нам сейчас вместе нельзя. Так ты возьми денег у Йосефа — он знает, что я жив — и езжай в Антиохию! Я тебя там найду!» — и целует, целует. «Никуда я без тебя не поеду!» — отвечаю, — «Что это ты выдумал?» А он говорит: «Прошу тебя, Магдали, поезжай! Мне надо закончить здесь одно дело! Пойми, есть в жизни вещи, что важнее всего!» «Важнее нашей любви? — спрашиваю. Он задумался, а потом ответил: «Да. Даже ее». «Что ж, — говорю, — если ты так считаешь, то, видать, это и впрямь что-то особенное. Я тебе всегда верила, отчего ж не поверить и теперь? Иди, а я буду тебя ждать». «Это не будет долго, обещаю!» — «Я верю тебе. Но что говорить про тебя людям?» — «Скажи, как есть — *Йеошúa ха-Ноцár лемаанхэм мэт вэ ке Бар Абба ле тхий кам*». «Да кто ж в такое поверит?» — «Тебе — поверят. Не сейчас, так потом. Когда-нибудь обязательно поверят...»

Часть шестая

*ночь на 14 апреля 1204 года
Константинополь*

— Иисус Созданный умер за вас и как Сын Отца к жизни восстал! — перевел непонятное Дэвадан и торжественно воззрелся слепыми глазами на Марко.

Юноша сообразил, что от него ждут какой-то реакции, и неуверенно кашлянул.

— Она его дождалась? — осипшим от долгого молчания голосом спросил он.

Тара улыбнулась, а Дэвадан пожал плечами:

— Дождалась или нет — не знаю. Знаю только то, что родила от него сына — твоего пращура, и сохранила реликвии. Остальное неважно. Но я ждал от тебя другого вопроса. Забыл, что у вас, молодых, лишь одно на уме.

— Вопросов у меня много, даже слишком. Не знаю, какой задать первым.

— Неважно. Я постараюсь ответить на все.

— Боюсь, для этого у нас маловато времени, отец, — заметила Тара. — Снаружи становится слишком шумно.

— Я слышу, но Марко должен получить от меня ответы здесь и сейчас, поскольку другой возможности у него может не быть.

— Отец!

— Что поделаешь, доченька? Не в мои лета бегать по крышам и подземным ходам. И оставим это! Поди

пока собери все нужное в дорогу — она, полагаю, будет дальней! — когда Тара вышла вон, кусая губы, он вздохнул и спросил: — Марко, ты готов?

— Да. Если честно, я вообще мало что понял. То есть кое о чем догадываюсь, но смутно. Что это было за волшебство, и почему Магдалина лишилась чувств во время него, и отчего так вдруг изменился Иисус, и куда ходил Иосиф Аримафейский, и какова была во всем этом роль Иуды?

— Ба-ба-ба, сколько сразу! Полегче, полегче! — старец рассыпчато засмеялся. — Предполагаю, что ты не то чтобы не понимаешь, а просто страшишься понять. Ведь то, что ты услышал, не вполне вяжется с тем, что ты читал в своих Евангелиях, верно?

В ответ Марко промычал что-то невразумительное, но Дэвадану и не требовалось ответа.

— А между тем, — продолжал он, — Евангелия написаны людьми, которые получили благую весть через третьи руки, оттого каждый из них заполнял пробелы, насколько хватало воображения, и домысливал неясное в меру своих умственных способностей, а главное — в соответствии со своими представлениями об истинной сути христианства. Как ты, несомненно, помнишь во всех их писаниях упоминается разбойник Варавва, помиловать которого вместо Иисуса евреи якобы просили Пилата, и он, «желая сделать угодное народу, отпустил Варавву». На самом деле, не в обычае Пилата было угождать ненавистному им народу, а уж отпускать приговоренных к казни разбойников — тем паче. Однако зерно истины в этой сказке есть. Чтобы изыскать его, нужно ответить на вопрос, которого я от тебя ждал, и который ты, побоявшись произнести прямо, задал косвенным образом: кто был сей Ноцár — созданный, о коем рек твой предок?

— Я догадываюсь, — глухо сказал Марко, — но не в силах не только исторгнуть из уст своих столь ужасное богохульство, но даже помыслить о том.

— Ну так я исторгну из своих, тем более, что никакого богохульства в том не усматриваю: твой предок — истинный Мессия — во исполнение собственного предназначения свершил некое таинство. Именем Бога — тем самым, запретным — он создал — *яцър* по-еврейски — своего двойника, живое могущественное существо, наделенное волшебными свойствами.

— Но кто может быть могущественней его, если он — истинный Мессия?

— Так ты не понял главного, сын мой. Мессия — не царь и не герой, и не в могуществе заключена его важность для мира. Он, как бы это получше сказать... он — зеркало Бога. В том смысле, что в нем заключено отражение Создателя. Это своего рода мерило для людей. Глядя в него, люди видят, выражаясь геометрически, постижимую их разумом проекцию Бога, по образу и подобию которого созданы, и осознают свое несоответствие. От этого осознания в них неизбежно возникает чувство стыда, избавляться от коего можно по-разному — либо пытаться сделаться лучше, либо кричать, что зеркало — кривое...

— Либо уничтожить.

— Да. Либо не глядеть в него вовсе. И это самое худшее.

— И задача Мессии состоит в том, чтобы заставить их глядеть?

— Верно! И задача эта под силу только ему. Сделать в памяти человечества такую зарубку, которую оно не сможет игнорировать. А что для сего требуется?

— Усиление?

— Истинно так, мальчик мой! Помнишь, я говорил о Шхине?

— О потерянном божественном свете, погрязшем в дольном мире?

— О нем самом. Переиначивая сказанное у Иоанна, назову это солнцем, облеченным в женщину. Женщину, которая предназначена Мессии. Только он может освободить заключенный в ней свет. И лишь она способна его на это вдохновить.

— А как он это делает? Высвобождает свет?

— Золотым ключом. Дело в том, что Имя Бога — это не заклинание, как думают все, а музыка.

— Музыка?

— Ну да. Тот самый язык звуков, который понятен всем народам одинаково. Тот самый, что возник прежде слов. Так сказать, до Вавилонского смещения языков. Тебе знакомо учение Пифагора?

— Отчасти. Он утверждал, что все в этом мире звучит, и что всему в мире есть численное выражение.

— Вот тебе и второй язык, не требующий перевода! Математика! Звук и число имеют лишь одно возможное значение и не утратят его при переложении на другой язык! Музыка, записанная в числах, может быть прочитана кем угодно! Таково было открытие рабби Соломона, мир праху его. Он утверждал, что всякий предмет в этом мире может быть исчерпывающе описан двадцатью двумя числами, и даже как-то связывал это с количеством букв в еврейском алфавите, в нем ведь каждая буква имеет числовое значение. Связано это на самом деле или нет, я не знаю, зато знаю, что в нашей музыке октава разделена на двадцать две основные ступени. Как бы то ни было, только с моей помощью совместив знания Запада и Востока о музыке, он сумел разгадать древнюю тайнопись попавшего к нему в руки папируса. Однако переложить полученную мелодию на ноты известными нам способами не получилось. Для этой музыки возможна лишь одна-единственная запись.

— Вы пробовали систему Гвидо д'Ареццо? Она лучше всех.

— Увы, и ее недостаточно. Потом ты сам в этом убедишься. Так или иначе, знание этой музыки имеет смысл лишь для Мессии.

— Почему?

— Во-первых, потому, что только он может задать верный лад и ритм. А во-вторых, подобно струне, начинающей колебаться в ответ на колебания соседних

с ней, он начинает откликаться отзвуком под действием поющих рядом с ним голосов. Два голоса этих должны исполняться безукоризненно, более того — они должны быть удалены на определенные расстояния — для этой цели и сделан разносторонний платок, который четыре участника ритуала растягивают между собой. Когда же исполнение вспомогательных голосов достигает некоей точки, Мессия издает звук, который Соломон и назвал Гласом Божьим или Золотым ключом — восьмую ноту, которая лежит за пределами нашего понимания. Слышать ее нельзя никому, кроме Шхины, ну и Мессии, само собой.

— «Нельзя» в смысле «невозможно»?

— «Нельзя» в смысле «не стоит». Простых смертных этот звук убивает. Шхина же под действием его изливает сокровенный свет. Но видеть свет сей смертельно даже для нее самой. Вот тебе и ответ на вопрос, отчего Мария едва не погибла — повязка на ее глазах прилегла неплотно.

— И что же далее?

— Далее свет отражается от Мессии и сквозь холст падает на кусок дерева, и оба предмета чудесным образом превращаются в то, что угодно Мессии.

— Что ж это за дерево такое?

— Сие доподлинно никому неизвестно. Считается, что это ветвь Древа Жизни. Хотя выглядит, на мой взгляд, как обычное кедровое или сосновое полено, только очень древнее. Думаю, что так оно и есть — я не верю в существование Древа Жизни. Вполне возможно, что вместо этого полена можно было использовать любую материю — хоть камень, хоть глину. А может и нет. Во всяком случае, с деревом опыт удавался по меньшей мере дважды.

— Дважды?

— Тара тебе потом расскажет, сейчас у нас нет на это времени. Итак, созданный Иисусом двойник — ноцар — должен был послужить ему своего рода рупором или увеличительным стеклом, если хочешь.

Могущество ноцара заключалось в невероятной силе убеждения. Свою программу он получает при, так сказать, рождении от отца. Однако для верного следования ей ноцару необходима постоянная материнская опека, как бы незримая пуповина. Выражаясь образно, он — как дитя, что на первых порах нуждается в матери — в ее молоке, ласке, голосе. В противном случае ноцар, что называется, *кам аль йоцрб* — идет против воли своего создателя.

— Кажется, я понимаю. Он неустойчив, и все зависит от того, кто научит его говорить и ходить.

— Именно так. Ноцар весьма восприимчив к сокровенным чаяниям окружающих — такова его природа. Хорошо, если он отражает желания создавших его, а если их нет рядом?

— Он может превратиться в неуправляемое чудовище?

— Хуже того — в чудовище, управляемое толпой. Он становится ее гласом, ее средоточием, а поскольку нет ничего чудовищнее толпы, он становится чудовищем вдвойне.

— И так случилось с этим ноцаром?

— Увы. Когда Мария упала замертво, его оставили без внимания. Спихватились, когда уже было поздно — он ушел.

— Но почему же он ушел?

— Мы можем лишь строить догадки на сей счет. Полагаю, что программа понуждала его к немедленному действию, а там его в тот момент ничто не удерживало.

— А уйдя, он тотчас попал в окружение поклонников Иисуса!..

— ...неграмотных разбойников с немислимой кашей в головах. Читая Новый Завет, ты, верно, заметил, что поведение и проповедь Иисуса сильно изменяются к концу повествования. Евангелия довольно точно передают это. Перед их авторами стояла трудная задача — совместить в одном произведении высказывания двух

очень разных личностей. Теперь ты можешь понять, отчего так был расстроен и разочарован Иуда.

— Понимаю. Но что же предпринял Иисус со товарищи?

— Они не сразу разобрались в происходящем — им ведь все это тоже было внове. Иисуса и вовсе поначалу беспокоило только здоровье Марии. Когда же они сообразили, в чем причина такого поведения ноцара, то стали думать, как бы его изловить. А было это непросто — днем вокруг него всегда находилась армия поклонников или, как минимум, личная гвардия, ночевал же он каждый раз в новом месте. Один-единственный человек мог помочь в поимке беглеца.

— Иуда?

— Да. Но для того, чтобы склонить Иуду к этому, нужно было посвятить его в суть дела, а сделать это мог только тот, кому бы он безоговорочно доверял, то есть сам Иисус. Но положение еще более осложнилось тем, что ноцар взбунтовал толпу, из мирного проповедника превратившись в разыскиваемого властями преступника. Из-за этого подлинный Иисус тоже вынужден был действовать скрытно. И был схвачен вместо своего двойника. Как это часто бывает в жизни, все определила случайность.

— Или Божий промысел.

— Это одно и то же. Через Иуду Иисус дал Иосифу понять, что попался именно он — бар Абба, а поскольку никто кроме узкого круга посвященных не знал этого имени, в том числе и Мария, послание прозвучало загадочно. Отсюда и пошло впоследствии толкование слов «сын Отца» как «сын Божий».

— Ох, Господи!

— И не говори. Теперь Иосифу пришлось ломать голову еще и над тем, как вызволить из застенка Иисуса, коего обвиняли в подстрекательстве к мятежу и учиненном на территории Храма побоище. Обычно внутриобщинные преступления и конфликты на религиозной почве находились в юрисдикции Синедриона, и Пилат

согласно личному указанию Кесаря в них не вмешивался. Будь все так на этот раз, Иосифу как члену Великого Синедриона, то есть высшего органа самоуправления, довольно было проголосовать против казни, и Иисус был бы спасен, ибо смертный приговор выносился лишь единогласным решением судей. Проблема заключалась в том, что к мятежу приложила руку секретная служба Пилата, а в толпе действовали ее агенты, одного из которых в давке закололи *сикóй*¹. А это означало, что судить Иисуса будет сам Пилат, иными словами — вернуть гибель. Но Мессия потому и Мессия, что не может погибнуть, не исполнив своего предназначения. Иосиф был в этом убежден, и убежденность придала ему силы. Он испросил приема у первосвященника и был столь настойчив, что тот принял его в неурочное время. Дело в том, что у иудеев есть такое понятие — *никjáах нэфеш*, сиречь спасение души. Когда звучат эти слова, позволительно нарушить даже заповедь о субботе, не говоря о других менее важных запретах и предписаниях. С этими словами на устах Иосиф явился к Кайафе — саддукею, своему политическому противнику, и тот обязан был выслушать его. Иосифу удалось уверить Кайафу в том, что схвачен невиновный. Поставив на кон свою репутацию, он уговорил первосвященника послать к Пилату делегацию Синедриона с просьбой об отсрочке казни и обещанием выдать в течение суток настоящего преступника. Подобная практика была у евреев в порядке вещей во все времена, поэтому Кайафа согласился.

— И что же Пилат?

— Его убедил весомый аргумент, поднесенный Аримафейским, и он дал отсрочку. Дело оставалось за малым — отыскать и схватить ноцара. И тут пришло время Иуды.

— Боже мой, Боже милостивый! Теперь все встало на свои места! Иуда не был предателем!

¹ Кинжалом (зреч.).

— Конечно же, нет. Он вновь примкнул к старой компании. Ноцар не мог не уловить намерений Иуды в отношении себя, но, по всей видимости, не был в состоянии точно определить, от кого исходят враждебные флюиды. Поэтому он и сказал: один из вас предаст меня. Ведь вполне возможно, что такое намерение было не только у Иуды. Например, у Симона-гадюки, который соображал получше прочих — недаром он был их вожаком — и начинал понимать, что ввязался в очень скверную историю. Только в отличие от Иуды он не знал, что этот Иисус — не настоящий. Но некое смутное сомнение у него, очевидно, было. Когда Иуда привел стражников, он первым делом подошел к ноцару и, как было предписано, под видом объятия и поцелуя прошептал тому на ухо заклинание, лишившее его воли. Симон, наблюдавший за учителем, первым ощутил утрату его влияния, но для очистки совести спросил, не следует ли оказать сопротивление — стража была не такой уж и многочисленной. Но обезволенный ноцар сдался без боя. Тогда Симон понял окончательно, что перед ним не Иисус. Этим объясняется и его троекратное отречение впоследствии. Все прочие, очевидно, почувствовали то же самое и разбежались. Ноцар покорно дал доставить себя к Пилату, на суде невыразительно блеял и закономерно был осужден на позорную рабскую смерть. Понятно, что такой бесславный конец предводителя ошеломил всех его адептов, и они в ужасе отшатнулись.

— Но ведь это означает... Боже правый! Какой ужас!.. Выходит, что на кресте распяли деревянную куклу, и не было никакой крестной муки! Никакого жертвенного страдания! Все — обман, подделка!

— А вот здесь ты глубоко заблуждаешься. Дело в том, что *йоцёр*, создатель в полной мере испытывает все то, что приходится на долю *ноцара*. Иисус вынес все страдания и смертные муки своего двойника. За одним исключением — он не умер. По мне, так это куда страшнее... К тому же он весьма тяготился тем, что его мать и жена тоже страдали не понарошку.

— Вот чего я не могу понять — зачем было заставлять их так жестоко мучиться? Почему нельзя было этих несчастных женщин посвятить в тайну? Уж кто-то, а они бы Иисуса никогда не предали.

— Ответ один — ради правдоподобия. После того, как Иосиф счастливо вызволил Иисуса из узилища, их внезапно озарило: они поняли, что игра еще не проиграна. Напротив, все стечение обстоятельств наводило на мысль о божественном усилении. Ведь после уничтожения ноцара Иисус мог явиться людям, будто бы воскреснув из мертвых, и продолжить проповедь, постаравшись исправить нанесенный ноцаром вред. Надо было лишь выбрать для этого правильных людей. Например, такого, как Саул Тарсиец, известный тебе под именем Павел. Что, по всей вероятности, и было сделано. Забавно, что еврей-христиане вскоре стали называть себя *ноцр'им*, что может быть прочитано, как «созданные». Чтобы объяснить это прозвание, ученые богословы впоследствии придумали, что семья Иисуса была родом из галилейского города Назарета — Нацерет, по-еврейски, хотя такого города во времена Иисуса, скорее всего, еще не существовало. Другие же производят самоназвание христиан от слова *не́цер* — отпрыск, подразумевая под этим, что Иисус был потомком царя Давида. Это хоть и неверная гипотеза, но по крайней мере, имеет под собой основание. Вот и все, что я должен был тебе рассказать, Марко бар Абба бен Давид бен Аарон. Есть ли у тебя еще вопросы?

— Нет. Вот разве что... Как по-твоему, отчего символ Христа — рыба?

— Не знаю. Наверное, оттого, что рыба не может закрыть глаз. А вот ты все никак не можешь задать единственно важный для тебя сейчас вопрос!

— А разве ты можешь на него ответить?

— Это несложно. То, что ты — продолжатель рода, еще не говорит о том, что тебе предстоит раскрыться. Слишком многое должно сойтись для этого одновременно в одной точке — Север и Юг, Восток и Запад.

Если б Соломон был еще жив, мы бы... Но увы. Все что вы можете нынче сделать — вместе с Тарой отыскать реликвии. Не нужно пытаться завладеть ими — гораздо сохраннее они будут в каком-нибудь большом храме. Просто знайте, где они находятся, и живите поблизости. Живите счастливо, рожайте детей, лечите людей, берегите знание, но пуще всего берегите друг друга. Дочь моя, я слышу, как ты плачешь, и это рывает мне сердце!

— Прости, отец. Я старалась плакать очень тихо.

— Не сердись, звезда души моей. И почему ты решила, что мы расстанемся навсегда? Вы устроитесь на новом месте и...

— Отец! Ты никогда не обманывал меня, а теперь уже поздно начинать, — Тара подошла к Дэвдану, опустилась на колени, уткнулась головой ему в бороду и заговорила на непонятном Марко наречии.

Старик обнял ее, стал гладить по волосам. Широко раскрытые белые глаза его наполнились влагой. Марко отвернулся.

Позже, в знакомом уже подземелье он сказал Таре:

— Не понимаю, почему вы так уверены, что более не встретитесь! Разве не может статься так, что реликвии останутся там же, где и были?

Тара отозвалась не сразу:

— Я составляла гороскопы, — совершенно сухим голосом произнесла она. — Наши судьбы расходятся в этой точке. Мне предначертано путешествие на север.

— А ему?

— Ему — ничего.

* * *

lomio_de_ama:

Я вчера прочел в одной интересной статье:

Многие древние инструменты имеют семь струн, и, по преданию, Пифагор был тем, кто добавил восьмую струну к лире Терпандра. Семь струн всегда соотносились с семью органами человеческого тела и с семью планетами. Имена Бога воспринимались тоже в качестве форм, образованных из комбинаций семи планетарных гармоний. Египтяне ограничивали свои священные песни семью первичными звуками, запрещая производить иные звуки в храме. Один из их гимнов содержал следующее заклинание: «Семь звуковых тонов воздают хвалу Тебе, Великий Бог, вечно творящий Отец всей вселенной». В другом гимне Божество так описывает Самого Себя: «Я великая неразрушимая лира всего мира, настроенная на песни небес».

8note:

К слову о синхронизмах. Посмотри, на что наткнулся вчера я у **egmg**:

...два перцептивно-коммуникативных канала дают два варианта эпифании божества в виде света (см. Мирча Элиаде) и в виде голоса. Причем, в пределах, свет этот невидимый за ослепительностью, а голос неслышимый за громогласностью. Гром и молния, собственно. Свет в эманации нисхождения в мир приобретает образ, в худшем пределе оплотняется идолом. Голос обретает слово... Голос, очищенный от слова — музыка.

*2 сентября 1939 года
Роминтенская пуща*

— А дальше? — встрепенулась Вера.

— А дальше я еще не написал, — отозвался Мартин.

— Но ты же знаешь, что с ними стало? Хотя бы в общих чертах?

— Только то, что записано в семейной хронике. Эссенциально.

— Пусть будет эссенциально!

— Хорошо. В городе полным ходом шло разграбление святынь. Было очевидно, что все церковные сокровищницы выпотрошат подчистую. По понятным причинам для Марко было крайне нежелательно, чтобы реликвии достались его землякам, равно как и были похищены порознь какими-нибудь другими проходимцами. Поэтому он решил взять дело в свои руки и указал на церковь Святых Апостолов саксонским рыцарям Конрада фон Кроссига, епископа Хальберштадтского. Убедившись в том, что холст и полено пристроены надежно, Марко и Тара нанялись к епископу на службу, а это потребовало от них немалых ухищрений, и стали выжидать удобного случая приблизиться к нему. Случай представился нескоро — через четыре месяца после взятия города, когда Балдуин Фландрский был коронован в Константинополе, Конрад вспомнил о данном им обете посетить Святую Землю и засобирался в путь.

— Четыре месяца? Почему же они не вернулись в дом Дэвадана?

— Дэвадан не пережил той ночи — был убит мажордерами. Да, так вот, наши герои на одном из трех кораблей епископа прибыли в Тир. Там Конрад некоторое время замещал отбывшего в Грецию архиепископа. Марко же удалось войти в доверие к прелату,

излечив его от злой лихорадки. Однако он весьма благоразумно не стал приписывать себе эту заслугу, а подал епископу идею объявить о чудесном исцелении при посещении храма Пресвятой Богородицы в Тортозе. Скромность и смиренномудрие юноши снискали ему глубокую симпатию Конрада. Но сделаться воистину наперсником князя церкви Марко сумел при помощи Тары, вынужденной всю дорогу изображать его оруженосца, что, впрочем, не особенно ее тяготило. Она составила для епископа гороскоп, по которому выходило, что кораблю Конрада суждено сгинуть в морской пучине на обратном пути в Европу, если...

— Если что?

— Этот вопрос крайне заинтересовал епископа, у коего были нешуточные основания опасаться небесной кары, ведь он, во-первых, принимал участие в осаде Задара вопреки воле Папы Иннокентия III и даже едва не был отлучен за это от церкви, во-вторых, хорошо нагрел руки при взятии Константинополя, а в-третьих — и это более всего смущало его — ограбил христианскую церковь самым недвусмысленным образом. На самом деле звезды предвещали всего лишь опасное приключение и сулили епископу долгие годы жизни, но наши герои хитроумно использовали это обстоятельство в своих целях. Марко исподволь внушил Конраду мысль о том, что корабль утянут на дно несправедно обретенными богатствами, и предложил искупить грех избавлением от оных. Про реликвию он, само собой, умолчал. Епископу такой выход пришелся весьма по душе, и он без промедления начал проявлять неслыханную щедрость — за свой счет восстанавливал тирские стены, разрушенные землетрясением, кормил нуждающихся, содержал дома призраки и в результате этой лихорадочной благотворительности в скором времени лишился более двух третей своего имущества. Тара изготовила новый гороскоп, и — о чудо! — угрозы неотвратимой гибели в нем уже, разумеется, не было, и Конрад смог, наконец, вздохнуть

спокойно. Они отплыли из Акры¹ в конце марта 1205 года, провожаемые самим Амори де Лузиньяном — королем Иерусалимским, возле Крита попали в предсказанную бурю, которая протрепала их трое суток и чуть не забросила в Африку, но в итоге благополучно добрались до Венеции на исходе мая.

— Воображаю, каким уважением к пророческому дару Марко преисполнился этот епископ!

— Этого мои предки и добивались. По возвращении в свою епархию Конрад с величайшей помпой поместил реликвии в санкутарий главной Хальберштадтской церкви — собора Святого Стефана. Среди прочего под номером четвертым в списке значилась часть Истинного Креста Господня, а под седьмым — саван Его. Sapienti sat². Самое забавное, что в числе мощей фигурировала рука апостола Вараввы. Короче говоря, хранилище надежнее этого придумать было трудно.

— Хорошо, реликвии были пристроены, а что сами Марко и Тара?

— Конрад в избытке чувств предложил рукоположить Марко с тем, чтобы в скором времени сделать его аббатом. Но Марко примкнуть к клиру отказался, сославшись на волю отца, желавшего видеть сына врачом. Конрад отпустил Марко для завершения курса в Салерно, оплатил учебу и даже выделил из своих средств стипендию с одним условием: по получении диплома — вернуться в Хальберштадт. Ну, а это и так входило в планы Марко. Так мои предки поселились в Саксонии и до семнадцатого века не покидали ее пределов.

— Но в той сказке, что ты мне рассказывал, Барабас жил в Кракове уже в шестнадцатом, а за реликвиями ездил в Магдебург! К тому же он был евреем! Как же так?

— Это самый темный кусок нашей семейной истории. В ней весьма скупо говорится о том, что один из

¹ Нынешнее Акко.

² Знающему — довольно (*лат.*).

сыновей принял иудаизм и зачем-то уехал в Польшу. Для члена такой антиклерикальной семьи, как моя, это, по крайней мере, странно. Известно также, что сын Йефета вернулся из своего путешествия в Англию вполне светским, насколько это было возможно в те времена, человеком и воссоединился с родней.

— Подумаешь, загадка! — хмыкнул Беэр из своего угла. — Я вот уж на что антиклерикал, а год с лишним в хасидах¹ по доброй воле проходил! Каббалу изучал он в Кракове, что ж еще?

— А Магдебург? Откуда взялся Магдебург? — упорствовала Вера.

— Хальберштадт в шестнадцатом столетии был слишком малоизвестным и незначительным городишком, чтобы можно было узнать его по чьему-то там сновидению. Поэтому ради правдоподобия в сказке он был заменен ближайшим крупным городом, а им оказался Магдебург на Эльбе, — пояснил Мартин. — Ты же понимаешь, что реальный Барабас безо всяких снов прекрасно знал, где находятся артефакты. Ему лишь требовалось подтверждение тому, что Барбара была Шхиной.

— А поскольку она увидела во сне Хальберштадт, то...

— Совершенно верно!

— Хорошо, а кто такие были кот и лис?

— Ну, об этом вы могли бы и сами догадаться, — подал голос Шоно. — С вашими-то способностями.

— А вы бы могли догадаться, что мне не до игры в загадки, после всего того, что вы тут на меня вывалили! — огрызнулась Вера. — Удивительно, что я в принципе еще что-то соображаю!

— Вы же профессионалка! — примирительным тоном ответил Шоно и на всякий случай добавил: — Это комплимент. А лис и кот — это мы с Беэром. И Пандит с Атенсотром. Египет и Индия. Волшебные существа Запада и Востока. Понимаете?

¹ Хасидизм — религиозно-мистическое течение в иудаизме. Хасид на иврите означает «праведный».

— Да уж понимаю, наверно, хотя до сих пор думала, что вы — волк и медведь, — проворчала Вера, успокаиваясь. — То самое схождение, о котором толковал Дэвадан.

— Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat...¹ — выразительно продекламировал Беэр. — Старина Киплинг — единственный поэт, которого я в состоянии читать без содрогания, и вообще уважаю, как мыслителя, но вот здесь он дал маху. К примеру, мы с Шоно прекрасно друг друга понимаем, правда, Зэев?

— Да, Баабгай. Когда ты не говоришь на австралийском сленге с еврейским акцентом.

— А ты — по-немецки с бурятским. Но в остальном ведь у нас много общего! Ты разделяешь мою точку зрения?

— Для этого мне нужно подрасти хотя бы на метр.

— Я сознаю, что занимаю слишком много места в этом склепе, но упрекать меня в том по меньшей мере неэтично! И я не виноват, что твои меннониты недокармливали тебя в детстве.

— Кстати, я давно хотела спросить, а какое отношение к этой истории имеют меннониты?

— Ох, это длинный разговор! — вздохнул Мартин.

— А ты снова — эссенциально! — подбодрила его Вера.

— А я предлагаю все же ненадолго отложить сию животрепещущую тему, — сказал Шоно, — и заняться эвакуацией, если мы не хотим еще сутки здесь торчать. Сейчас перед рассветом такой туман, что самое время добраться до леса.

— А почему бы нам не перебраться через озеро вплавь? — задумчиво протянула Вера. — Раз уж все тихо, и туман?

¹ О, Запад есть Запад, Восток есть Восток.
Сойдутся они лишь тогда,
Когда пред Богом Земля и Небо
Предстанут в зале суда. (англ.).

— Можно, но — без меня, — со смущением ответил Беэр. — Я плавать не могу совсем. У меня в воде делаются страшные судороги задних конечностей. Думаете, почему я так быстро греб обратно к берегу?

— Это последствие ранения в позвоночник, — тихо сказал Вере Мартин, когда они, взобравшись по веревке, ждали Беэра у корявой сосны. — Чудо, что его тогда не парализовало...

— Он был бы не он, если бы парализовало, — откликнулась Вера, с нежностью глядя на вылезавшего из-за края земли великана с перевязанной головой.

* * *

Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру.
Совершенно секретно!

По делу о диверсионной группе из Данцига на данный момент имею доложить следующее:

1. В результате розыскных мероприятий группа, подходящая под описание, была локализована вчера в районе Роминтер Хайде. При попытке задержания силами местной организации предполагаемые диверсанты оказали вооруженное сопротивление и сумели скрыться.
2. Сегодня в 01:30 пограничной охраной на Виштинерзее зафиксирована попытка нелегального перехода нашей границы с Литвой, каковая была пресечена литовскими пограничниками, открывшими по нарушителям огонь. Согласно надежным источникам информации в Литве, никто из группы на сопредельную территорию не перешел.
3. По моему указанию моторизованные и кавалерийские подразделения осуществляют непрерывное патрулирование по периметру квадрата, в котором с большой вероятностью находится в настоящий момент разыскиваемая группа. Таким образом, ее можно считать надежно блокированной.

Исходя из вышеизложенного, а также из установки на захват, а не уничтожение этой в высшей степени профессиональной группы, во избежание лишних потерь личного состава прошу подкрепления из Вашего резерва, поскольку в моем распоряжении нет подготовленных подразделений особого назначения.

Хайль Гитлер!
Командир оберабшнитте СС «Норд-Ост»
группенфюрер Вильгельм Редиес.

07:00
2 сентября 1939 года.

Командиру оберабшнитте СС «Норд-Ост»
группенфюреру Вильгельму Редиесу.
Совершенно секретно!

Спецгруппа парашютистов-егерей вылетит из Берлина в 11:00.

В целях экономии времени личный состав десантируется в непосредственной близости к месту операции.

В вашу задачу входит подготовка посадочной площадки и оказание всяческого содействия вышеозначенной группе.

Хайль Гитлер!
Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер.

08:25
2 сентября 1939 года.

2 сентября 1939 года
Берлин

— Неслыханная халатность! Если б не случайное вмешательство литовцев, мы бы их упустили! — Гиммлер рывком поднялся из кресла и подошел к окну. — Сидите, Рудольф! — остановил он собеседника в штатском, обозначившего намерение встать. Тот качнулся обратно и, едва коснувшись спинки стула, произнес расслабленным голосом:

— Когда случайности работают на нас, рейхсфюрер, они называются иначе и подтверждают правильность нашего пути.

— Ах, Рудольф, ваш истинно нордический фатализм меня восхищает и пугает одновременно! Возьмите сигару! Сам я курю редко, но люблю этот запах. Хотя пассивное курение тоже вредно...

— Благодарю вас, рейхсфюрер, но предпочту воздержаться.

— Воздержанность — это величайшая добродетель! Я и сам не могу пожаловаться на отсутствие выдержки, но сейчас просто не нахожу себе места от вынужденного бездействия! Восемнадцать тысяч моих солдат в это самое время идут в атаку, а меня лишили возможности быть с ними рядом! Это невыносимо!

— Но мудро, рейхсфюрер. Полководцев у нас более чем достаточно, а вот вас заменить будет некем.

— Да-да, вы как всегда правы, — Гиммлер вернулся за стол. — Идеологию нельзя доверять этой обезьянке фюрера. Вы же знаете, моя святая миссия — создать для Рейха чистую, беспримесную древнюю религию!

— Вос, рейхсфюрер.

— Что?

— Вы хотели сказать: воссоздать!

— А, ну да! Естественно. Подобно Магомету, — сиреневый отполированный ноготь постучал по зеленому

сафьяну Корана, лежащего на столе, — я должен отделить веру от плевел всех этих иудеохристианских рефлексий! Выкристаллизовать ее и превратить в наше главное, непобедимое оружие!

— Прошу простить, рейхсфюрер, вы читали Фрейда?

— Этого еврея? Увольте! С меня хватило краткого пересказа его грязных идей!

— А между тем в своей последней работе он развивает предположение Гёте и гипотезу Зеллина о том, что евреи убили давшего им новую религию Моисея, который был египетским жрецом...

— Убили, присвоили и извратили до неузнаваемости! Как это на них похоже! И уж если один из них такое пишет...

— ...там же излагается весьма убедительная гипотеза о том, что монотеистическая религия эта возникла не в Египте, а пришла с Востока, и, следовательно, то была религия...

— Арийцев! Несомненно! Я всегда это знал, я чувствовал! Передо мной стоит грандиозная задача!

— ...в решении которой могут очень поспособствовать люди и артефакты, за которыми вы сейчас охотитесь, рейхсфюрер. И поверьте, что эта охота ничуть не менее важна, чем война, которую ведут сейчас наши доблестные генералы. Осмелюсь предположить даже, что она важнее.

— Благодарю вас, Рудольф. Вы укрепляете меня в моей уверенности, — Гиммлер привычным жестом потрогал треугольный шрам на левой щеке — след давнего *мэнзура*¹. Жест этот противоречил словам рейхсфюрера, поскольку обозначал как раз глубокое сомнение. — Но я бы хотел еще раз убедиться... Нет-нет, в подобных вопросах я вам доверяю как никому, просто вся эта история столь невероятно звучит...

— Помилуйте, рейхсфюрер! — штатский усмехнулся, почти не скрывая иронии. — Я не удивился бы,

¹ Mensur (нем.) — фехтовальный поединок, практиковался германскими студентами в конце XIX – начале XX вв.

услышав такое от Гейдриха, но от вас?.. Разве вам я стал бы предлагать что-то, что звучит *вероятно*? Вероятными вещами пусть занимается гестапо. Ваша же цель лежит в таком сейфе, который их примитивными отмычками не вскроешь.

— Но как вы... как мы вскроем этот сейф?

— Для этого-то нам и нужно добыть два аутентичных ключа — золотой и деревянный. С их помощью вы станете новым Заратустрой, или Магометом, или кем вам заблагорассудится.

— А вы? — чересчур поспешно спросил Гиммлер. — Моим первым апостолом?

— О нет, так далеко мои амбиции не простираются! — засмеялся Рудольф. — С вашего позволения я бы удовлетворился званием директора своего собственного института. Но не будем делить шкуру еще не убитого медведя, как говорят русские!

— Я помню эту поговорку. Я когда-то изучал русский, — Гиммлер поглядел на часы, вытянул из нагрудного кармана какой-то порошок, высыпал на обложенный язык, проглотил, заметно передернувшись, запил водой. Подавив отрыжку, пробормотал невнятно: — Извините, катар желудка. У меня очень нервная служба... М-да. И все же непостижимо, как вы умудрились раскрутить это дело в такие сжатые сроки! Вы просто гений!

— Полноте, рейхсфюрер! Немного способностей, немного везения и много возни. По правде сказать, большая часть работы была мною проделана еще в Москве, а перед вами я всего лишь эффектно вытащил кролика из шляпы. Все материалы я получил из архива Бокия, а дневник расшифровала эта его креатура-куртизанка. Нужно было лишь навести на нее моих русских коллег. Им это оказалось без толку, а вот мне пригодились весьма.

— Что это за женщина, Рудольф?

— О, это необычайное средоточие талантов, из которых самый выдающийся — сексуальный. Ее постель стоила целой агентурной сети.

— И вы тоже?.. С ней...

— С коллегой по работе? Что вы! Ни-ни! Но слышан премного. И даже кое-что видел в делах. Впечатляет.

— Однако, — Гиммлер оттянул воротник и сглотнул. — Вы не находите это отвратительным?

— Отчего же? Очаровательная женщина, умнейшая к тому же, служит на благо своей родины, не щадя своих, так сказать, достоинств. По-моему, это даже возвышенно. К тому же она, сама того не подозревая, хорошо поработала и на нас. Например, помните дело инженера Шульца? Это не женщина, а мечта разведчика!

— Вы полагаете? Я хочу на нее посмотреть. Вы сказали, она еврейка?

— Только по легенде. Полунемка, полурусская.

— Ах так? Мишлинге? Возможно, стоит ее использовать.

— Вне всякого сомнения, рейхсфюрер. И первым делом — в качестве ключика к нашему золотому ключу, извините за каламбур.

— Дельно, — Гиммлер снова посмотрел на часы. — Но расскажите, прошу вас, о том, как вы распутали этот головоломный клубок!

— Право, не хочется вас утомлять скучными подробностями!

— Ничего, я не боюсь утомиться. А до совещания у фюрера у меня есть еще тридцать восемь минут.

— Что ж. Как я уже имел честь докладывать, у меня были все, ну или почти все буквы, из которых следовало сложить осмысленную фразу. Решение у задачи должно было быть единственно верным. Я начал с самого темного места, понимая, что ключом — ох уж эти ключи! — к разгадке скорее всего является происхождение господина Гольдшлюсселя, назовем его для краткости А. Хотя порой кажется, что в германских архивах при желании можно обнаружить школьные шпаргалки Оттона Великого, о родителях А в них не нашлось ничего, как будто он соткался из эфира, а не появился на свет обычным для людей способом. Итак, что мне

было известно про А? В показаниях советского писателя Толстого — весьма подробных, замечу — из коих я почерпнул самое главное, а именно — легенду о деревянном человеке, указано, что предки А перебравшись в Германию из Константинополя в начале тринадцатого столетия, то есть, очевидно, по окончании четвертого крестового похода. Далее, А утверждал, что фамилия его предка была Барабас.

— Это еврейская фамилия?

— Скорее всего. Но это совершенно неважно — у этой династии нет национальности.

— Как такое возможно?

— Полагаю, она возникла задолго до появления понятия «нация». Так или иначе, третьим важным фактом было то, что А считался приемным сыном писателя Зудерманна.

— Этого юдофила?

— У светила германской литературы имелась такая слабость. Как бы то ни было, мне удалось установить, что официально Зудерманн никогда и никого не усыновлял, и о том, что А жил в его доме, знали лишь самые близкие писателю люди. А это уже пахнет некоей тайной. Зайдя в тупик, я начал раскручивать самого Зудерманна. Вот данные, которые привлекли мое внимание: а) Зудерманн был меннонитом, б) перед тем, как купить замок в Бланкензее, Зудерманн побывал в Египте и в Индии. Почти сразу по возвращении он берет под опеку А.

— Так-так-так, — рейхсфюрер потер руки. — Становится теплее!

— Да, обе страны обладают жарким климатом, — лицо Рудольфа сохраняло невозмутимость. — Теперь оставим его на время и займемся третьим персонажем нашей четверки — Вольфом Роу, в дальнейшем будем называть его В. По национальности бурят. Буддист. Доктор философии. Из досье явствует, что В был усыновлен немецкими колонистами в Сибири и благодаря этому смог получить образование в Германии.

— В Сибири тогда жили немцы?

— Представьте себе. Более того, они тоже были меннонитами.

— Вот как? А эти меннониты, что они такое? Я не очень разбираюсь во всех этих сектах.

— Хилиастическое протестантское течение, образованное в первой половине шестнадцатого века голландцем Менно Симонсом под влиянием анабаптистских идей. Сейчас в Нидерландах их называют Doopsgezinde — крестьящиеся сознательно. Утверждали отделение церкви от государства, отрицание насилия, свободу совести, любовь и братство и прочее в том же духе.

— Да-да, я припоминаю. Их отовсюду гнали за отказ от военной службы. И поделом. Они немногим лучше евреев...

— ...к которым традиционно хорошо относятся. Но как любая религиозная доктрина, меннонизм разделен на множество малых течений, обособленных и зачастую не приемлющих друг друга. Так, к примеру, некоторые из них считают Иисуса Христа не богом, а идеальным человеком. А есть и такие, что держат свои убеждения в совершенной тайне, к которой нет никакой возможности приникнуть извне.

— Так уж и никакой? Есть хорошая поговорка: что знают двое, знает свинья.

— Но не когда речь идет о веровании крайне замкнутой общины. Много ли мы знаем о религии, скажем, друзей?

— Предположим, — Гиммлер снял пенсне, зажмурился и помассировал красную переносицу. — Но как это все связано с нашим делом?

— Для начала я предположил, что столкнулся как раз с такой обособленной общиной, хранящей некое тайное знание. Далее. Меннониты верят во второе пришествие. Их течение возникло в шестнадцатом веке, а именно в этом веке по легенде произошло сотворение деревянного человека. Я допустил, что это не простое совпадение. Затем мне пришлось в голову проверить

одну деталь. Как вы помните, по легенде колдун Барабас похитил из магдебургского собора две вещи — полено и платок. Но в Магдебурге таких реликвий никогда не было. Зато были они в соседнем епископстве — Хальберштадтском. Часть креста и плащаница Христа. И попали они туда именно в результате четвертого крестового похода!

— То есть тогда же, когда и предки Гольдшлюсселя?

— Именно! Я незамедлительно отправился в Хальберштадт, взял образчики от обоих предметов и по возвращении в Берлин провел экспертизу.

— И что же оказалось?

— Подделка. Кусок искусственно состаренного тюрингского дуба и голландское полотно конца шестнадцатого — начала семнадцатого века. Значит, легенда оказалась правдой, и артефакты действительно перекочевали в Англию. И тут я узнаю, что четвертый фигурант нашей истории прибывает в Данциг через Данию из Англии, а при таможенном досмотре в его саквояже обнаруживаются вышеозначенные реликвии! Увы, узнаю я об этом слишком поздно для того, чтобы устраивать игру по своим правилам. Номер четвертый успеваешь лечь на дно, — Рудольф развел руками, изображая раскаяние.

— Я вас в этом не виню, друг мой. Вы и так совершили невозможное. Продолжайте, пожалуйста! Что это за четвертый номер?

— Некто Мэттью Берман. Обозначим его литерой С. Еврей, капиталист, типичный космополит, агент британской разведки, а также папиролог и палеограф выдающихся способностей.

Гиммлер незаметно записал в блокноте карандашом слова «папиролог и палеограф».

— Я бы удивился, если бы дело обошлось без евреев, — раздраженно сказал он. — Как вы полагаете, какова его роль?

— Во-первых, он финансирует все предприятие. Во-вторых, организует его. В-третьих, очевидно, выступает

в качестве палеографа, то есть расшифровывает какие-то древние документы.

Рейхсфюрер зачеркнул слово «палеограф». Рудольф продолжал:

— Это наводит на мысль о том, что вся процедура ритуала, включая магические заклинания, попала в руки *A* и *B*, и они, будучи не в силах прочесть манускрипт, обратились за помощью к *C*. Судя по описанию ритуала в легенде, им все равно был нужен третий. Теперь, опуская за неимением времени некоторые этапы моего умственного процесса, начерчу полученную в его результате схему: Зудерманн принадлежал к тайной меннонитской организации, назовем ее условно «хранителями».

— Хранителями чего?

— Некоей традиции. Я позже изложу свою версию. Итак, «хранители» по какой-то причине утрачивают нечто из хранимого и пытаются отыскать. Им становится известно, что способ отыскать утраченное есть, но знают его только тибетские ламы. Европейцам же в Тибет дорога заказана. И тут Зудерманн узнает о выкорыше меннонитов *B*, который подвизается по научной стезе в Тибете. Он связывается с *B*, встречается с ним в Индии и сообщает нечто такое, отчего тот бросает исследования и отправляется в Германию. Вскоре после этого на сцене неизвестно откуда появляется младенец *A*. Следовательно, он и был тем, что искали «хранители».

— Но каким образом *B* это удалось?

— Но, рейхсфюрер, вы же знаете, что тибетские ламы перед смертью указывают, где и по каким признакам искать их преемника!

— Ах да, конечно, конечно! Но чьим преемником был *A*?

— Но это же очевидно! Sangreal! Истинная кровь!

— Вы хотите сказать...

— И говорю! Святой Грааль, спасенный согласно легенде Иосифом Аримафейским, это ничто иное, как

кровь древних властителей мира! Не собранная в чашу, а живая! Династия, пережившая тысячелетия, сохранилась поныне!

Услышав про династию властителей, Гиммлер осторожно откашлялся и уставился на Рудольфа стеклянным взглядом:

— И что я должен с ними делать? Усаживать на трон?

— Разумеется, нет! Использовать в своих целях заключенную в них древнюю силу!

— Но как? Простите, Рудольф, но я никак не возьму в толк... При чем тут деревянные люди?

— Боже мой, рейхсфюрер, это же очевидно! Вы же читали легенду! А обладает способностью создать с помощью древнейшей магии некое сверхсущество, обладающее невероятной силой убеждения!

— И как это действует?

— Вы знаете, что я недурной гипнотизер...

— Вы уникальный гипнотизер!

— Благодарю вас, рейхсфюрер. Вы видели, как я могу заставить сразу нескольких людей перестать меня замечать, вы видели, что Шэфер до сих пор убежден, что не выдал в разговоре со мной своего друга...

— Кстати, Шэфера я решил отослать в Дахау.

— Не слишком ли суровая кара за то, что человек остался верен идеалам студенческого братства?

— Не будь мне понятны и близки его побуждения, я бы послал его туда узником навсегда, а не временно — офицером охраны. Однако он должен быть примерно наказан за недопустимый в нашем деле индивидуализм. Нужно понимать, что нынешние идеалы превыше всех прочих! Но вернемся к гипнозу!

— Да... Вам известно, что в спецлаборатории Бокия я также занимался этими вопросами. Так вот, к сожалению, есть люди, гипнозу не поддающиеся. А теперь вообразите себе гипнотизера, перед которым не в силах устоять никто! И этот гипнотизер способен внушать миллионам людей одновременно!

— Что внушать?

— То, что вы внушите ему. Представьте себе, чего вы сможете добиться, имея у рта такой рупор! Это вам не дудочка гаммельнского крысолова. Я имею основания полагать, что и иудаизм, и христианство были инициированы этим самым способом.

— Вы совершенно меня убедили, Рудольф! Мне нужна эта вещь! Добудьте ее, и можете рассчитывать на... мою бесконечную признательность!

— Я не меньше вашего заинтересован в успехе, рейхсфюрер. Ведь вы же делаете это на благо Рейха.

— О да, о да. Но скажите, почему так важно брать живыми всех четверых? Разве не достаточно одного А?

— Нам неизвестна роль каждого из них. Возможно, ритуал представляет собой что-то вроде свадьбы с двумя уникальными свидетелями, и стоит убрать одно звено, как все рассыплется. Мы не можем рисковать.

— Да-да, я понимаю, — простонал Гиммлер, подымаясь. — Просто это все так осложняет. Я даю вам своих лучших специалистов, из которых планировал в ближайшем будущем сформировать ядро батальона специального назначения. Это опытные бойцы — они прошли Испанию, работали в Африке, были в деле в Судетах. Беда в том, что у меня их всего двенадцать. Жаль будет потерять и одного из них.

— Что ж, всякая игра стоит свеч, рейхсфюрер. А такая игра — тем более, — сказал Рудольф, пожимая протянутую Гиммлером мягкую влажноватую руку.

— Еще раз благодарю вас за блестяще выполненную работу!

— Хайль Гитлер!

— Хайль!

Рудольф мягко развернулся на каблуках и зашагал к двери. Если бы в тот миг нашелся человек, умеющий читать по губам русскую речь, он прочел бы на губах гипнотизера в штатском нечто весьма нелестное для рейхсфюрера и его почтенной матушки.

- Привет! Ты еще не спишь?
- Да я забыл уже, когда в последний раз спал.
- О, я из-за тебя тоже всю ночь глаз не сомкнул!
- Что случилось? Дочитал рукопись?
- Нет, страниц тридцать осталось. Но это не важно. Если ты думаешь, что понимаешь, как именно ты раскачал маятник Фуко, так знай, что ты ничего не понимаешь!
- Объясни.
- Помнишь, ты шутил про розенкрейцеров и тому подобное? А потом я тебе писал, что мне дали новый проект — Тольдот Йешу?
- Ну, помню, конечно. Я еще тогда подумал, что это забавное совпадение.
- Обхохочешься. Ты даже не представляешь себе, на что ты меня натолкнул своей книгой!.. Дело в том, что ты попал в яблочко!.. Мелкие несовпадения только подтверждают!..
- Погоди-погоди, я ничего не понимаю! Куда я попал? Что подтверждают? Объясни по порядку!
- Попробую, хотя какой там порядок... У меня сейчас голова взорвется... Ладно. Помнишь, мы говорили о том, что Тольдот Йешу при всей своей кажущейся идиотичности представляют из себя нечто очень серьезное? Куча исследователей обломало на них зубы, и никто не верит, что у нас с Шэфером что-то выйдет... А я-то теперь знаю, что их надо расшифровывать по твоему принципу!
- Ну, я не знаю. То, что я читал...
- Забудь то, что ты читал. То, что есть в интернете — ерунда. Это я тебе говорю как человек, у которого сейчас в компьютере около двухсот разных версий. Разных, улавливаешь? Везде есть пусть небольшие, но несоответствия. Так вот, меня осенило, когда я у тебя прочел про акведук, который построил Пилат на деньги Храма!
- Акведук же еще Хасмонеи провели. Он пристроил несколько километров.
- Да неважно! Важно то, что в нескольких версиях говорится о том, что Иуда похоронил Йешу под акведуком! Это свидетельствует о том, что писавшие были вовсе не невеждами, какими их принято считать. Там вообще масса точных исторических деталей. Эти люди знали, что делают! Нет более

надежного способа укрыть что-то на века, чем спрятать под строящимся акведуком!

— Интересно. Если я правильно помню, он проработал до начала двадцатого века. Правда в шестнадцатом турки зачем-то взяли его углублять на три метра и только испортили. Может, искали чего?

— Может и искали. Да, так вот, стал я читать эти сказки по твоему методу, и открылись мне многие интересные вещи, ранее казавшиеся бессмысленными. Например, что Йешу умер дважды. Или что Иуда спрашивает Пилата: если принесу тебе Йеошуа, принесу ли Израилю йешуа, в смысле спасение? Или то, как Йешу связан с Хасмоняями. Или почему во время религиозного диспута с христианским священником в Германии в 11 веке раби Ихиэль бен Шмуэль воскликнул: «Это не тот Иисус!» И многое в том же духе. У меня через полгода доклад...

— Вот и пришли мне его почитать, а то я все равно не очень выезжаю.

— Обязательно! Но вот что еще интересно. Впервые несколько версий Тольдот Йешу опубликовал под одним переплетом некто Самуэль Краус в 1902 году — версию Вагенвальда, Хульдрайха, версию из Каирской генизы, славянскую и еще пятую. Вот с этой пятой неясно, откуда она. Краус ссылается на некий источник из Венской библиотеки. Я написал туда, и выяснилось, что книги у них нет.

— Сперли?

— Круче. В 1938 году лично от Гейдриха пришел приказ о конфискации всех еврейских архивов — библиотечных и общинных. Кстати, отвечал за операцию никто иной как Эйхман.

— Ничего себе!

— Дальше — больше. Я начинаю раскручивать эту цепочку и выясняется, что в 1944 в концлагерь Терезин свозят кучу еврейских ученых для каталогизации конфискованных архивов! В частности, некоего рава Биньямина Мурмельштейна, через которого эта история, собственно, и выплыла на свет. Заметь, что в сорок четвертом Гейдрих архивами уже два года как не интересуется, поскольку может легко обратиться к первоисточникам.

— Ну да, его шлепнули в сорок втором, если не изменяет память. Значит, я прав? Гейдрих только выполнял предписания Гимmlера?

— Очевидно. Далее — с наступлением весны и Красной Армии архивы эвакуируют сперва в замок Фюрстенштейн, затем в замок Воефельсдорф, потом еще куда-то, где летом 1945 их обнаруживают советские войска.

— Вот те на!

— Ага. Двадцать восемь вагонов! Уходят в Москву! И там их погребают в архиве Советской Армии.

— М-да. Это даже лучше, чем под акведуком.

— Увы. На этом мои изыскания завершились. Я не нашел общего языка с их начальством. С таким же успехом я мог бы упрашивать пирамиды раскрыть свои секреты. Они, правда, что-то передали в Ленинскую библиотеку, но не то, что мне нужно.

— Как прав был Спилберг! Все величайшие тайны человечества наверняка покоятся в армейских архивах!

2 сентября 1939 года
Роминтенская пуща

Миновав очередной перекресток двух просек, Мотя ругался — по-русски и негромко — слышно было только мне:

— Это не лес, а какое-то Чикаго! Каждые полтора километра с востока на запад — проспект, каждые два с севера на юг — авеню И везде понатыканы чертовы вышки. Черт бы побрал эту немчуру с ее тошнотворной прямолинейностью!

На мой взгляд лес был как лес — вполне себе дикий и почти девственный, хотя местами, действительно — причесанный на пробор. Впрочем, изрядно заросшие подлеском прореди не производили унылого впечатления, а напротив — создавали ощущение приятного разнообразия. Но Мотя — истый траппер — не разделял моих городских взглядов:

— Это вам не Канада и не Сибирь. В таком лесу охотиться легко. А это очень и очень скверно.

— Почему? — глупо спросила.

Он обернулся и уставился исподлобья. Поняла, что сморозила, кажется, покраснела. Мотя пожалел — не стал добивать, перевел на другое:

— Скажите, Верочка, будь вы здешним егерем, что бы вы сделали, если бы вам нужно было изловить в этом лесу, скажем, нескольких браконьеров? Не убить, а именно поймать? Вот, посмотрите карту! — протянул планшет.

— Все зависит от того, сколько у меня людей... и собак.

— Собаки, да... Я это как-то упустил. Черт, черт... — устрашающе хрустнул костяшками пальцев.

На звук подошли Марти и Шоно.

— Что за шум? — спросил азиат. — Я уж было подумал, что ты тут опять кому-то шею ломаешь.

— Нет, это я себе ломаю голову, как нам выкручиваться из сложившейся ситуации. По-твоему, в каком направлении они станут нас загонять?

— С востока и с юга, разумеется. Им нужно отрезать нам путь в Литву и Польшу. Где мы сейчас? — склонился над картой.

— Вот тут.

— Под твоим дюжим перстом, дорогой, можно спрятать небольшое княжество. Точнее!

Мотя вытащил из планшета обгрызенный карандаш, ткнул в один из пунктирных прямоугольников на зеленом облаке.

— Так... тут около пятисот квадратных километров, — забормотал Шоно. — Если они будут прочесывать, скажем, по десяти в час, на это уйдет не менее четырех дней.

— А ну как пойдут семимильной цепью, да еще с собаками? — Мотя прищурился. — Отчего бы им не согнать сюда тыщи три человек с палками и трещотками? За полдня ведь управятся.

Марти кашлянул. Все посмотрели на него.

— Я думаю, что загонять они не станут.

— Почему? — хором.

— На нас охотится кто? Гиммлер. А чей это заповедник? Геринга.

Мотя накрыл ладонью его плечо:

— Bravo, малыш! А у меня, видимо, от вчерашнего удара копытом серое вещество одеревенело.

— А какая разница? — спросила, уже привычно чувствуя себя идиоткой.

— Марти прав, — ответил Шоно. — Геринг — номер второй в Рейхе. Гиммлер у Геринга в подчинении. В результате так называемой «национальной революции» этот угорь в пенсне не смог урвать той доли пирога, на которую рассчитывал — в отличие от хряка-авиатора, поэтому любви к последнему, мягко говоря, не испытывает — и это взаимно. Угорь наверняка охотится за нами исключительно в личных интересах, и устраивать

шумную охоту в епархии соперника он не может, это очевидно.

— А что может?

— Обложить лес по периметру — вероятно, в его силах, ну, и ждать, пока мы попытаемся отсюда выйти. Так бы поступил я.

— Ждать, пока труп врага не проплывет по реке? Мы не в Китае, мой дорогой, а угорь — не травоядный буддист, — Мотя умудрялся возражать ласково. — Я согласен, что действовать он будет скрытно, но долго держать в тайне оцепление вокруг заповедника невозможно — да еще во время войны! Нет, он непременно предпримет активные действия.

— Например, что он может сделать? — Шоно поднял бровь.

— Например, убить врага, бросить в реку, быстро спуститься вниз по течению, сесть на берегу, расслабиться и немного подождать, — ответил Марти за Беэра. Тот поднял вверх большой палец:

— Ну да. Или поворошить улей, чтоб мы поскорее вылетели наружу. На его месте я бы послал несколько хороших шершней. Следопытов.

— Следопытов? — не удержалась, встряла.

— О, вы не представляете, как много следов оставляет группа из четырех человек — для опытного глаза, разумеется!

— Предположим, они нас обнаружили, — перехватил нить Шоно. — Взять нас тихо у них не получится, но и нам шуметь не с руки. Ситуация патовая. Какие у них еще есть варианты?

— Переговоры, — вдруг сказал Марти. Все снова воззрились на него.

— Резонно, — согласился Мотя. — Переговоры с позиции силы. И тогда у нас будет шанс их переубедить.

— Но как? — взгляды переместились на меня.

— Есть способы, — укоризненно улыбнулся Мотя. — Мы же все-таки волшебники.

— Ах, простите, я опять забыла, с кем имею дело.

Все не привыкну никак. Но что мы будем делать сейчас? Пока не дошло до переговоров?

— Постараемся сделать так, чтобы до них и не дошло, — честно ответил Шоно. — Поиграем в прятки.

— Вдруг да и выиграем? — Мотя старательно изобразил оптимизм.

А Марти молча обнял меня за плечи и поцеловал в макушку.

* * *

Свежеиспеченный оберштурмфюрер прохаживался по полю, унимая нервную дрожь в ногах. Ладони и колени дико саднило после того, как он проехался на них по земле чуть не сто метров, в лохмотья изодрав перчатки и наколенники. Парашюты отличались от осовавиачимовских — американской модели, — и отличались в худшую сторону, судя по тому, что прокатиться на четвереньках пришлось всем десантникам без исключения. Посматривая искоса на то, как подчиненные деловито потрошат бело-красный контейнер с оружием, Рудольф испытывал определенную гордость за то, что не сплеховал с самого начала — прыгнул первым. Теперь в глазах этих головорезов он уже не шпак, а это важно — военные терпеть не могут ходить под штатскими, пусть даже срочно произведенными в офицеры. Доверие и еще раз доверие было необходимо ему, чтобы подчинить своей власти такую непростую публику — и, похоже, контакт с залом удался — Рудольф по привычке мысленно погладил себя по голове. Но успех требовалось немедленно закрепить.

Чуть позже перед строем, он с удовлетворением отметил, что вояки хотя и не едят его глазами, но стоят смирно и держатся уже гораздо собраннее, чем два часа назад перед вылетом. Рудольф пробежал взглядом по их глазам — другие на его месте искали бы самого слабого, но он был профессионалом экстра-класса и предпочитал брать быка за рога, поэтому выбрал

самого устойчивого — темноглазого тирольца с обветренной бандитской рожей. Затем скомандовал «Вольно!», продолжая буравить взором дырку на лбу горца, вытащил из ножен обоюдоострый кинжал и стал ловко крутить его в руке — навык цирковой юности оказался как никогда кстати. Убедившись, что все бойцы как один завороженно следят за равномерным движением зеркального лезвия, Рудольф заговорил в такт своим манипуляциям, напирая на местоимение «я» и существительное «рейхсфюрер»:

— Бойцы! Перед нами стоит очень сложная задача! Я! просил у рейхсфюрера! его лучших людей и, надеюсь, я! их получил. Вы понимаете, что ваше будущее зависит от того, сумеете ли вы выполнить поручение рейхсфюрера! Я! преисполнен гордости за оказанное мне рейхсфюрером! доверие. Я! чувствую высочайшую ответственность перед Отечеством и рейхсфюрером! лично, и я! ожидаю от вас того же. Я! знаю, что вы — опытные солдаты, и буду с признательностью выслушивать ваши соображения, но! только тогда, когда я! решу, что они мне нужны. Вы должны понять, что команду здесь я! — не переставая говорить, он стремительно вложил кинжал в ножны, шагнул к тирольцу, хлопнул его по плечу и одновременно сжал запястье: — Твое имя, геноссе?

Тот оторопело дернулся, но мимолетное удивление во взгляде тотчас сменилось приязненной готовностью подчиняться. «Мой!» — подумал Рудольф.

— Йорген, оберштурмфюрер! — рявкнул тиролец радостно.

— Назначаю старшим группы, Йорген, — и, обращаясь к остальным: — Это моя правая рука. Если она меня подведет, я! отрежу ее, не дрогнув. Вы — ее пальцы, и я! приказываю ей сделать то же самое с тем, кто подведет ее!

«Одиннадцать пальцев на руке — это ты лихо загнул! — сказал он сам себе и сам себе ответил: — Ничего, зато образно и доходчиво».

Рудольф выдержал драматическую паузу, затем будничным голосом попросил всех подойти к нему.

— Камераден, задача, стоящая перед нами такова: обнаружить и захватить в лесном массиве, который вы видите на этой карте, четырех укрывшихся в нем человек. Подчеркиваю — захватить, не нанося тяжких телесных повреждений! Поэтому оружие, которое на вас, с этого момента можете считать украшением. Задача осложняется также тем, что действовать мы должны, как если бы находились в тылу врага. Я вправе держать вас в неведении относительно целей операции, однако предпочитаю доверять своим соратникам и играть в открытую. Так вот, здесь и сейчас закладывается основа подразделения особого назначения, не имеющего прецедента в мировой военной истории. Вы — его будущий костяк. Здесь и сейчас будут отработываться стратегия и тактика операций совершенно нового типа. Надеюсь, вы понимаете, почему работать придется в обстановке совершенной секретности?

Йорген по-ученически поднял руку.

— Разрешаю, — кивнул Рудольф.

— Так это вроде учения выходит, командир? Мы думали, будет боевая операция. За линией фронта.

— Понимаю ваше разочарование. Вы хотели погибнуть за Рейх? Здесь у вас тоже будет такая возможность.

— То есть они в нас будут стрелять, а мы — не моги?

— Ты абсолютно верно изложил суть дела, камерад.

В противном случае мне бы не понадобились лучшие из лучших. Но я могу вас утешить, ребята. В случае успеха награды вас ожидают вполне боевые, потому что противник у нас очень серьезный. Впрочем, для начала мы должны его отыскать. Прошу высказывать предложения по этому поводу!

— Можно? — поднял руку низкорослый крепыш с рассеченным поперек носом на блинообразном лице и, получив разрешение, сказал: — Мне бы на след ихний встать. Ну, где их в последний раз видели, значит. Оттуда по ниточке размотаю.

— Уверен?

— Я двадцать лет егерем, командир. Сызмальства в лесу. Нюх у меня собачий.

— Принято! Значит так... вот примерно тут, — Рудольф показал на карте, — километрах в пяти отсюда они вчера без единого выстрела перебили конный разезд, — он обвел глазами своих солдат и добавил значительно: — Одного вовсе нашли с перегрызненным горлом.

* * *

Ранним утром третьего дня осени по проселочной дороге из Ягдхауса в поселок Миттель Хольцек бодрым шагом шел человек средних лет, одетый по-охотничьи, однако без ружья. На широком добром лице пешехода было написано наслаждение — каждым глотком воздуха, холодного и терпкого, как недопитый с вечера чай, каждой ноткой лесной симфонии — от монотонного гобоя беспечной кукушки до заполошных флейт улетающих журавлей, каждым сполохом брильянтовой росы, каждым бликом на упругих лезвиях травы... Примерно такие метафоры теснились в голове у главного лесничего Роминтенского заповедника Вальтера Фреверта, вполне отражая его беззаветную влюбленность во вверенное ему чудо природы. Услыхав за спиной глухой перестук копыт, Фреверт оглянулся на ходу — его нагоняла влекомая флегматичной кобылой телега, которой правил один из подчиненных ему егерей. Рядом с возницей на козлах сидел егерьев сын — долговязый парнишка лет четырнадцати.

— Погодка-то, герр оберфорстмайстер! — в знак приветствия егерь приподнял зеленую форменную фуражку.

— Да уж, Отто, погода изумительная, — охотно согласился начальник, приложив пальцы к шляпе с зимородковым крылышком за кантом, — да у нас тут плохой ведь и не бывает, верно?

— Ваша правда, герр оберфорстмайстер! Присаживайтесь, герр оберфорстмайстер, что сапоги-то стапывать! Пауль, освободи место герру оберфо...

— Да перестаньте вы ломать язык, Отто! — засмеялся главный лесничий, — Герр Фреверт звучит ничуть не хуже, и короче вдвое. А пройтись пешком по такой красоте — что может быть лучше? — однако на козлы сел, не забыв поблагодарить юношу, переместившегося в кузов.

— Еду вот починять кормушки на южный рубеж, — решил отчитаться Отто, хотя никто его ни о чем не спрашивал. — Кажется, лето еще, а ведь глазом моргнуть не успеет — и зима настанет.

— Верно, — Фреверт был решительно не расположен говорить о делах в такое чудесное утро. — Как дела, Пауль? Нашел Короля-оленья?

— Ох, герр обер...Фреверт, — с укоризной в голосе произнес Отто, — вы все шутите, а он ведь все за чистую монету принимает! Мечты у него, видите ли! Того и гляди свихнется. Вот и вчера прибежал весь в мыле, кричит про какую-то девку голую в реке...

— Не голую, а обнаженную... — буркнул Пауль.

— Как ни назови, а одетой она от того не станет.

— Ну-ка, ну-ка, расскажи, что ты там видел! — заинтересованно повернулся к парню романтически настроенный лесничий.

Пауль замялся:

— Все одно вы не поверите, герр Фреверт. Никто мне не верит.

— Ты меня обижаешь, Пауль! Разве я — это все? Выкладывай свою историю!

— Ну. Значит вот. Вчера. Ближе к вечеру. Собираю грибы за Черной речкой. Подошел к берегу. И вижу. Золотая дева. Купается.

— Золотая?

— Ага. Так и сияет. Чисто нимфа с картинки, — речь юноши постепенно делалась все более плавной. — Потом из воды вышла. Ничего красивее в жизни не видал. Я только удивился, что волосы у ней короткие.

— И что же дальше?

— Она на камень встала — ко мне лицом, руки на голову положила и запела — а голос серебряный, чудный.

— Сама, стало быть, золотая, а голос серебряный? И что ж она пела?

— Да она ж, понятное дело, не по-нашему, не по-человечески пела! Но так красиво! Стал я ближе подбираться, чтоб лучше ее рассмотреть...

— Тьфу, похабник! — Отто в сердцах огрел кнутом ни в чем не повинную кобылу. Фреверт положил ему руку на плечо.

— ...чтоб рассмотреть, — упрямо повторил Пауль. — Встал за деревом, метрах в пяти от нее, а оно меня вдруг схватило и приподняло!

— Что схватило?

— Ну, дерево это! Оно не дерево оказалось, а чудище лесное! — выпалил парень.

— О, Господи! — возопил егерь.

— Погодите, Отто! А как оно выглядело, это чудище? Может, это медведь был?

— Не, не медведь. Что я медведя от дерева не отличу? — возмутился Пауль.

— Ну, со страху мало ли чего не покажется.

— Да откуда у нас тут медведи, коли их давным-давно извели всех? Да еще в два метра ростом! И вообще. Медведь мохнатый, а это все было в листиках и веточках. И с глазами. Подняло меня в воздух и говорит...

— Говорит?

— Ну да. Говорит: нехорошо, мол, подглядывать. Потом на землю опустило и такой подзатыльник отвесило, что у меня до самого дома в голове звенело. Правда, я очень быстро добежал.

— А на каком языке оно тебе это сказало?

— По-немецки, ясное дело. Я других-то не знаю. Но так сказало... не как мы говорим. Вот. Корзинку я потерял.

— Мне все ясно! — торжественно заявил Фреверт. — Тебе несказанно повезло, парень! Ты ведь саму хозяйку леса видел. Фею Роминте. Мне вот не довелось пока.

— А дерево?

— А дерево — это лесовик. Он ее от чужих глаз охраняет. Где ты, говоришь, все это случилось?

— У излучины. Ну, возле гнилых мостков, там еще голубики много, знаете?

— Знаю. Надо бы туда наведаться, вдруг и мне тоже посчастливится?

— Эх, герр оберфорстмайстер! — заворчал Отто, — Совсем вы мне мальчика спортите!

— Ничего-то вы не понимаете, герр ягермайстер! — весело воскликнул Фреверт, соскакивая с телеги, — У вашего сына прекрасное поэтическое воображение! Ну, дальше мне с вами не по пути. Всего хорошего! — и бесшумно исчез в зарослях ежевики, словно сам был сказочным лесовиком.

— Поэтическое... — бормотал Отто в усы, погоняя лошадь. — Ничего, пойдешь в армию, там из тебя эту дурь-то быстро повыбьют. Ишь ты. Воображение у него...

* * *

- Алло?
- Привет, это я!
- Привет, Майкл! Что за грусть в голосе? Случилось что?
- Ага, тетя Маша померла в Вильнюсе. Папина старшая сестра.
- Соболезную. Молодая была?
- Нет. Семьдесят девять почти.
- Полетишь на похороны?
- Да, конечно. Слушай, я вот почему звоню... Ты говорил — у тебя в Вильнюсе друзья?
- Близкие, да.
- Мне там вроде бы придется с наследством разбираться, а я в современных юридических вопросах ни бум-бум. Мало ли, понадобится адвокат, или кто там в этих случаях нужен? Мои-то родственники, похоже, в этом понимают не больше моего. А твои друзья, наверное, смогут кого-нибудь порекомендовать.
- Понятно. Я дам тебе их контакты, сейчас найду только в книжке... А что за наследство-то?
- Откуда я знаю? Ясно, что не счет в швейцарском банке. Тем более что у тети свои дети есть... или правильнее сказать — были? Они же мне и сказали про завещание. Ну, я бы в любом случае приехал. К бабушке в девяносто третьем не смог — так до сих пор душа не на месте. Ладно, ты извини, мне через полчаса в аэропорт. Да, я тут распечатал твой текст — буду в самолете читать, а то все руки не доходили в последнее время.
- Хорошо. Записывай телефоны...

В качестве убежища мои спутники выбрали одиноко стоящий на прогалине амбар — бревенчатый сруб на старинном каменном фундаменте — Мотя авторитетно заявил, что лучшего нам все равно не сыскать:

— Во-первых, подобраться к строению незаметно невозможно хотя бы днем. Во-вторых, из отверстий, в которые может проникнуть человек, тут только дверь, а вентиляционные окошки под самой крышей позволяют вести наблюдение во все четыре стороны. Ну, или огонь, — добавил, подумав. — Хотя надеюсь, что до этого не дойдет. Потому что, если они наплюют на секретность, то выкурят нас отсюда, как лис из норы, в считанные минуты.

— А случайные посетители? — Шоно, стоя на небольшом — метра два на три — свободном пятчке, скептически оглядел доверху забитое сеном помещение. — Вроде вашего вчерашнего мальчика?

— Теоретически возможно, но маловероятно, мой дорогой друг, — ответил Мотя тоном, каким, верно, Холмс отвечал Уотсону. — Здесь хранят корм для оленей и лосей, поэтому до зимы сюда, скорее всего, никто не придет. Ну, а в противном случае возьмем его в плен и, если осада затянется, — съедем. Кстати, я не прочь употребить чего-нибудь горяченького.

Пока Марти разжигал спиртовку, Мотя втащил внутрь огромную бочку с дождевой водой. Отдышавшись, заглянул в нее и объявил:

— Сегодня наш шеф предлагает вам консомэ из головастика и жаркое из стрекозиных крылышек! Будете?

— Пожалуй, уступлю Шоно, — отозвался Марти. — Я еще не созрел для таких деликатесов. Ограничусь консервами.

— Жаль, я думал тебя порадовать. У тебя же нынче день рождения!

— Надо же, я всегда полагал, что дата моего рождения неизвестна! Как тебе удалось ее вычислить?

— Интуиция, малыш. Я отчего-то подумал, что ты родился именно третьего сентября, и самое время вручить тебе подарок, — Мотя по локоть зарылся в рюкзак и извлек из него красиво завернутый продолговатый пакет. — Вот! Владей! Это от нас всех.

— О! — выдавил из себя Марти, вытаскивая из коробочки курительную трубку — по мне, так ничего особенного — трубка как трубка, не новая к тому же, но ему она показалась чем-то невероятно привлекательным. — О! Это же антикварный «ВВВ»!

— *Ceci n'est pas une pipe!*¹ — гордо провозгласил Мотя. — В том смысле, что это не просто трубка, а трубка из собрания Редьярда Киплинга, которую я с боем вырвал на... Что такое? — испуганно перебил сам себя: — Верочка, у нас тут праздник, а вы плачете?

— Извидите, что де предупредила. У бедя ужасная аллергия да седо, — пробубнила злобно в мокрый до нитки платок. Злилась, разумеется, на себя.

Шоно и Марти утыкали меня иголками на манер подушечки и отправились в лес, игнорируя мои отчаянные попытки их удержать, — искать какие-то травы для лечения. Мотя остался охранять и развлекать светской беседой.

— Отвернитесь, пожалуйста, — попросила, — у меня лицо... одикображено.

Не говорить же, что ненавижу показывать свои слезы, пусть они даже и от сенной лихорадки. Тем более, что плакала не только от нее — причин-то у меня было предостаточно. Мотя покорно повернулся ко мне спиной, сказал утешительно:

— Вы не бойтесь за них. Их голыми руками не возьмешь. Даже я с Шоно бороться бы поостерегся.

— Но он же в два раза меньше вас!

— И в два раза проворнее. К тому же у него принцип: если не можешь побороть противника, борись

¹ Это не трубка! (фр.).

с его рукой, а если не можешь побороть руку — то с пальцем!

— И это работает?

— Еще как! Видели бы вы, как он бросает людей, схватив за пальцы! Я пробовал его одолеть один раз... Я, конечно, не скрипач, но пальцев все равно жалко.

— Да, Мотенька, вам бы пришлось использовать вместо скрипки виолончель, — попыталась пошутить сквозь слезы. — А слух-то у вас вполне подходящий, я заметила. Неужели вы ни на чем не играете?

Он вытащил что-то из кармана, поднес к губам — оказалось, хроматическая губная гармоника — тихо, но виртуозно сыграл Шубертовскую «Ave Maria».

— Bravo! Вы просто кладезь талантов! — восхитилась искренне.

— Я не кладезь, я кладбище, — засмеялся, впрочем, польщенно. Потом неожиданно сыграл три ноты и спросил: — Какие?

— Ля-бемоль, соль и... ми-бемоль, — ответила. — Зачем?

— Я просто проверил свое предположение о том, что все участвующие в э... скажем, мистерии должны обладать абсолютным музыкальным слухом. И вы его сейчас подтвердили. Очевидно, все дело в способности индивидуума воспринимать звук, так сказать синэстетически.

— Что вы имеете в виду?

— Ну, как вы определяете высоту той или иной ноты?

— Не знаю... наверное, по каким-то ассоциациям, чувствую как бы цвет и теплоту.

— Вот, а я вижу цифры. Шоно же и вовсе — какие-то сложные образы.

— А Марти?

— Марти — другое дело. Он не такой, как мы. Для него нет необходимости в переводе, потому что музыкальный звук — это его родной язык. Он на нем думает. Черта с два мы бы разобрались с тем папирусом, если б не эта его способность.

— Я так до сих пор ничего и не знаю толком про этот ваш папирус.

— Ну, это долгая и нудная история. Если вкратце, то это тот самый манускрипт, что попал в руки к Соломону, а от него достался Марко, и так далее. В середине шестнадцатого века, после Шмалькальденской войны и заключения Аугсбургского перемирия между католиками и протестантами, когда наступило временное затишье, предок Марти, предвидя войну куда более страшную, попытался исправить положение, послал к народам ноцара — с проповедью о мире. Как мы знаем, по причине гибели Барбары повлиять на умонастроения людей не удалось, вернее, удалось частично и не так, как ожидалось. Разразилась Тридцатилетняя война, которая выкосила в Европе пять, а может и более, миллионов человек. Но речь не о том. Известно, что упомянутые в легенде помощники Барабаса были преследуемыми анабаптистами, которых он в буквальном смысле спас от смерти. Уезжая в Англию вместе с сыном, Барабас поручил им сбережение Знания. С тех пор рукопись и легенда о ноцаре сохранялась ими и их потомками-меннонитами — в великой тайне, разумеется. Последним из них был известный вам Германн Зудерманн. С помощью Шоно он сумел отыскать и последнего из рода Барабасов.

— Так Марти — единственный потомок?

— Увы. Все остальные ветви пресеклись. Предшественники Зудерманна искали тщательнейшим образом. И вот, наконец, нашелся тот, кому следовало передать Знание. Проблема же заключалась в том, что расшифровать записанную в папирусе музыку они были не в состоянии.

— И тут на сцене появляется вы?

— Вроде того. Подворачиваюсь под руку, скорее. Дело в том, что на тот момент меня чрезвычайно занимал один документ, найденный мною в окрестностях Каира — в генизе, в которую я провалился случайно.

— Что такое гениза?

— Евреи не уничтожают свои священные тексты, даже если они безнадежно испорчены, а как бы хоронят их. Гениза — это как раз такой склеп. Зачастую туда прятали и светские документы. С обнаружением того хранилища я и увлекся палеографией. Так вот, два свитка из найденных особенно волновали меня...

— Вы сказали — один.

— Верно, документ был один — но в двух вариантах. Первый — по всей видимости оригинал — был написан на древнееврейском, второй же, судя по заглавию, был его переводом на коптский. Но на самом деле таковым не являлся.

— Это как, простите?

— В нем была написана какая-то гностическая чушь, тогда как в первом речь шла о магии. Вводило в заблуждение то, что первые строки в обоих документах были идентичны. А дальше начиналось разительное расхождение. Я чувствовал, что все это неспроста, неоднократно подступался к загадке и всякий раз терпел фиаско. Понятно было, что второй документ содержит ключ к расшифровке первого или наоборот, но найти зацепку никак не удавалось. Одно время мне казалась перспективной идея, что древнееврейский текст следует проанализировать по методу, используемому каббалистами. Знаете, они переводят слова в цифры и обратно, находя в тексте Торы все новые и новые смыслы. Это называется гематрия.

— Нумерология, я знаю. Примитивный код.

— На первый взгляд, только на первый взгляд. Я больше года продирался сквозь эти дебри и смог разобратся весьма поверхностно. Бросил, когда понял, что это ложный путь.

— Почему?

— Все их построения весьма интересны, но зиждутся на весьма зыбкой почве. Дело в том, что они верят, будто Тора была дарована им свыше через Моисея в том самом виде, в котором они читают ее сейчас. По их убеждению, ни одна буква там не была изменена.

А каждой букве соответствует числовое значение. Я же как ученый в неизменность Торы не верю, но даже если бы и верил — нет никакого доказательства тому, что принятый ныне порядок букв в еврейском алфавите был таким изначально. Более того, я дважды своими глазами видел в частных коллекциях артефакты, относящиеся приблизительно к десятому-девятому веку до нашей эры, на которых был начертан алфавит — и на обеих буква *pe* стояла после *цади*, а не перед ней, как теперь. Может быть, это ошибка писца, а может и нет — и я подумал, что достаточно такой малости, чтобы обратиться в прах все возведенные вавилоны. И тут меня постигло озарение. Озарение — это когда ты осознаешь всю простоту и очевидность правильного решения и вместе с тем поражаешься своей глупости. Я понял, что неизменным может быть только одно — порядок и значение цифр. Бросился к документам и убедился в том, что числа, встречающиеся в обоих, одинаковы, как и порядок их следования! Но дальше меня постигло страшное разочарование — полученный код не желал расшифровываться ни на одном известном науке языке.

— И что же дальше?

— Дальше началось странное — чем больше я всматривался в эти бессмысленные цифры, тем отчетливее звучала у меня в голове некая музыка. Означать это могло либо то, что я рехнулся, либо то, что зашифрованное и есть музыка. Я отмел первое за явной неконструктивностью, и углубился в теорию музыки. Я изучал все системы кодификации тоном — от древних записей жестов и дыхания, отражающих кинезические и паралингвистические проявления, до самых поздних формализованных семиотик с их различными шкалами, грамматиками, ладами и системами аттракции, синтагматиками, контрапунктами...

— Мотенька, а можно все то же самое, но человеческим языком? Зачем вам во все это понадобилось влезать?

— Ну, хотя бы затем, чтобы не уподобиться одному моему знакомому. Он, не будучи музыкально образованным человеком, неожиданно осознал, что вся Тора представляет собою одну большую божественную партитуру. Тогда он составил очень убедительную таблицу, в которой еврейским буквам соответствовали ноты, и стал исполнять Книгу Творения на фортепиано вместе с оркестром единомышленников. Даже если оставить упомянутую мною неоднозначность порядка букв в алфавите, его потуги были смехотворны, ибо он ничтоже сумняшеся положил в основу своей системы темперированный, то есть равномерный двенадцатиступенный звукоряд, который, как вам несомненно известно, был изобретен в Европе в конце восемнадцатого века для того, чтобы исполняемые на клавишине произведения было проще транспонировать, избежать комм, да и вообще облегчить написание музыки в разных тональностях. А ведь эти темперированные интервалы отличаются от натуральных порой почти на шестнадцать центов и...

— Да-да, я помню. Просто почему-то терпеть не могу всю эту математику в музыке. В отличие от музыки в математике. Это, видимо, какой-то детский комплекс. Но в результате — к чему вы пришли?

— Мне нужно было понять, сколько факторов мелоса учитывала запись — высота звука, ритм, метр, динамика? Высота звука — абсолютная или относительная? И так далее. В результате долгих расчетов у меня выстроились три стройных ряда цифр, и я предположил, что эта система нотации оперирует тремя параметрами — высотой, ритмом и... чем-то еще. И на этом мое исследование затормозилось, до тех пор, пока я не встретился с Шоно в библиотеке берлинского университета.

— Он рассказывал, что вы схватились за одну и ту же книгу.

— Да. Это была книга Альберта фон Тимуса, ученого, который занимался изучением гармонии. Через

некоторое время, когда мы втроем с Шоно и Марти совместили наши знания и поделились догадками, все встало на свои места. Рукопись, которую они получили от Зудерманна, была записана тем же самым кодом, только голосов в ней было два. Выяснилось, что им не хватало знания египетско-греческой, а мне — ирано-индийской музыкальной традиции и секрета Золотого ключа. В итоге стало ясно, что две первые цифры ряда в виде дроби определяют интервалы натурального ряда, а третья — дыхание.

— Что-то типа невм? Теперь я понимаю, почему Шоно так носится с идеей правильного дыхания!

— Да. А общую тональность должен задавать ведущий — наш Золотой ключ Марти. Так в индийской традиции первая нота «са» у каждого исполнителя своя. Но самое удивительное открытие было впереди. На него нас навела ткань, применявшаяся в таинстве. Мы никак не могли понять, что за цифра появлялась в конце свитка. Она никак не укладывалась в полученную схему. Такой ноты просто не могло быть. Ответ мы нашли в той самой книге фон Тимуса.

— Вы сказали что-то про ткань!

— Любая ткань состоит из перекрещивающихся нитей — э... warp and weft. Как это по-русски?

— Основа и уток.

— Merci. А всякий звук имеет обертоны и унтертоны. Если мы предположим, что в ткани музыки обертон — это основа, а унтертон — это... уток, то ткань предстанет в виде довольно простой таблицы, где столбцы-обертоны идут под номерами 1, $1/2$, $1/3$, $1/4$ и так далее, а ряды-унтертоны — под номерами 1, 2, 3, 4 и так до бесконечности. Каждая ячейка таблицы, таким образом, будет представлять звук, определяемый отношением обертона к унтертону. Первая ячейка и все ячейки по диагонали от нее будут иметь значение 1, так? Это будет некая исходная нота — до, ре, ми, неважно — короче говоря, та самая «са», которую выбирает для себя Золотой ключ. От нее мы и пляшем, как

от печки, то есть отсчитываем от нее интервалы. Заполнив таблицу — фон Тимус и его сотрудник Ганс Кайзер нарекли ее таблицей Пифагора — мы увидим, что одни и те же ноты будут периодически повторяться. Ноты эти, кстати, будут несколько отличны от знакомых нам с детства, поэтому правильно спеть их может только человек с абсолютным слухом. Так вот, чудо заключается в том, что все ячейки с одним значением лежат на одной прямой, а все такие прямые сходятся в одной точке, лежащей на диагонали — но вне таблицы!

— И эта точка?..

— Это та самая невозможная восьмая нота, божественный звук, связующий все прочие в единое гармоническое целое. И слышать его не позволено никому, кроме...

— Кроме?

— Кроме Шхины, то есть вас, моя драгоценная носительница света, госпожа Люцифер.

— Вы мне льстите. Я, конечно, падшая, но ангелом отродясь не была. Так что, и до дьявола мне далеко.

— Никакого дьявола нет. Люди придумали его в оправдание своего дурного поведения. Знаете, как дети.

— А Бога кто придумал?

— Он сам себя придумал. Но куда это запропастились наши ботаники?

* * *

Худшее, что может сделать боец перед лицом противника — это задуматься хотя бы на мгновение — не успеешь глазом моргнуть, как схлопочешь по шее. Так склонность к рефлексии подвела коротышку-следопыта Франца, когда он нос к носу столкнулся в малинике с немолодым азиатом, держащим в руках букет полевых цветов. Со стороны — Рудольф наблюдал за

происходящим с расстояния двадцати шагов — это выглядело так, будто встречающий горожанин вручил солдату цветы, а тот сложился пополам в глубоком благодарственном поклоне, после чего, утратив всякий интерес к общению, переключился на изучение частной жизни муравьев. Все дальнейшее также не могло бы украсить собой книгу боевой славы новообразованного подразделения, ибо не было похоже на спецоперацию по захвату вражеского агента, а скорее напоминало развеселую ярмарочную возню, которую устраивает десяток разгоряченных пивом плотных бургеров, ловя намыленного поросенка. Различие состояло в том, что в этой игре явное удовольствие получал один лишь «поросенок», которого Рудольф парадоксально идентифицировал как «Волка» Роу. Поразительным образом этот старый хрыч умудрялся лавировать меж нападающими, нанося при том трудноуловимые глазом — и весьма эффективные — тычки, заставляющие дюжих молодцов в пятнистой униформе подлетать в воздух, совершать нелепые кульбиты и сальто, потешно дрыгать ногами и подолгу отлеживаться по приземлению. Если бы Рудольф доподлинно не знал, что все это представление не подстроено, то как бывалый цирковой он бы принял его за слаженную работу клоунов-акробатов.

Скоро уже вся группа за исключением троих, пребывающих в глубоких раздумьях, и самого Рудольфа — на его командном пункте в кустах, сопя и толкаясь, носилась по полянке за вредным старикашкой, а тот знай себе уворачивался, раздавал затрещины и гадко похотывал по-совиному. В какой-то момент Рудольф даже поймал себя на том, что «болеет» за него, несмотря на раздражение от заминки в деле.

Запас трюков у старикана оказался неисчерпаем. Вот, будучи схвачен за оба запястья, он хитро вывернулся, завязал руки хватавших узлом и швырнул обоих под ноги набегающим спереди, лягнув попутно в грудь зашедшего с тыла. Вот, оказавшись между троими,

неожиданно опустился на одно колено и, держа над головой вывернутую кисть самого здорового из них, стал вертеть его вокруг себя, как даму в мазурке, сшибая им с ног остальных. Кулаки разъяренных вояк чугунным градом молотили по старцу — но каким-то чудом лишь взбивали в густую пену воздух вокруг него.

Наученные горьким опытом ловцы начали действовать умнее — похватили отложенные карабины, прикнули штыки и стали пытаться взять неумемного гада в кольцо. Возможно, такая стратегия принесла бы плоды, не появившись на поле битвы еще один любитель цветов — высокий и рыжий, которого Рудольф определил как Мартина Гольдшлюсселя. Судя по всему, этот прошел у Роу хорошую выучку, поскольку с ходу короткими ударами по шее сзади вывел из строя двоих, а кинувшегося на него с винтовкой наперевес третьего плавным движением обошел справа, как бы дружески хлопнув по плечу левой рукой, правой же описав в воздухе дугу, которая завершилась в районе переносицы противника крайне неприятным для него образом.

Лишившись едва ли не половины своей боевой силы, группа полностью утратила осмысленный вектор приложения оставшейся, но не боевой дух. Солдаты были столь очевидно взбешены, что Рудольф подумал — еще немного, и они потеряют контроль над собой. Подумал — и в тот же миг краем глаза заметил, как Йорген, который оказался повержен в самом начале схватки, покачиваясь, поднимается с земли с пистолетом в руках.

С воплем «брейк!» Рудольф рванулся из своего укрытия на середину поляны, вытягивая из кармана белый платок. Но Роу и Гольдшлюссель и на этот раз оказались в состоянии позаботиться о себе сами — в те считанные секунды, что Рудольф бежал свою дистанцию, они успели обзавестись живым щитом из двух его подчиненных, удерживая их перед собой за кисти рук каким-то затейливым захватом. Лица солдат

выразительно свидетельствовали об испытываемом ими дискомфорте.

Увидав Рудольфа и опознав в нем начальника, ничуть не запыхавшийся Роу с нескрываемой издевкой произнес:

— Добрый день! Вы, полагаю, тренер этой сборной лесников, раз кричите «брейк» и выбрасываете полотенце?

— Что-то в этом роде, — ответил оберштгурмфюрер, заводя подрагивающие руки за спину и душевно улыбаясь.

— В таком случае будьте добры объяснить, отчего это ваши парни набросились на двух мирных и, прошу заметить, совершенно безоружных гомеопатов? Мы ведь не какие-нибудь злостные браконьеры! Разве здесь запрещено собирать травы?

— Если мне не изменяет память, единственного лесничего среди нас, — Рудольф кивнул в направлении малинника, из которого только теперь, ошалело крутя головой, вылезал незадачливый следопыт, — первым обидели вы. Ни с того, ни с сего, замечу. Понятное дело, ребята возмутились.

— О, приношу свои извинения! — Роу приложил свободную руку к груди и отвесил шутовской поклон. — Видите ли, он протянул ко мне свои грабли с таким видом, будто хочет отнять букет, который я с таким тщанием составлял. Наверное, мне показалось. Право, мне очень стыдно!

— Я присоединяюсь к извинениям коллеги, — сказал рыжий гомеопат без тени сарказма в голосе. — Очевидно, между нами возникло недопонимание.

— Несомненно, оно возникло, — ответил Рудольф, продолжая ласково улыбаться и приближаясь к собеседникам. — От лица моих коллег охотно принимаю ваши извинения и приношу встречные.

Неся всю эту любезную ахинею, он лихорадочно «прощупывал» обоих, но чем дольше вглядывался в темную бездну глаз Роу и в непроницаемую сталь

глаз Гольдшлюсселя, тем отчетливее понимал, что эти двое ему не по зубам так же, как и его солдатам.

— Что ж, если конфликт исчерпан, мы, пожалуй, пойдем? — спросил Гольдшлюссель — и снова совершенно серьезным тоном.

— О, да! — отозвался Рудольф. — Вы совершенно свободны и можете идти, куда вам заблагорассудится. Я, правда, не вполне уверен, что мои парни без сожаления прервут столь интересно завязавшееся знакомство. Они — простые ребята, и не так галантны, как я, поэтому не исключаю, что они попытаются навязаться вам в попутчики.

— А мы вовсе и не против! — с жаром заявил Роу. — С такими бравыми спутниками нам будет куда спокойнее в этом полном опасностей лесу, правда, Марти?

— Истинная правда, — ответил рыжий. — Тут, наверное, и кабаны, и медведи водятся. Только больше двоих мы с собой захватить не в состоянии, такая жадность!

— Да и все равно остальным потребуется некоторое время на реабилитацию, прежде чем они смогут передвигаться в нашем темпе, — подхватил Роу.

Рудольф вонзил ногти в ладони и улыбнулся нагледцам еще лучезарнее, чем прежде:

— Право, мне до слез обидно лишиться вашего общества — вы такие занятные собеседники!

— Мы — да, — подтвердил азиат, — а вы?

— Кто знает? Может быть, и я, — Рудольф принял решение и, качнувшись несколько раз с пятки на носок, предложил: — А вы попробуйте меня в этом качестве! Взамен этих двоих! Вдруг нам удастся найти общий язык? А пока я буду с вами, эти ребята не станут отвлекать вас от вашей... гомеопатии.

Роу и Гольдшлюссель переглянулись, и рыжий кивнул:

— Это очень лестное предложение. И с нашей стороны было бы в высшей степени невежливо от него отказаться.

— Только вот глазки мы вам завяжем, — добавил азиат, — уж не обессудьте. Уж больно они у вас шустрые. А парням вашим посоветуйте оставаться здесь, иначе на обратном пути вы, чего доброго, с ними разминетесь.

Через двадцать минут хождения по лесу с завязанными глазами — Рудольф был уверен, что его водили кругами — он услышал скрип отворяющейся двери, из-за которой густо пахло прелью и сеном, а вежливый голос Гольдшлюсселя предупредил о пороге. Оказавшись в помещении, Рудольф снял платок и осмотрелся. Красивая золотоволосая женщина, с лицом, почему-то утыканным китайскими иглами, возникла перед ним из полумрака и воскликнула, отпрянув:

— Вы?

* * *

— Алло, алло! Меня слышно?

— Канцелярия генерал-фельдмаршала Геринга на проводе. Кто говорит?

— Оберфорстмайстер Фреверт. Из Роминтер Хайде. Восточная Пруссия.

— Я знаю, откуда звонок. Это прямая линия. Чем могу быть полезен, герр Фреверт?

— Мне необходимо срочно сообщить генерал-фельдмаршалу очень важную информацию.

— Говорите, я записываю.

— Прошу извинить, но я должен изложить это в личной беседе.

— Генерал-фельдмаршал чрезвычайно занят. Вы же знаете, идет война.

— И тем не менее я буду говорить только со своим непосредственным начальником. Речь идет о слишком важном деле. Я готов ждать у аппарата, сколько потребуется.

— Хорошо. Ждите. Я попробую вас соединить.

- ...
- Геринг слушает.
- Здравия желаю, герр рейхсъягермайстер!
- Рад вас слышать, Вальтер! Что, хотите пригласить меня на охоту, а? Придется подождать пару-тройку дней, пока мы окончательно не разделаем поляков, а потом уж я возьмусь за ваших оленей, хехе! Как там мой красавец Армлэйхтер?
- В порядке, герр рейхсъягермайстер. Я по другому делу. Сегодня утром я обнаружил на территории заповедника...
- Неужели медведей? Тогда я плюну на войну и прилечу сегодня же! Хахаха!
- Увы, нет. Вооруженных людей.
- Так что же? Разве вы не знаете, как поступают с браконьерами? Поймайте их! А в связи с военным положением разрешаю вам отрезать им яйца, уххаха!
- Боюсь, что все обстоит несколько сложнее. Это не браконьеры, а вооруженные до зубов солдаты в маскировочных костюмах и без знаков различия. Тринадцать человек. Они действуют очень скрытно — я наткнулся на них совершенно случайно — и, судя по их поведению, за кем-то охотятся. За людьми, а не зверями, естественно. Я рассудил, что если все это происходит с вашего ведома...
- Нет, черт побери! И я собираюсь немедленно выяснить, с чьего ведома это происходит! Благодарю вас, Вальтер! Если заметите что-то еще — сразу информируйте меня! Я дам указание секретарям соединять вас в любое время. И будьте готовы оказать содействие моим людям!
- Слушаюсь, герр рейхсъягермайстер! До сви... то есть, Хайль Гитлер!
- Хайль Гитлер!
- ...
- Макс, соедините меня с Гиммлером!
- ...
- Кхм... Гиммлер у аппарата.

— Генрих, я в бешенстве! Ради чего я поставил вас над гестапо?

— Э... Что? Я не совсем понимаю...

— Нет, это я не понимаю, как? Как? В тылу армии! В моем заповеднике! Разгуливает чертова дюжина каких-то шпионов-диверсантов! Это не могут быть наши солдаты! Тот, кто послал их туда, копает лично под меня, я уверен! Да, они готовят на меня покушение! А вы — человек, отвечающий за имперскую безопасность, — ничего об этом не знаете? А может, знаете? Тогда почему об этом не знаю я?

— Разумеется, я знаю об этом и принимаю меры. Зачем мне отвлекать вас от командования «Люфт-ваффе» в такой ответственный момент?

— В таком случае ответьте, что они там делают, а?

— Я как раз сейчас занимаюсь выяснением...

— Судя по всему, вам немного удалось выяснить, Генрих! Даже мой егерь знает больше вашего о том, чем они там занимаются! Их надо загнать и прикончить, а не заниматься выяснениями!

— Но...

— Никаких «но»! С этой минуты я беру дело под контроль. Я присылаю к вам своего человека. Вы наделаете его полномочиями и немедленно отправляете в Восточную Пруссию, где он будет осуществлять координацию наших мероприятий. И я требую, чтобы не позднее, чем завтра вечером, вы доложили мне об уничтожении вражеской группы! И не подведите меня, Генрих! Хайль Гитлер!

— Хайль...

* * *

— Вы не поверите — я! Собственной персоной! — промурлыкал Рудольф.

— Но вас же... — Вера от волнения проглотила окончание фразы.

— Насколько мне известно, вас — тоже. Жизнь полна сюрпризов, не правда ли? Кстати, эти серебряные иголки вам очень к лицу.

От его горячего обволакивающего взгляда тело Веры внезапно сделалось как мраморное, а по занемевшей коже побежали огненные муравьи. Она покачнулась, попыталась дотронуться до лица, но не смогла шевельнуть рукой.

— Ай-яй-яй, господин хороший, — вдруг сказал по-русски Шоно, — вы безобразничать-то бросьте, или мы вам сейчас глазки шаловливые снова завяжем!

— Дались вам мои глаза! — буркнул Рудольф, неохотно отводя их от Веры. — Я вообще не понимаю, к чему было ломать эту пошлую комедию с повязкой! Уж не думаете ли вы, что мои молодцы не сумеют отыскать ваш сарайчик в течение получаса, если я не вернусь вовремя?

— Не сомневаюсь, что сумеют, — уже по-немецки ответил Шоно, усаживая Веру на вязанку сена и снимая иглы, — но мы приготовили им пару-другую сюрпризов по пути сюда. Жаль было бы лишать ребят удовольствия. Ну, и хотелось, по правде говоря, немножечко поколебать ваш авторитет в их глазах.

— А вот это вы зря, — тоже на немецком произнес Рудольф скучным голосом. — Пока я держу их в узде, они не будут в вас стрелять. Вы же понимаете, что стоит им взяться за оружие, все это джиу-джитсу — или как там его — вас не спасет.

Его зрение приспособилось к полумраку, и он различил в глубине амбара неподвижный силуэт огромного мужчины.

— Мне отчего-то кажется — поправьте меня, если я ошибаюсь, — сказал стоявший у гостя за спиной Мартин, — что вы сейчас немного кривите душой.

— Было бы чем кривить, — послышался из сумрака голос, заставивший теперь уже Рудольфа вздрогнуть. — Если хотите знать мое мнение, этот господин просто заговаривает нам зубы. Это у него профессиональное, —

Беэр вышел на свет, и, увидав его физиономию, Рудольф закусил губу.

— Не сеновал, а какой-то дом свиданий, — пробормотал он.

— Что, в немецком цирке платят лучше, чем в итальянском, а? — Беэр завис над заметно побледневшим, но спокойным гостем.

— Не жалуюсь, — с достоинством ответил оберштурмфюрер немецкого цирка. — Хотя, наверное, не так, как вам — в английском.

— Так вы тоже знакомы? — воскликнула Вера.

— Весьма поверхностно, — поспешно ответил Рудольф.

— Поверхностно? — зловеще прорычал Беэр. — Да глубже вас в мой карман никто никогда не залезал, господин престиджитатор! Этот презренный шпагоглотатель с помощью своих грязных трюков меня подчистую обобрал в Цюрихе!

— Попрошу вас! — дерзко возвысил голос Рудольф. — Никаких трюков. Я играл честно! И коньяка не пил, в отличие от некоторых.

— А кто мне от коня глаза отводил, как цыган на ярмарке, а сам передвинул его на с4? Вы воспользовались тем, что я был беспечен и не записывал ходы!

— Ничего я не передвигал. Вы проиграли оттого, что я играю лучше, признайтесь!

— Да я тысячу раз потом разыгрывал в уме эту партию! — завопил Беэр, размахивая ручищами в опасной близости от носа оскорбленного фокусника. — Он никак не мог оказаться на с4, жалкий вы шулер, негодный космополит!

— От космополита слышу, — Рудольф скрестил руки на груди. — Я — сын венгерского немца и итальянки, волею случая родившийся в цирковой повозке под Нижним Новгородом. Патриотом какой страны я, по-вашему, должен быть?

— Порядочным человеком надо быть, беспутный сын итальянки! — проворчал Беэр, успокаиваясь, —

и с нацистами не водиться. Учтите, что больше на ваши штучки я не попадусь! Берегитесь!

— Учту, учту. Я по натуре вообще весьма покладист и склонен к разумным компромиссам. Но и вы учтите, что в этой партии преимущество на моей стороне, как ни крути. За мной стоит большая сила.

— Никакая сила в мире не помешает мне свернуть вам шею, — мечтательным тоном заметил Беэр, — если мне этого захочется так же сильно, как тогда, в двадцать втором.

— Охотно верю. Но оставьте в покое мою бедную шею и подумайте лучше о своих собственных! Поймите, что для меня в игре ставка — всего лишь карьера, а для вас — жизнь!

— Скажите, как к вам обращаться? — спросил Мартин.

— Винченцо Рудольфини, я помню! — бросил со своего места Беэр.

— Иван Рудаков? — предположила Вера.

— Это все сценические имена. Зовите меня просто Рудольфом, — улыбнулся многоликий артист.

— Итак, Рудольф, — продолжал Мартин, — насколько я понимаю, своими злоключениями мы обязаны вам? Я угадал?

— В первую очередь вы обязаны ими себе самому, мой дорогой Гольдшлюссель. Или все-таки Барабас? Нечего было трепаться с кем попало о таких важных вещах. Во вторую — нашей прелестнице, добросовестно расшифровавшей ради своего спасения дневники покойного шефа. В третью — своим друзьям, на которых и у чекистов, и у нацистов есть большой-пребольшой зуб. И уж только в четвертую — мне. Я не стану отрицать, что загнал вас сюда — в конце концов, это — предмет моей гордости, ведь вы — крайне непростые противники. И горжусь также тем, что это я, а не бедняга Отто Ран, к примеру, сумел разгадать тайну Святого Грааля!

— Вот, Вера, — сказал Шоно, — это тот самый слушай, о котором я вам толковал.

— Да, теперь я поняла, что это реально.

— О чем это вы ей говорили? — ревниво поинтересовался Рудольф.

— Да вот о таких акулах, как вы, — ответила Вера зло, — хищных, жадных, неразборчивых в средствах и охочих до чужих тайн.

— Вот те на! — Рудольф возмущенно фыркнул. — А по какому, собственно, праву вы монополизировали эту тайну? Мне было ничуть не легче, чем вам, докопаться до истины! И я при этом никого не убил и не замучил, если говорить о средствах. Всё своим умом, талантом и тщанием! Так отчего же вы считаете меня недостойным?

— Дело тут не в достоинстве, — печально сказал Мартин, — а в ваших мотивах. Вы пытаетесь проглотить то, что намного больше вас. Это говорит о вашей жадности. Вы затравили нас, как травят собаками диких зверей. Это говорит о вашей хищности. Вы не пришли к нам и не попросили приобщить вас к тайне, но, используя самые темные из существующих ныне сил, попытались завладеть ею, даже не подумав о том, что случится, если выхваченный из огня каштан достанется не вам, а им. Это говорит о вашей неразборчивости в методах.

Рудольф пожал плечами:

— Так я им и отдал мой каштан. Я пересел с одного слона на другого, чтобы быстрее добраться до цели, как это делает погонщик. То, что он меньше слона, вовсе не означает, что это слон решает, куда ему направиться.

— И акула к тому же самонадеянная, — добавила Вера. — Вы рискуете жизнью ничуть не меньше нашего.

— Да, я привык надеяться только на себя. А к риску приучен сызмальства — в семилетнем возрасте ходил под куполом по канату без лонжи. Если хотите, это мой наркотик.

— В цирке вы рисковали только своей жизнью, — голос Мартина прозвучал строго, — а сейчас готовы по-

губить еще четырех, а возможно — и миллионы человек. Ради чего, Рудольф?

— Понятия не имею.

— Неужели? — поднял бровь Шоно. — Так, может быть пора уже ответить себе на этот вопрос? Ради денег? Ради славы? Ради власти?

— Знаете, вот сейчас мне по-настоящему обидно! Обидно, что вы приписываете мне такие пошлые интенции. Да если б мне нужна была слава или деньги или власть, впрочем, это вещи взаимно конвертируемые, я бы с моими-то способностями давно бы все это имел!

— Тогда ради чего? — спросил Беэр.

— Наверное, ради того же, что и вы — ради интереса. Я всю жизнь совершал фальшивые чудеса, а тут подвернулась возможность приобщиться к настоящему. И не говорите мне, что если бы я пришел к вам проситься в компанию, вы бы меня приняли, не поверю!

— Конечно, не приняли бы, — сказал Шоно. — И именно потому, что все, что вами движет — это интерес. Ведь вас интересует только вы сами.

— Что ж с того? Человеку это свойственно.

— А вот здесь вы заблуждаетесь! Это свойственно животному, которое управляется инстинктами, а человек тем от него и отличается, что имеет возможность своим инстинктам противостоять.

— Правда? Как интересно! Я начинаю жалеть, что в детстве прогуливал воскресную школу. Но это все лирика, дама и господа. Время идет, а мы так и не сдвинулись в наших переговорах с мертвой точки!

— Хорошо, — кивнул Шоно. — Итак, чего вы хотите?

— Во-первых, присесть. Вы разрешите? А то целый день за вами по лесу гонялся, — не дожидаясь приглашения, Рудольф уселся на сноп сена лицом ко всей компании и попытался закинуть ногу на ногу. Едва не завалившись на спину, от этой идеи отказался, достал из кармана золотой портсигар, закурил. Выдохнув

дым, задумчиво произнес: — Чего же я хочу во-вторых? Пожалуй, во-вторых, я хочу выслушать ваши предложения мне.

— Ха! Сейчас я предложу вам руку и сердце! — воскликнул Беэр с утрированным еврейским акцентом. — Если вы хотите делового разговора, так заявите прежде свой товар! Перед вами не дети.

— Идет, — согласился Рудольф, подумав с полминуты. — Ваше право. Насколько я понимаю, вариант, в котором вы сдаетесь моим людям добровольно и попадаете в руки моего начальника, вас категорически не устраивает.

— Вы все правильно понимаете, ибо на редкость сметливы, — подтвердил Мартин. — Поэтому вариант взять нас силой мы тоже обсуждать не будем. Вы действуете на чужой территории и боитесь привлечь внимание, иначе без колебаний приказали бы стрелять нам по ногам, например. А взять нас измором у вас не получится — время работает против вас. Так что, в целях экономии этого самого времени, предлагаю не морочить нам головы и сразу перейти к третьему и единственному. Такое вот у меня деловое предложение.

— Ладно, — Рудольф послунил пальцы и затушил окурок. — По окончании операции мы должны сообщить об этом в центр...

— Гиммлеру? — уточнил Мартин.

— ...да, сообщить по рации, чтобы за нами прислали самолет. Поле, на которое он может приземлиться, находится в десяти километрах к югу отсюда. Лес оцеплен войсками СС. Будучи оберштурмфюрером сей организации, я беспрепятственно провожу вас сквозь кордоны к месту посадки. Там мы захватываем самолет и даем пилотам недвусмысленный приказ лететь не в Берлин, а в Стокгольм.

— А как же ваши подчиненные? — подался вперед Беэр.

— Их придется убрать. Исключительно по идеологическим соображениям, разумеется. Мне, как и вам,

чужды идеалы национал-социализма, как, впрочем, и все прочие идеалы, но моим ребятам это трудно будет бескровно объяснить.

— И как же вы их уберете? — Шоно встал и подошел к Рудольфу.

— Почему я? Вы! Судя по тому представлению, что я имел удовольствие наблюдать сегодня, у вас это ловко получится. Я же видел, что вы могли их запросто убить, как тех троих позавчера. Со своей стороны я обеспечу вам возможность застать их врасплох. А других предложений у меня для вас нет. Теперь слушаем ваши.

— Скажите, Рудольф, — наморщив нос, спросил Беэр, — что вам обещал ваш начальник в случае успеха операции? Ведь не даром же вы все это делаете?

— Свой институт. Но, скорее всего, он бы об этом потом забыл. Навесил бы какую-нибудь бляху, дал бы новое звание и усрал с глаз долой в какой-нибудь концлагерь, как вашего приятеля Шэфера.

— Шэфер в концлагере? — взволновался Мартин.

— Охранником. Проходит перековку. Слишком уж независим для СС. Да... Я тоже независим, так что терять мне, кроме собачьей жизни, нечего.

— Еще немного, и я расплачусь от жалости, — съязвила Вера и добавила: — Ванечка.

Рудольф пропустил это мимо ушей.

— Ну, я жду!

— Хотите полмиллиона долларов? — спросил Беэр.

— Хочу! Что еще?

Мартин хихикнул. Беэр развел руками:

— Чего ж вам еще? Сами купите, чего захотите...

— Ох, как с вами трудно! Все-то вам надо разжевать! Я же сказал, что меня интересует! Считайте, что я попросился в вашу команду! Ну, что? Я внутри?

Повисла тишина. Шоно, Марти и Беэр переглядывались, Вера же смотрела в плотно убитый земляной пол. Через минуту Шоно выдавил из себя:

— Дайте нам время... привыкнуть к этой мысли.

— Сколько? Я не смогу долго удерживать своих псов. К тому же я уверен, что кто-то один из них — скорее всего, радист — имеет задание присматривать за мной — на случай моей, так сказать, нелояльности. Мой босс — тяжелый психопат, но он отнюдь не дурак. Так что, я сильно рискую, приходя сюда еще раз.

— Вы же сказали, что риск для вас — это наркотик, — не удержалась Вера.

— Я умею отказывать себе в удовольствиях, когда этого требует дело, — небрежно парировал Рудольф.

— Сейчас восемнадцать тридцать четыре, — вмешался Шоно. — Вы сможете прийти за ответом в полночь?

— В двадцать три ноль ноль, после сеанса связи. Я даю вам четыре с половиной часа. Это уйма времени... чтобы привыкнуть к мысли. Как мне возвращаться?

— Мы вам покажем дорогу.

— Ну, слава богу, значит, глаза завязывать не будете. Идемте, господа!

Когда затихли шаги вдалеке, Беэр стряхнул с себя оцепенение и с чувством возопил:

— Нет, ну каков мерзавец, а?

— А казался таким милым молодым человеком! — подхватила Вера. — Он ведь за мной ухаживать пытался, представляете?

— Ну, это-то как раз меня совсем не удивляет. Губа у этого Вани Рудольфини совсем не дура.

* * *

Полный жизненный цикл харизматичного вождя подразумевает стадию заклания. Харизматичность — соответствие будущей жертвы подсознательным критериям отбора. Голосуя, аплодируя, увивая гирляндами, мы выбираем не лидера — тельца. Жертва должна быть качественной; жертвенные животные — упитанными, безызынными. Харизматичный лидер принимает на себя наше худшее (или несбыточно-идеальное). Исполнивший предназначение, он, как правило, уничтожается (вариант: подвергается публичному поношению) и тем спасает нас от коллективного помешательства и неизбежной гибели. Харизма — индикатор способности обладателя расквартировать наших бесов; харизматик — кукла колдуньи, на которую переносится болезнь или порча. Он является симптоматическим лекарством — до следующего рецидива того или иного хронического недуга, который подчас и провоцирует, как прививка провоцирует легкую форму оспы. Но, как известно, некачественная вакцина способна вызвать полномасштабную болезнь.

part. «О харизме».

— Кто он вообще такой? — спросил Шоно с порога.

— Я знала его как Ивана Николаевича Рудакова, — ответила Вера насморочным голосом. — Внештатный сотрудник спецлаборатории моего шефа, занимался чем-то там психологическим. Он ведь по образованию психиатр. Учился вроде бы в Германии и Швейцарии, гипнозу, в частности. Интеллектуал. Ну, про то, что в юности выступал в цирке, он говорил, фокусы показывал за столом, на одной руке стоять мог. Заигрывал, при встрече цветы из ниоткуда доставал, вообще любил эффекты. Самое ужасное — этот негодяй мне нравился.

Мартин, принявшийся заваривать в котелке памятный букет, хмыкнул:

— Еще бы! Циркач-психиатр, да еще стоящий на одной руке!..

— Ну, тогда же некому было объяснить мне, что не это самое важное в человеке. Видишь, в этот раз он мне уже ни чуточки не понравился. А если серьезно, то я на вашем месте его прямо тут и прибила бы! Наглая, беспринципная сволочь! Такой мать родную продаст!

— Такой как раз навряд ли продаст, Верочка, — задумчиво проговорил Шоно. — Люди, декларирующие отсутствие принципов и моральных устоев, как правило, делают это в защитных целях — слишком силен внутренний конфликт их сознания с подсознанием. Чем отчетливей они сознают, что поступают дурно, тем громче сие отрицают — дабы заглушить мучительное скрежетание совести. Обратите внимание на то, что, предложив нам убить его людей, сам герр Рудольф от этого устранился, хотя знает, что они-то его в случае провала прихлопнут, не задумываясь. Этот ваш поклонник вообще не то, за что себя выдает, насколько я понимаю. Ему сейчас очень страшно — он ведь прекрасно понимает, что натворил — вот и ведет себя вызывающе, хорохорится, диктует условия. А всем своим существом взывает о помощи.

- Выходит, мы должны его пожалеть?
- Несомненно, но попозже. Если получится.
- Так мы что, принимаем его условия?
- У нас не то, чтобы были альтернативы. Но убивать его людей мы, разумеется, не станем...
- О, господи, а это почему? Они же враги!
- Потому что: не убий, — ответил за Шоно Мартин.
- Мотя! Вы — здравомыслящий человек! Вы были на войне! Скажите им!
- Что я могу сказать? Наверное, они правы. Уж на что я аморальный тип, а не могу резать глотки спящим людям.
- Ну так разбудите их перед этим!
- Будить усталых людей — это и вовсе зверство! Нет, пока они не попытались нас убить, я на такое не пойду, и не упрашивайте!
- Ну вас, с вашими шуточками... — Вера задыхнулась от возмущения. — Дураки какие-то, ей-богу.
- Вы непоследовательны, моя дорогая! — мягко упрекнул ее Шоно. — Герра Рудольфа вы клеймите за беспринципность, а нас ругаете за противоположное. К тому же вы меня не дослушали. Мы не станем убивать их исподтишка, а сделаем это в честном бою.
- Ой, уже делайте, что хотите! — Вера безнадежно махнула рукой. — Вас ведь все равно не переубедишь. Я-то считаю, что прав как раз этот подлец Рудольф.
- Он прав только в одном, — сказал Мартин, поднося ей отвар в жестяной кружке, — в том, что во всей этой истории виноват только я. Никогда не прошу себе. Каким я тогда был ослом!
- Каким-каким. Молодым, — сказала Вера и вдруг хлопнула себя по лбу так звонко, что все подскочили на местах, а Марти расплескал свое варево. — Осел! Вспомнила!
- Что с вами? — высказал общее беспокойство Шоно. — Что вспомнили?
- Молодой осел, сын подъяремной. Из книги пророка Захарии. Когда Марти рассказывал мне сказки

про деревянных человечков, я подумала одну интересную вещь, но потом все так завертелось, что я забыла. А вот теперь вспомнила, совершенно не к месту. Как испорченный автомат, знаете, когда в него вдруг проваливается застрявшая монетка.

— Из книги Захарии? Ну-ка, ну-ка, поведайте нам, пожалуйста! Только мы, с вашего позволения, зайдем удобные позиции у окошек, а вы держите под наблюдением сторону двери... Вот, мы готовы внимать, — сказал Шоно, когда все разошлись по местам.

— Не знаю, зачем, потому что... впрочем, почему бы и нет? Не все же вам меня лекциями развлекать. Когда мы говорили про Пиноккио, у меня выстроилась цепочка ассоциаций: Пиноккио, которого превратили в осла — Луций из «Золотого осла» Апулея — Апулей, который был известным мистагогом и неопифагорейцем — культ осла в Древнем Египте. Потом вспомнила, откуда эти ассоциации взялись в моей голове. Году в двадцать втором или третьем — еще гимназисткой — я прилежно бегала на семинарий профессора петербургского университета Жебелева — готовилась к поступлению. Однажды попала на доклад со странным названием «Asellianna», который делала на удивление зрелая для студентки дама по имени Ольга Фрейденберг. Позже узнала, что она — кузина моего любимого поэта Бориса Пастернака. Ну, то есть, это она меня с ним и познакомила впоследствии, неважно...

— Фрейденберг, Пастернак, — подал голос Беэр со своего поста, — они не из Одессы случайно? А то уж больно фамилии знакомые.

— Она, кажется, да. Какая разница? Так вот, доклад настолько меня поразил, что по его окончании преодолела робость и пошла знакомиться с докладчицей, которая меня тоже очаровала. Речь в сообщении шла о том, почему Иисус в Евангелиях въезжает в Иерусалим на осле.

— Так-так-так, крайне любопытно! — подбодрил Веру Шоно.

— Восстановить детально двухчасовую лекцию по памяти, конечно, не смогу, но в общих чертах там говорилось про глубинные корни ритуального въезда в город на осле. Очень подробно и убедительно доказывалось, что в древних земледельческих культах осел — как и рыжие люди, Марти! — был олицетворением Солнца в его губительной ипостаси. Чтобы заставить Солнце служить, его символ — осла — надобно было связать и подчинить. После чего обратавший его человек, который изображал в мистерии Бога-Спасителя Матери-Земли, торжественно въезжал через городские ворота и при всеобщем ликовании следовал к храму, где происходил сам акт спасения, то есть оплодотворения Богини-матери. Считается, что зачастую этот акт осуществлялся прилюдно — и в самом прямом смысле — между усмирителем осла и главной жрицей храма. Никогда не забуду, Марти, как деликатно ты просвещал меня на предмет храмовой проституции!

— Я же не знал...

— Это было так мило! Э... Далее. Фрейденберг полагает, что в некоторых случаях происходила контаминация образов осла и наездника, в результате чего в мистерии иногда участвовали уже только осел и блудница, которую называли «онобатой» — едущей на осле, однако слово обозначало еще и совокупляющуюся с ослом. Все это описано у Апулея, как вы, несомненно, помните. Отголоски же этой традиции можно было видеть в Вероне, где до сих пор поклоняются мощам ослицы, и в христианской Франции, где существует культ святой Анессы, то есть, ослицы по-французски, а в средние века также проводились приуроченные к бегству Марии в Египет богослужения и литургии, при которых осла наряжали в богатые церковные одежды и возили на нем пьяную шлюху, причем даже высшее духовенство ревело по-ослиному и надиралось вместе с паствой вином до положения риз. Таким образом, говорила Фрейденберг, ослица почиталась как символ богородицы, а ее осленок — как символ самого

Иисуса. Еще она рассказывала — мне тоже это встречалось в разных источниках, — что многие античные авторы уличали евреев в поклонении золотой ослиной голове, якобы хранившейся у них в Храме. И что впоследствии навет ослопочитания и ослоложества перекинулся и на христиан. В Риме, при раскопках на холме Палатин в прошлом веке, обнаружили два рисунка-карикатуры, изображающие человека, который молится распятому с ослиной головой. И так далее, и тому подобное. Вот приблизительно так. Сама не знаю, зачем рассказала. Наверное, чтобы вы объяснили мне, как все это выглядит в свете вашего тайного знания. Потому что последней записью моего шефа в зашифрованном блокноте было слово «осел».

Беэр присвистнул. Мартин кашлянул. Шоно понял, что говорить — ему:

— Что ж, блестящая госпожа Фрейденберг подобралась вплотную к истине. Можно даже сказать — прошла сквозь нее, не заметив. Ее немного подвело незнание языка предков. Принято считать, что Септуагинта¹ весьма точно отражает известный нам оригинал Библии. Тем не менее это далеко не всегда соответствует действительности. Вот, к примеру, то место у Захарии, о котором вы говорили, в классическом переложении звучит так: «Ликуй от радости, дева Сион, торжествуй, дева Иерусалим: вот твой царь приходит к тебе, справедливый и спасающий, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъяремной». А вот вам точный перевод принятого у иудеев канонического текста: «Радуйся премоного дщерь Сиона, ликуй дщерь Иерусалима! Се царь твой придет тебе, праведный и спасаемый, скромный и едущий верхом на осле и на осленке сыне ослиц».

— Вот тебе и раз! Откуда же такое расхождение?

— Причин может быть множество, например — перевод производился с вольного, арамейского источника,

¹ Interpretatio Septuaginta Seniorum — перевод Ветхого завета на греческий, выполненный по легенде семьюдесятью двумя еврейскими старцами в III веке до н. э. для Птолемея II Филадельфа.

а не с традиционного еврейского. Да это и не важно для нас сейчас. Важно то, что составители Евангелий подгоняли их для пущей убедительности под древние пророчества и пользовались при этом не оригиналом, а слепоками с него. Таким образом, вроде бы совершенно случайно, хотя и закономерно, вся эта ослиная тема переключалась из древних культов в современный. Так думает ваша Фрейденберг и ей подобные ученые...

— Например, наши кембриджские ритуалисты, — вставил Беэр.

— ...и, возможно, часто оказываются правы, но иногда, увлекшись внешним сходством явлений, делают неверные выводы об их тождестве. Но лучше меня об этом расскажет Беэр.

Не отрывая глаз от густеющей тьмы за окном, тот заговорил — плавно и размеренно:

— Каббалистическая школа с ее «языком ветвей» хорошо научила меня тому, что ни одно высказывание пророков нельзя воспринимать буквально. Если я покажу вам два пальца, вы навряд ли решите, что я имею в виду два пальца, но начнете гадать — это число два, или римское пять, или знак победы, или неприличный жест с сексуальной коннотацией? Точно так же маловероятно, что Захария в приведенном отрывке сообщает о том, что Мессия будет восседать на двух ослах сразу. Ведь он хоть и Мессия, но схема тела у него та же, что у нас, и задница всего одна. И точно так же глупо было бы предполагать, что эпитет «сын ослиц» означает наличие у осленка нескольких матерей. Если не рассматривать всерьез мысль о шизофрении автора, мы должны будем признать, что такой очевидной несуразницей он привлекает наше внимание к своим словам. «Осленок — сын ослицы» звучит столь же по-идиотски, как «мальчик — сын женщины». Как будто он может родиться у козы или волчицы! Значит, ключевое слово здесь — «ослица», а множественное число указывает на то, что это не какая-то там обычная, а самая главная ослица на свете. Аналогично этому Бог иудеев называется

ими не Эль, а Элоим, сиречь Боги. Но что же эта за самая главная ослица? Конечно же, иудеи никогда не поклонялись ослу — во всяком случае, в те времена, когда о них узнали греки и уж тем более римляне. Никаких изображений осла в Храме не видели ни Эпифан, ни Красс, ни Помпей, ибо всякое идолопоклонство в иудаизме к тому времени было уже искоренено. Хотя некоторые отголоски древнего семитского почитания осла, тем не менее, при желании в нем можно было обнаружить. Так, например, первенец ослицы считался священным, и его необходимо было «выкупить» у священника, отдав взамен него ягненка. Но вовсе не это дало язычникам повод для злословия. Просто-напросто они буквально истолковали некое случайно подслушанное иносказание, которое даже для подавляющего большинства иудеев никакого смысла не несло.

— И что же это за иносказание? Изнемогаю от любопытства!

— Вы читали книгу Зигмунда Фрейда про Моисея?

— Ну, откуда? У нас его не издают последние лет десять, а то и больше.

— Ах да, я слышал, простите! Между прочим, мама Фрейда выросла в Одессе, вы знаете? Нет? Жаль. Тогда я вкратце изложу суть книги. Он считает, что Моисей был египетским вельможей, чуть ли не царским сыном, воспитанным жрецами бога Атона — был при фараоне Эхнатоне культ, сильно напоминающий монотеизм...

— Эту часть доклада вы можете опустить. Я знаю про эль-амарнские находки.

— Прекрасно! Тогда вы, конечно, помните, что символом единого бога Атона был зримый солнечный диск. Загадочно возникшая под эгидой Эхнатона и его жены-красавицы Нефертити религия мира и любви угасла вместе с ними и их любовью. Фрейд полагает, что Моисей был приверженцем запрещенного и проклятого культа и оттого решил во что бы то ни стало его возродить. Для этого он выбрал самый угнетенный народ — евреев — и, возглавив его, вывел из Египта и даровал

Закон. Обретя свободу, народ пожелал вернуться к понятному язычеству, взбунтовался и убил своего предводителя. Через некоторое время евреи выбрали себе главным богом мидианитского вулканического божка — злого, воинственного и мстительного. С этим богом они пришли в Ханаан, где воссоединились с родственными племенами и сообща захватили его, жестоко истребив местное население. Хотя я имею основания полагать, что все происходило не совсем так, вернее, совсем не так, как хотелось представить моим древним предкам...

— И каковы ваши основания? — осведомилась Вера.

— По некоторым косвенным признакам и результатам раскопок я склонен датировать исход из Египта не тринадцатым, а двенадцатым веком до нашей эры — поскольку предполагаю, что в тринадцатом Ханаан еще был под властью египтян, а значит — бежать туда евреям смысла не было.

— Так кто же тогда разрушал и истреблял?

— Да сами египтяне. Евреи же, проболтавшись в пустыне сорок лет — это такое классическое число, означающее «долго» — дождались ослабления египетского владычества и лишь тогда начали осваивать опустошенные территории и строить дома на развалинах, задним числом объявив их делом рук своих героических предков. Ну, возможно, несколько городов им действительно удалось захватить самостоятельно. Но Фрейд основывает свои логические построения на общепринятой хронологии. Однако в нашем случае это не слишком существенно.

Итак, Фрейд пишет, что за время скитаний Атон мог быть забыт навсегда, если бы среди евреев не сохранились носители семян зачахшего растения — левиты. Они единственные не имели надела в земле Израиля и были как бы странствующим орденом. Переходя с места на место, они исподволь возрождали культ доброго бога Атона, и в итоге долгой борьбы возник некий компромисс между ним и Яхве, каковая двойственность

и запечатлена в Святом Писании, где Бога называют то Яхве, то Элоим, то вовсе Яхве Элоим, то Адонай Эло-эйн, то есть, буквально Господа наши Боги.

Когда я прочитал все это в Лондоне, то хотел тотчас же прийти к великому человеку, чтобы сказать ему, как близко он подошел к разгадке. Да что там, я готов был рассказать ему все, что знаю! Но увы, гений не смог принять меня из-за тяжелой болезни, а доверять тайну бумаге я не имел права.

— Но вы сказали — подошел близко. Значит, все же не разгадал?

— Он и не мог. Для этого надо знать то, что знаем только мы.

— И в чем же разгадка? Боже, неужели опять — в деревянном человеке?

— Пусть лучше Марти расскажет — все-таки речь идет о его предках.

Мартин вытащил изо рта трубку Киплинга и откашлялся.

— К сожалению, я — недостойный потомок, — молвил он со смущением в голосе. — Все вырождается. Что ж, я расскажу об их великих деяниях, дабы испить чашу стыда за свою никчемность.

— Бикицер, Марти! — перебил его Беэр на идиш. — Мы все знаем, что ты жутко скромный. Говори уже за дело! Человек умирает знать!

— Да, я умираю знать, Марти! Не томи же!

— Твоя догадка верна. Нам неизвестно в точности, кто были Эхнатон и Нефертити. Знаем только, что они любили друг друга неземной любовью, а во время их царствования процветали искусства и не было войн.

— А еще — что у Нефертити были голубые волосы, — добавил Беэр.

— Да, она носила синий парик... Понятно, что долго такой рай на земле существовать не мог — империя начала рушиться, нашлось много недовольных среди жрецов и царедворцев. После смерти именина Эхнатона и Нефертити были стерты и преданы забвению —

египтяне верили, что если назвать умершего по имени, это его частично воскрешает.

— Что-то в этом есть.

— Несомненно. Что и как там происходило мы доподлинно не знаем — в семейном предании об этом сказано очень мало. После некоторых политических изменений в стране евреи впали в немилость. Их фактически поработили — народ скотоводов заставляли заниматься земледелием, ткачеством и строительством, а самых молодых и красивых женщин рекрутировали для занятия проституцией в храмах Изиды. Там их обучали манерам, грамоте, музыке и танцам. Одной из таких девушек стала Мириам, дочь Амрама и Йохевед. Известно, что однажды некий знатный египтянин Ааро спас ее от насилия — эта история потом была приписана гораздо более поздним персонажам — еврейскому пастуху и дочери мидианского священника. Мириам была «хозяйкой колодца» — ты помнишь наш давнишний разговор? — поэтому в преданиях неоднократно упоминается некий волшебный «колодец Мириам». По понятным причинам род ее занятий в Библии завуалирован, но даже из скудных сведений о ней становится ясно, что речь идет о незаурядной женщине, музыкально одаренной, образованной, необычайно умной и дерзновенной — настолько, что она не боялась вступать в религиозные диспуты со священниками. Как ты, наверное, уже догадалась, Мириам была Шхиной. Ааро же был Мессией. Вместе с двумя египетскими магами — возможно, жрецами Атона — они создали ноцара, с помощью которого намеревались избавить еврейский народ от рабства и сделать носителем веры в Единого Бога.

— И этот ноцар?..

— Они назвали его Мосе — дитя. Известным из Библии способом ноцара подбросили дочери фараона — они наверное знали, что он не утонет, кормилицей ему стала мать Мириам, а царский врач Ааро — воспитателем и так далее... Впоследствии,

благодаря нечеловеческой силе убеждения, он транслировал народу идеи Мессии и уговорил фараона отпустить евреев.

— А почему Мессия выбрал именно их?

* * *

*предположительно 1240 год до нашей эры
окрестности Мемфиса*

Ааро доиграл, подождал, прикрыв глаза, пока последний звук не разобьется вдребезги в глубине каменоломни, и лишь тогда отнял от губ двухголосую флейту.

Мириам сидела, уткнувшись лбом в колени, прикрыв голову руками. Все тело ее сотрясала мелкая дрожь.

Ааро прикоснулся ее по плечу и спросил:

— Ты холодно?

Мириам отрицательно помотала головой.

Он ласково поднял за подбородок ее лицо, повернул к себе. Наклонился, несколько раз поцеловал влажные глаза.

— Я пить твои слеза. Почему ты плакать?

Она вытерла глаза, попыталась улыбнуться:

— В нашем языке нет слов, чтобы объяснить, мой господин.

— Ты пробовать! И не говорить — мой господин, прошу! Говорить — мой Ааро!

— Когда ты играл... Ааро... Я никогда не слышала ничего прекраснее. Мне казалось, что я вся сияю изнутри...

— Сияю?

— Свечу. Но не как лампа, а как вот этот месяц, даже еще ярче.

— Понимаю. Но разве плохо?

— Нет. Так хорошо, как никогда не было. И страшно, что так хорошо уже больше не будет, понимаешь? Глупые женщины от этого тоже плачут иногда.

— Понимаю, да. Но ты не глупые! Ты... как сердце в руке.

— Глупая, как сердце. А еще мне казалось, что я слышу самого Бога, но не боялась, а очень его любила.

— Очень хорошо! Я — сияю. — Ааро засмеялся, хлопнул в ладоши и поднял их к небу. — Так — правильно. А твой самый Бог — какая?

— Я не знаю, мой... Ааро. Простым людям жрецы про это мало говорят, а нам, женщинам — и подавно. Только как правильно молиться, что делать, чего не делать.

— Что значит — подавно?

— Значит — еще меньше, чем остальным. Но кое-что я слышала, конечно. Разреши мне продолжать по-египетски, Ааро! Мне будет проще рассказывать.

— Почему? Я глупый не понимаю много ваших слов? — он сделал обиженный вид, но не смог удержать улыбку.

— Что ты! Я в жизни не встречала никого умнее тебя! Ведь ты всего две недели учишься говорить по-нашему!

— Тогда почему?

— Просто потому, что наш язык не подходит для таких разговоров. Мы — народ пастухов. У нас много слов про скотину и траву, но мало слов про Бога и душу. И я не понимаю, зачем тебе, мой любимый, понадобилось наше убогое наречие!

— Наречие? А — это речь, да? Что ж, — Ааро перешел на родной язык, — говори, как тебе легче. Для того и понадобилось, чтобы понять, как говорить с твоим народом о Боге.

— А зачем тебе говорить с ними о Боге?

— Не о скотине же — в этом они понимают больше меня. Но ты обещала рассказать, что знаешь про вашего Бога!

— Я знаю только то, что рассказывают жрецы, а они рассказывают мало. Говорят, что давным-давно где-то там, — Мириам неопределенно махнула рукой на восход, — жил наш предок.

- Там — это в Ханаане?
- Нет. В центре земли Сенаар, а может, и того дальше.
- А, черноголовый.
- Его звали Абрахам, а жену его — Сара.
- Удивительно!
- Что удивительно, госп... Ааро?
- Ты же знаешь, что я не коренной египтянин. Вот и кожа у меня светлее, и лицом я больше похож на вас, а не на них, и волосы рыжие, как у тебя. Мои предки — из страны Миттани, но они были не хурриты, а пришлые — из восточных стран, а туда тоже, говорят, переместились из Середины Земли. Так вот, создателя нашего народа и всего мира звали Брахма, а жену его — Сара-свати. Выходит, мы с тобой — родственники, только далекие очень.
- Так, верно, и Бог у нас один?
- Бог у всех один. Только не все об этом знают. Так что ты говорила про вашего? Как его зовут?
- В том-то и дело, что никак. Когда он открылся нашему предку, то не назвался.
- Очень верно! Это бы заняло слишком много времени. Но как вы называете его между собой?
- Просто «Суций». Говорят, что Суций открылся Абрахаму и заключил с ним договор. Обещал, если тот будет непорочным и праведным, сделать его отцом многих народов и царей и дать во владение всю землю ханаанскую.
- Праведным... и только?
- Да. Ну, еще делать всем обрезание.
- Странно. Тут в Египте все обрезаны, да и в соседних странах — тоже, что ж тут такого особенного? Наш Брахма ничего такого не требовал.
- Так жрецы говорят. Я-то думаю, что там, в Сенааре, обрезания не делали, а как сюда пришли, то не захотели быть мерзостью пред египтянами. Вот и придумали, что это от Абрахама завет.
- И это все? Но ведь и ни один из здешних богов не

требует от людей порочности и несправедности. Должно быть какое-то коренное отличие!

— Отличие, наверное, в том, что он — только наш. Жрецы потому все в тайне и держат. Хотя порой мне кажется, будто они и сами толком про него ничего не знают. Женщинам, конечно, не положено задумываться о таких вещах, но... ничего не могу с собой поделать.

— Понимаю. Так что же — нет никаких особых законов, предписаний? Одна лишь голая вера в то, что ваш Бог — особенный?

— Насколько я могу понять своим слабым умом, мой Ааро, Бог обещал Аврахаму, что если Его условия будут выполняться неукоснительно, то в свой черед Он пошлет народу пророка, через которого передаст свой Закон и укажет путь в обетованный предел. Вот все наши и ждут такого пророка. Только его все нет и нет.

— А что если я стану для них этим пророком?

— Ты все шутишь, мой Ааро?

— Сейчас — не шучу.

— Почему бы тебе не стать пророком у египтян? Почему ты хочешь именно мой народ?

— Египтяне слишком закоснели в своих привычках и представлениях. А твой народ — как чистый папирус. К тому же они обладают весьма важным свойством — поистине *ослиным* упрямством. Ты не веришь в то, что я могу дать им закон и избавить от рабской доли?

— Я-то верю. Но как убедишь их в том, что ты посланец их Бога? Им нужно будет что-то большее, чем слова.

— А что убедит их?

— Не знаю... Какое-нибудь чудо.

— Чудо? Это пустячное дело. Смотри! — Ааро поднес флейту к губам и заиграл.

Мириам зачарованно наблюдала за тем, как огромная глыба тесаного камня, что лежала поодаль, завибрировала и плавно приподнялась в воздух на две

сажени, а потом так же плавно и бесшумно опустилась на деревянные катки.

— Так вот почему наши мужчины говорят, что им становится гораздо легче работать, когда ты играешь на флейте! — прошептала она. — Ты им помогаешь, да? Приподнимаешь камни своей волшебной музыкой?

— В некотором смысле — да, — засмеялся Ааро, — но не совсем. То, что ты видела, произошло не взаправду, а только в твоей голове. Магия моей музыки заключается в том, что с ее помощью можно заставить людей увидеть или почувствовать что угодно. Например, что они стали втрое сильнее, понимаешь? Люди вообще способны на много большее, чем им кажется.

— Но как ты это делаешь?

— Я просто начинаю о чем-то крепко думать — и играю свои мысли. Все получается само собой.

— Просто... — девушка закусил губу и глубоко задумалась. — Нет, боюсь, не получится.

— Но почему?

— Во-первых, ты для них — чужак. Они любят и почитают тебя за то, что ты защищаешь их и лечишь, но ты — все равно египтянин, а египтян они боятся — особенно этой вашей магии.

— Моя магия — не египетская.

— Им все едино. Во-вторых, свою музыку ты думаешь все же на своем языке, а не на нашем, наверное?

— Нет, это совсем особый язык. Он не требует слов и управляет чувствами.

— Вот видишь! Вера невозможна без толики боязни. А музыка — даже твоя — страшной быть не может, если она без слов. К тому же ты слишком добр, мой возлюбленный. Ты ведь не сможешь заставить людей слушать твою музыку насильно, правда?

— Да, они должны сами захотеть. Иначе ничего не получится, — Ааро нахмурился. — Наверное, возможно сыграть и страшное, но я навряд ли сумею сыграть то, чего во мне нет. Страх...

— Страх, как и яд кобры, может быть полезен. Вот я — боюсь тебя потерять, боюсь огорчить, обидеть...

— Надо же, я только сейчас начинаю постигать, отчего у моего прадеда ничего не получилось с Эхнатоном!

— С кем?

— Ты слишком молода, чтобы знать, а память об этом фараоне приказано было стереть. Он был женат на хурритской принцессе. Мой прадед прибыл из Миттани вместе с нею в качестве личного врача. Поскольку фараон был чрезвычайно болезненным, мой дед лечил его. В частности — музыкой. И внушил ему... Впрочем, теперь неважно... Мне пришла в голову мысль. Что если нам сделать такого пророка, которому твои сородичи поверят?

— Ты разумеешь — породить? Но для этого ты должен будешь взять меня в жены!

— Я с радостью женюсь на тебе, но сейчас я говорю о другом. Нам ведь нужен необычный, волшебный ребенок. Сделать — значит, создать.

— Создать? Из чего?

— Да из чего угодно! Хоть из вон того полена, — Ааро поднялся на ноги и поставил стоймя валявшийся рядом кедровый каток. — Дай-ка мне свой платок!..

* * *

*вечер 3 сентября 1939 года
Роминтенская пуща*

— Почему выбрал? Наверное, во-первых, потому что они были народом Мириам. Во-вторых, будучи угнетенными и униженными, они оказались восприимчивее прочих к вере в Бога любви и мира. Как и первые христиане — рабы и пауперы — к вере в страдающего за них Бога.

— И что же дальше?

— А дальше произошло то же, что и с ноцаром Йеошуа. Народ, уверовавший в свою силу, возжелал себе более понятного — зримого бога. Ааро пошел на компромисс и сделал изображение...

— Золотого тельца?

— ...нет, золотого круга — символа Атона. Впоследствии из-за неспособности найти логичное объяснение этому символу, а может и нарочно, золотой круг — *egul ha-zahav* — превратили в золотого тельца — *egel ha-zahav*, всего-то одна буква, а смысл поменялся на противоположный, понятный недавним язычникам и негативный. Но народ не готов был принять абстрактное божество даже в таком виде. Ноцар же, ощущавший желания народа куда острее, чем Ааро, восстал против своего создателя, разрушил Золотой круг и сделал вместо него другой тотем — Медного Змея — Нехуштана. Этот идол, кстати, потом стоял в Первом Храме вплоть до его разрушения. Произошло это, вероятно, тогда, когда евреи пришли в Мидиан и тамошний первосвященник Йетер захотел обратить их в свою веру. Чувствуя в Мосе огромную силу, Йетер обласкал его, женил на своей дочери и сделал все, чтобы физически отдалить от него Ааро. Мириам, которая всегда неотлучно находилась рядом с ноцаром, пыталась воспрепятствовать этому, но в итоге была заключена под стражу. Все более подпадая под влияние Йетера и настроения толпы, ноцар-диктатор легко убедил народ в том, что Суций — это бог мидианитян, и провозгласил захватнический поход на Ханаан. Ааро с сыновьями и преданными ему левитами попробовал уничтожить свое творение, но потерпел поражение и был убит. Мириам вскоре скончалась, а без энергетической связи с обоими, так сказать, родителями ноцар тоже долго просуществовать не мог. Когда же он умер, то через короткое время, естественно, превратился в то, из чего был сделан. Обнаружив это, растерянные старейшины сообщили народу, что место своего захоронения Мосе приказал держать в тайне,

а сами уложили странные останки вождя в специальный ковчег, сделанный на манер египетских, и понесли его дальше с собой, запретив простецам под страхом смерти даже прикасаться к нему. Видимо, народ все же инстинктивно ощущал нечеловеческую природу Мосе и боялся его, и оттого траур по вождю был не таким глубоким, как по Ааро и Мириам. По той же причине впоследствии была выдумана всем известная легенда про Моисея — косноязычного воспитанника фараоновой дочери — сказочная и путаная, но, по крайней мере, понятная и человеческая история о рождении, жизни и смерти. По счастью, избранный преемником Моисея Йеошуа Бин Нун — великий воитель Иисус Наввин — сохранил пиетет перед Ааро, а потому данные Мессией заповеди закрепились в иудаизме и сделались его незабываемой моральной основой. Несмотря на то, что имя Атона было тщательно стерто из памяти народа теми, кому нужна была религия, более подходящая на роль государственной, а левитов — последователей Ааро — оттеснили на второстепенные позиции, в Храме благодаря им появились маленькие золотые кружки — символы Атона, которые использовались как особые храмовые деньги.

— Так вот в чем, оказывается, причина традиционной привязанности евреев к маленьким золотым кружочкам!

— Возможно, именно в этом. Итак, левиты сохранили в веках кусок священного дерева и полотно, а также и магическую музыку, устно передавая ее в тайне из поколения в поколения, пока не придумали способа ее записать, и всю эту историю, что я тебе сейчас рассказываю. Атон-Адонай же совершенно вернулся в иудаизм только после утраты евреями своей государственности и завоеваний — иными словами, когда еврейские пророки осознали всю тщету строительства земных царств и устремились мыслию к возведению царства духовного. Ведь Богу не нужны посредники для общения с людьми, как не нужны храмы, жертвы и вся

эта мишура. Он создавал себе не рабов, иначе зачем бы создавал их по своему образу и подобию? Да и вообще — зачем высшему существу нужны униженные рабы? Как верно заметил пророк Исайя, Бог нам не хозяин, но партнер. Ведь Он не навязывался людям, а предложил им союз, условия которого следует понимать так: Я буду твоим Богом, если ты не убьешь, не украдешь, не возжелаешь чужого и далее по известному списку.

— Надо же! Все это ужасно занимательно и необычно, хотя я так и не уловила связи...

— Ах да, я же забыл сказать главное! Самка осла по-древнееврейски называется *атон*.

* * *

3 сентября, 22:30

Пророк — волшебнику.

Кабан встал на след.

Немедленно заройте все желуды.

Аист прилетит завтра в восемь.

* * *

Всю дорогу Рудольф бежал стремглав, отпугивая неожиданно наскაკивающие на него из мрака деревья хилым светом фонарика. Лишь за сотню шагов до амбара перешел на скорый шаг и попытался успокоить истерически колотящееся о грудину сердце. Кое-как сладив с дыханием, погасил издыхающий фонарь и порадовался тому, что в темноте собеседники не увидят хотя бы так некстати разыгравшегося нервного тика под левым глазом. Предупредительно кашлянул под дверь, выстучал условленный сигнал.

— Кто там? — донесся изнутри ернический голос Беэра.

— Конь блед, — раздраженно ответил Рудольф, входя. И, конечно же, зацепился за чертов порог и растянулся на полу.

— Осторожнее, Ванечка, там порожек! — пропел звонкий женский голосок по-русски.

«Ничего, птичка, сейчас ты у меня по-другому запоешь!» — утешил себя Рудольф, ощупью отыскал дверь и уселся, прислонясь к ней спиной.

— Как делишки? — игривый тон давался ему с величайшим трудом. — Мы пришли к согласию?

— Пришли, пришли, — ответил ворчливо Роу. — Но у нас есть несколько организационных вопросов. Скажите, герр Рудольф, у вас хороший слух?

— Ну, вас слышу неплохо, а что?

— Я имею в виду — музыкальный.

— Как вам сказать... Если использовать русскую идиому, медведь на ухо мне не наступал...

— А жаль, — донеслось рычание медведя сверху.

— ...но какой-то среднего размера зверь на нем все же потоптался, — игнорируя укол, признался Рудольф. — А вы хотели предложить мне спеть с вами хором в романтической обстановке?

— Увы, вынужден вас разочаровать, — с нескрываемым злорадством ответил Роу. — В нашей компании поют только те, кто обладает абсолютным слухом.

— Ничего, я согласен на роль дирижера — у меня неплохое чувство ритма.

— Вынужден вас предупредить — хотя, признаюсь, мне очень не хочется это делать, — что ваше присутствие при магическом ритуале исключено, поскольку оно окончится для вас плачевно.

— С чего бы это? — недоверчиво откликнулся Рудольф.

— С того, что вам нельзя будет ни слушать, ни смотреть. Иначе вы умрете.

— А вы — не умрете?

— И мы с герром Берманом умрем, если не заткнем хорошенько уши и не закроем глаза. Но в отличие от

вас мы в состоянии правильно петь, даже не видя и не слыша друг друга. Впрочем, если вас устраивает роль бесчувственного болвана в нашем преферансе, то милости просим!

— А он и есть бесчувственный болван! — не преминула лягнуть лежащего Вера.

— Герр Рудольф! — неожиданно вступил в разговор Гольдшлюссель. — Я слышу в вашем голосе плохо скрытую тревогу. Что произошло?

— Ничего особенного, коллега, — мстительно ответил психиатр-оберштурмфюрер, — просто двадцать минут назад я получил приказ вас всех физически элиминировать. Проще говоря — убрать, уничтожить, истребить и прикончить.

— Причина? — спросил Гольдшлюссель.

— Мы каким-то невероятным образом засветились. И в скором времени люди державного кабана начнут охоту за нами.

— Неужели ваш начальник не в состоянии что-либо предпринять? — послышался натянутый голос Роу.

— Этот рейхс-с-слизняк? Да он наделал в штаны при одной мысли о том, что сотворит с ним кабан, если поймает за руку в своем кармане! Ради своей безопасности Гиммлер откажется от всех тайн и сокровищ мира. А уж нас он отдаст на растерзание в первую очередь. Поскольку операция по вашему и нашему уничтожению, как это ни забавно, поручена Герингом лично ему, я не сомневаюсь, что он отдал приказ живьем нас не брать, чтобы избежать всякой возможности разглашения опасной информации. Но для нас он хотя бы оставил лазейку, а вот для вас — увы — нет. И в свете того, что вы сообщили мне только что, я пребываю в серьезных сомнениях насчет целесообразности моего участия в ваших играх. Пожалуй, мой шеф прав — куда спокойнее будет вас убить и улизнуть, пока не поздно.

— Ну, предположим, если бы вы и в самом деле так думали, то не стали бы нам этого говорить, — рассудительно заметил Гольдшлюссель.

— Предполагайте все, что вам влезет! — взвился Рудольф. — Да, черт бы вас побрал, я — не убийца и становиться им не желаю! Но умирать из-за вас мне тоже неохота, знаете ли! Вы мне не родня и даже не друзья, в конце концов!

— Неужели у вас есть родня и даже друзья, Ванечка? — жестко спросила Вера. — Да еще такие, за которых вы охотно умрете?

— Не ваше собачье дело! — грубо буркнул тот.

— Вера, я вас умоляю!.. — остановил открывшую было рот воительницу Беэр. — Сейчас не лучшее время для разбирательств подобного рода. Рудольфини! Вы не хамите даме, а то ведь я могу разволноваться и ненароком на вас отсюда свалиться! И уверяю, что одним слухом вы на этот раз не отделаетесь! Лучше выкладывайте ваши предложения!

— Предложений вам! — огрызнулся Рудольф. — Нет, дорогой мой, предложения все закончились. Есть только один выход, настолько узкий, что не уверен, пролезете ли в него вы с вашим тучным самомнением.

— В отличие от вас, я в состоянии его подобрать, когда требуется. Ладно, объявляю водяное перемирие! Что за выход вы там придумали?

— Сразу бы так... Я практически уверен — увидел это по глазам радиста и других, — что мои люди знают о новом приказе. Но я все же готов попытаться убедить их в том, что переговоры с вами завершились успешно и вы согласились сдать. Следовательно, группа якобы может довести первоначальный план операции до конца. Если вам повезет, они на это пойдут. Разумеется, все будет происходить по новому сценарию: мы окружаем ваше убежище, вы выходите по одному и даете связать себе руки. Далее мы добираемся до края леса, где на коротком привале я попробую вас развязать.

— Попробуете? — уточнил Беэр.

— Обещать не могу. Все будет зависеть от вашего поведения. Но поскольку узлы на вас буду вязать я сам, а я, как вы знаете — профессиональный престижиджигатор,

то вероятность того, что смогу быстро и незаметно их развязать, довольно велика. А уж все дальнейшее — на вашей совести. Сам не знаю, зачем я все это делаю. Наверное, вы всколыхнули на дне моей черной души какие-то остатки сантиментов. Вы уж постарайтесь впредь сделать так, чтобы мое зыбкое чувство к вам не осело обратно, ладно? Я ухожу, провожать не надо. В шесть утра буду здесь со своими гвардейцами. Учтите, что в случае чего они будут стрелять — и я их удержать уже не смогу.

В напряженной тишине он встал, бросил небрежно «Ciao, ragazzi!»¹ и вышел вон. И, конечно же, снова споткнулся о проклятый порожек.

* * *

— М-да, похоже на эндшпиль, — Шоно запалил свечу, в свете которой стал похож на микенскую погребальную маску из золота.

— Вы что, ему верите? — вскричала Вера. — Собираетесь дать себя связать? Да он же тотчас сдаст нас своему начальству!

— Либо сдаст, либо нет, — ответил Мартин, чиркая зажигалкой. — Черт, бензин кончился! Беэр, кинь мне свою, пожалуйста.

Тот извлек из своей «zipro» огонь и так — горящую — бросил Мартину.

— Кути! — крикнул он.

— Мути! — отозвался Мартин, аккуратно тремя пальцами взяв из воздуха полыхающую металлическую коробочку.

— Это такая игра — «кути-мути», я сам ее придумал в окопах, когда приходилось в полной темноте что-нибудь кидать друг другу на голос! — похвалился Беэр. — Только лучше всего в нее играть в полной темноте горячими утюгами — так жульничать труднее.

¹ Пока, ребята! (итал.).

— Вы все-таки определенно сумасшедшие! Нас через шесть часов, скорее всего, убьют, а вы развлекаетесь какими-то дурацкими играми! Я не говорю уже о том, что перебрасываться горящими зажигалками на сеновале — это какой-то... какое-то немыслимое мальчишество! — Веру всю трясло от возмущения.

— А по-моему, вполне себе игра, — обиделся Беэр. — Ну, если вам не нравится, давайте поиграем в шарады. Но предупреждаю: я в этом не силен!

— Да ну вас! Жить осталось всего ничего, и на что мы это ничего тратим? Вы что, и на войне так же развлекались перед боем?

— О, нет! — Беэр закатил глаза. — Накануне решительной битвы мы все как один писали героические письма невестам, сочиняли предсмертные стихи, исповедовались полковому капеллану и братались с товарищами по оружию. Ха! Верочка, ангел мой, врожденный стыд не позволяет мне рассказать вам, чем именно мы забавлялись в роковые минуты нашей жизни на самом деле. Человек — на войне или нет — может умереть в любую минуту, но это же не повод всю жизнь проходить с траурным выражением лица! Напротив, надо радоваться каждой минуте, наслаждаться каждым вздохом, восторгаться чудом бытия! Вот чего, кстати, я не приемлю в христианстве — откладывать жизнь на после смерти ужасно глупо, по-моему. Это как всю жизнь отказывать себе во всем, чтобы скопить на приличный надгробный памятник.

— Вы меня убедили. Немедленно начинаю восторгаться чудом бытия. Тем более что перспективы у нас самые радужные. Но при этом хотелось бы все же понять, почему бы нам не совершить вылазку в стан противников и не попробовать перебить их первыми? Ведь война уже объявлена, и все эти ваши чистоплюйские рефлексии можно, наконец, отбросить!

— Какая вы кровожадная, Верочка! — усмехнулся Шоно. — Просто воплощенная Кали.

— Жаль, что не Минерва, — подхватил Беэр. — Мне неясна стратегическая составляющая предлагаемой экскурсии.

— Нет, я отдаю себе отчет в том, что они этого ждут и обложили нас со всех сторон. Но драматург Чехов учил, что если в первом акте пьесы на стене висит ружье, оно обязано выстрелить. У нас по стенам развешана чертова уйма ружей. А мы сидим сложа руки и ждем, когда нас поведут на убой? Неужели не обидно сдаваться без единого выстрела?

— Мы не сдаемся, мы совершаем самый разумный в создавшемся положении шаг, — прервал свое молчание Мартин. — Герр Рудольф, как бы он ни был тебе противен, — наш единственный шанс.

— Боже правый! Да почему вы верите ему? Он же хитростью добился того, чего не смог взять силой! Он сказал, что Гиммлер сказал, что Геринг сказал... Откуда мы знаем, что его слова — это правда?

— Увы, это — правда, моя дорогая, — вздохнул Шоно. — Специалисты, подобные герру Рудольфу, всегда выставляют непробиваемую психическую защиту — панцирь, броню — с тем, чтобы, так сказать, не заразиться от клиента. И если психиатр-гипнотизер экстра-класса — а наш именно таков, уж поверьте! — свою защиту теряет хотя бы на мгновение, значит, он находится в состоянии крайней растерянности и даже паники. Он, конечно, изрядный лицедей, но нарочно такого не сыграешь. А я к подобным вещам весьма чувствителен.

— А я уж на что нечувствителен, но все равно понял, что не врет, — поддакнул Беэр.

— Ну хорошо, предположим, он не врет! — не уступала Вера. — И даже намерен действительно нам помочь. Но что ему помешает, заполучив нас, переменить свои намерения?

— Забавно, что из всех нас ты одна этого не видишь, душа моя, — рассмеялся Марти, выбивая трубку о каблук. — Он же без ума от тебя.

— Вот еще глупости! — возмутилась Вера, дернув плечом. — Уж что-что, а такие вещи я чувствую лучше всех вас вместе взятых.

— И тем не менее, — мягко возразил Шоно, — для нас это очевидно. Вы не обратили внимания, что болезненно он отреагировал только на ваш выпад? Это самый яркий показатель, но было и много других, менее явных. Все это дает нам повод утверждать, что главный приз в игре герра Рудольфа — вы, моя драгоценная.

Вера подавленно замолчала, потом выдала последний отчаянный аргумент:

— Но он же умный человек! Он не может не понимать, что его шансы равны нулю?

— Даже если он, к примеру, предложит тебе стать его — взамен на наши жизни? — спросил Мартин.

— А он может такое?... — пролепетала Вера.

— Насколько я успел его узнать — вполне. То есть я не утверждаю, что так оно и случится, но... Сама видишь — шанс есть, а синьор фокусник не из тех, кто упускает шансы.

— Так или иначе, — пророкотал Беэр, — в этой игре вы — наш ферзь.

— Хорошо хоть козырной дамой не обозвали, — мрачно ответила Вера.

— Я тридцать лет как зарекся играть в карты, — зачем-то сообщил Беэр, — Слишком уж азартен. Сменил бумажки на деревяшки, дабы компен...

— Стоп! — воскликнула Вера. — Деревяшка! Ведь все ингредиенты налицо! Почему бы вам не сделать этого вашего ноцара? Он же нужен для убеждения? Так, может, он выйдет и убедит этих чертовых нацистов обратиться к их нацистской чертовой матери?

— Охохо, — вздохнул Шоно. — Разумеется, нам всем приходила в голову эта мысль.

— И что же?

— Здесь много «но». Во-первых, мы не можем быть уверены в результате. Даже если у нас все получится...

— Что значит — если? Вы меня так уверяли в том, что все на мази...

— Видите ли, Верочка, — встрял Беэр, — любой эксперимент — даже тысячу раз удававшийся прежде — может однажды провалиться.

— Ну, предположим, что не провалился. В чем загвоздка?

— В том, что мы не знаем наверняка, какими свойствами будет обладать наш ноцар, — ответил Мартин.

— А во-вторых, — перехватил разговор Шоно, — очень велик риск того, что ноцар попадет в руки к нацистам. Вы понимаете, чем это чревато.

— Вы же сами говорили, что без нас поблизости он долго не протянет!

— Кто его знает... — Шоно поежился и вдруг резко постарел. — Но дело даже не в этом.

— А в чем?

— Дело в том, что для вас участие в эксперименте может обернуться гибелью.

— Но я не буду подсматривать!

— О, в этом я не сомневаюсь!

— Так что же?

— Марти, я могу рассказать?

— Думаю, ты *обязан*.

— Хорошо. Вера, когда Марти сказал вам, что его первая жена умерла родами, это была полуправда. Мы... я был уверен в том, что Мари — Шхина. Это была моя самая большая и непростительная ошибка в жизни...

— Я догадывалась об этом. И понимаю, что вы, обжегшись на молоке, склонны дуть на воду. Не волнуйтесь. Я готова рискнуть. Мотя, тащите ваш саквояж! Жалко же будет умирать, не попробовав совершить настоящее чудо.

— Ну вот, а я вам что говорил? — проворчал великан с удовлетворением.

* * *

Не помню, как провалилась в сон. Не помню и самого сна — а ведь что-то снилось. Пробуждение было мучительным — в голове ныло и нудно жужжало, а какая-то важная мысль свербила под затылочной костью — неуловимая, как сверчок. Тело слушалось плохо, точно деревянное. Взгляд ни в какую не фокусировался. Попытки припомнить вчерашнее оборачивались настолько дикой головной болью, что пришлось их оставить.

Проснувшись же окончательно, поняла, что такое — смертная тоска.

Тоска — как перед экзаменом, к которому не готова — только в тысячу раз сильнее. Тоска оттого, что очень страшно. Еще тоска оттого, что ничего не удалось. И оттого, что мои спутники стараются не встречаться со мной взглядом. И оттого, что я была совершенно не в состоянии понять, в чем провинилась перед ними.

Впрочем, друг с другом они тоже практически не разговаривали — сновали взад-вперед, что-то собирали, перетряхивали рюкзаки.

Беэр, кажется, шутил, но понять — смешно или нет — было тоже невозможно. Когда раздался стук в дверь, он подхватил свои ружья — за стволы, как лыжные палки — и пинком распахнул ее.

За дверью было белесое небо. Он обернулся, широко улыбнулся и нырнул в мутный прямоугольник — будто в люк самолета — и тотчас исчез из виду.

Следом за ним — Мартин с пустыми руками — даже не оглянувшись. Это было больно.

Шоно взял под немой локоть, сказал: «Идемте!».

Шагнув на свет отчего-то удивилась — словно ожидала, что попаду прямиком в чистилище, а увидела дюжину вполне земных целящихся в меня людей в диких пятнистых одеждах. В голове сразу зашумело, как в приемнике — если быстро-быстро крутить ручку настройки. Вдруг почувствовала, насколько все

эти мужчины меня вождеуют. Хотя нет, не все — один — с рацией за плечами — смотрел иначе.

Беэр — с руками, хитро связанными сзади — смотрел в небо и насвистывал веселый еврейский мотивчик. Рудольф, закончив возиться за спиной у Марти, принялся за Шоно. Потом подошел ко мне — помахивая тонкой, скользкой на вид веревкой. Посмотрел было мне в глаза, но дернулся, как от удара током, завилял взором. Мне не хотелось, чтобы он меня связывал, и он отошел, пробормотав: «Извольте держать руки за спиной!» Подобрал с земли Беэров шуццер, полюбовался, повесил на плечо, скомандовал: «Вперед!».

Двигались скоро — почти бежали — то и дело подгоняемые шипящим «быстро-быстро-быстро!» — четырьмя группками. За каждым из нас следовало по трое конвоиров. За мною — Рудольф, радист со странным взглядом и загорелый здоровяк, чей взгляд всю дорогу почти физически ощущала на своих ягодицах.

Судя по свету, брезжившему сквозь молочную дымку слева, двигались к югу. Как долго? Может, час, а может и два. Время — как и пространство — в тумане становится совершенной абстракцией и определяется одною лишь усталостью. Привал случился неожиданно — никакой команды передовой группе Рудольф не подавал — видимо, было условлено заранее.

Когда мы подтянулись к полянке, все уже сидели на земле — мои спутники поодиночке — на расстоянии нескольких шагов друг от друга, эсэсовцы кучками — напротив. Первые на меня не смотрели, вторые то и дело поглядывали. Рудольф бросил наземь свой баул, предложил садиться. Страх мой куда-то улетучился, сменившись чуть ли не любопытством. Все эти парни — кроме угрюмого радиста — вовсе не производили дурного впечатления, а некоторые были даже вполне симпатичными. Они тихонько переговаривались, посмеивались, подгоняли амуницию, пили воду из фляг, вытряхивали камешки из ботинок. Лица их не выражали никакой угрозы — лишь профессиональную

удовлетворенность ловчих и сдержанный интерес к добыче.

Отдышавшись, Рудольф произнес, не обращая ни к кому конкретно:

— Надо бы проверить на них узлы, — и — поднявшемуся было смуглому крепышу: — Сиди-сиди! Сам вязал, сам и проверю.

С тяжелым вздохом поднялся на ноги, опершись о ствол Беэрова ружья, аккуратно прислонил его к сосне, помассировал себе колени, неспешно подошел к Шоно, предложил воды. Тот отрицательно качнул головой. Рудольф деловито подергал веревку, стягивающую руки пленника, довольно хмыкнул, перешел к Марти. Повторил те же манипуляции с ним и с Беэром, вернулся на место, взялся за полюбившийся штуцер и собрался усесться, но застыл, услышав из-за спины резкое «всем встать!»

Скомандовал радист и, по тому, как все солдаты вскочили, поняла — имеет на это право. Брови Рудольфа поползли вверх. Он медленно развернулся и спросил металлическим голосом:

— В чем дело, Эгон? Пока еще я здесь отдаю приказы, как старший по званию!

— Старший по званию здесь я — гауптштурмфюрер Эгон фон Кальтенборн! — отчеканил лже-радист, сняв узкополую каску, обнажил высокий с залысинами лоб, к которому прилипли блеклые перья редких волос. — А сыну еврейской цирковой шлюхи в СС делать нечего! Сдать оружие! — он требовательно протянул руку ладонью вверх.

Рудольф зажмурился, словно получил пощечину. Меня прорвало — встав между ними, громко бросила Кальтенборну:

— А что делаете в СС вы, тайный гомосексуалист? — и моментально почувствовала, что все окружающие мне поверили.

В его глазах прочитала свой смертный приговор. Он застыл на мгновение в позе просящего милостыню,

а потом открытой ладонью резко ударил меня по уху — с такой бешеной силой, что дальнейшее мне пришлось наблюдать из ближайших кустов.

Словно в дурно смонтированной киноленте под бешеный звон в голове взамен тапера, увидела, как Рудольф совершил правой рукой нелепый, жеманный жест, будто хотел окропить прицелившегося в него смуглого здоровяка святой водой — и верно — из-под пальцев фокусника выскользнула ртутно блестящая струйка, которая вонзилась здоровяку в горло и рассыпалась рубиновыми брызгами. Тот бросил карабин и попытался жадно схватить разбегающиеся драгоценные капли, но не удержал — завалился навзничь. В следующем эпизоде мне показали, как Рудольф, ухватившись за конец ствола, обрушивает на голову Кальтенборна приклад десятифунтового штуцера. Приклад пришепел ребром ровнехонько посредине аристократического лба и, разложив его надвое, завяз чуть выше переносицы. Гауптштурмфюрер удивленно поглядел на это неожиданно появившееся украшение, пал на колени и остался стоять, опираясь о ружье головой.

Мне уже почти удалось подняться с земли, когда Рудольф, крича что-то неслышное, рванулся в мою сторону. Он уже было добежал, но его потрянуло — раз, другой, третий — ноги у него подкосились, и он упал мне на грудь, больно вцепившись в рукава моей куртки. Рудольф искательно посмотрел мне в глаза — и я улыbnулась так ласково, как только могла — и поцеловала его в губы. Он улыbnулся в ответ, что-то прошептал и сполз, не выпуская меня из объятий.

Поверх его головы зачем-то увидела, как любимые люди, освободившиеся от пут, один за другим гибнут от пуль. Вот Мотя, голыми руками уложивший троих и весь изорванный в клочья пулеметной очередью четвертого, с размаху падает на него, погребя под своим необъятным телом. Вот Шоно, убивший двоих и увернувшийся от тысячи глупых свинцовых шариков, умирает проворной и мгновенной смертью — от тысяча

первого. Вот Марти — которого я так хотела спасти — Марти, до последнего не осквернившийся убийством — тихо прилег, приклонив голову на тело отца, друга и учителя. Марти, Марти, Мессия души моей, почему ты не захотел остаться в живых?

Вот один из четверых уцелевших эсэсовцев обернулся ко мне, вот прицелился, вот нажал на спусковой крючок.

Это было совсем не больно — просто сильный и горячий удар в горло, от которого мое дыхание прервалось навсегда. Падая, проживала свою глупую жизнь снова и снова. Время, скручиваясь в тугую спираль, разгоняло всю эту разноцветную карусель все быстрее и быстрее, покуда та не слилась в одно белое пятно. Пятно стало стремительно удаляться во тьму, и я погналась за ним, ведь оно уплывало туда, где были Марти, и Мотя, и Шоно, и Мишенька, и Докки...

* * *

Очнувшись, Вера не увидела ничего. Тела своего она тоже не ощутила — как будто сознание медленно вращалось вокруг боли, висящей в абсолютной, космической пустоте. Везде царил непроглядный мрак — душный, давящий, пахнущий сеной пылью и растительной гнилью. «Это ад? — подумала Вера. — Судя по запаху — да». Тут она оглушительно чихнула и сильно ударилась головой о что-то твердое. Тело тотчас обожглось, и тут же боль по-волчьи вцепилась ему в горло.

Почувствовав, что лежит на спине, Вера подняла руку вверх и наткнулась на грубые занозистые доски. «Я в гробу, — с поразительным спокойствием сообщила она. — Все ясно. Меня сочли убитой и похоронили заживо. Если я, конечно, в самом деле жива». Она попробовала крикнуть, но прикусившая ее шею больволчица с такой силой сжала челюсти, что ни единый

звук не смог вырваться из гортани. Тогда Вера отчаянно толкнула крышку гроба, и та подалась на удивление легко, а в образовавшийся просвет посыпались сено и труха. Надсадно кашляя — до потемнения в глазах — Вера выкарабкалась из своего соломенного склепа и огляделась. Она была одна — и все в том же амбаре, откуда... На мгновение у нее мелькнула слабенькая надежда на то, что приключившееся — сегодня утром? — всего лишь кошмарный сон, наваждение, и она судорожно ухватилась за эту призрачную надежду — чтобы хоть на миг отвлечься от ужасающего понимания истины. Тут Вера вспомнила, что выбираясь из укрытия, она натолкнулась рукой на что-то гладкое. Ломая ногти, она выцарапала из-под завала памятный крутобокий саквояж. Тот оказался непривычно легким. С третьей попытки ей удалось отщелкнуть замки. Первым, что она увидела внутри, были письма. То, что лежало поверх прочих было от Мартина. Развернув сложенный бельгийским конвертом листок, Вера стала разбирать двоящиеся и расплывающиеся в глазах буквы.

Любимая!

Ты читаешь эти строки, а значит, мы уже по ту сторону Стикса.

Прости меня за принятое без твоего ведома решение.

Я прекрасно понимаю, что, идя на опасный эксперимент, ты рассчитывала тем самым сохранить жизнь мне — последнему из рода et cetera, и ни за что не согласилась бы на наш вариант. Я говорю „наш“, поскольку Шоно и Безр одобрили его безоговорочно.

Не могу сказать, что решение было легким. С одной стороны, меня терзала навязанная ответственность перед человечеством. С другой — добровольно взятая на себя ответственность перед тобой. Наверное, я — никудышный Мессия, потому что моя любовь к одному человеку оказалась сильнее любви к человечеству в целом. Но я подумал: какого, собственно, черта? К тому же Шоно предсказал

тебе многие лета, а я привык, что его предсказания сбываются.

Прости меня за то, что я появился в твоей жизни потрепанным и примороженным.

Прости меня за то, что я появился в твоей жизни так поздно.

Прости меня за то, что я вообще появился в твоей жизни.

Но эти двенадцать дней с тобой стали лучшими — в моей.

Прости за то, что обрек тебя на вдовство.

Я знаю, каково это. Но я это пережил, а ты сильнее меня. И я верю, что в твоей жизни вскоре появится новый смысл.

Судьбе было угодно сделать нас персонажами старого, как мир, сюжета, в котором Адонис всегда погибает, а Афродита всегда остается скорбеть по возлюбленному.

Но прежде чем жаловаться на Форуну, стоит задуматься о том, что на ее доске стоят миллиарды фигур, в уповании на возможность сделать свой собственный ход — такой, о котором будут помнить, который что-то изменит в игре, который внесут в учебники — и лишь единицам из них выпадает дожидаться прикосновения перстов судьбы, а не просто попасть под ее колесо. Мы оказались в числе этих редчайших фигур. Это ли не счастье?

Мне, конечно, легче, чем тебе — я ухожу на его пике, а ты остаешься с воспоминаниями о нем. Но таков уж сюжет, и мы не властны что-либо в нем изменить. Таммуз уходит, Иштар остается.

Я знаю — ты будешь клясть меня за то, что я не позволил тебе умереть вместе со мной. Я знаю — ты будешь считать мое решение ошибкой и помышлять о том, чтобы ее исправить.

Умоляю тебя не делать этого! Самовольно уходить из жизни можно только тогда, когда знаешь наверное, что больше в ней совершить уже ничего не можешь. Поверь, у тебя остались еще дела. Довольно и того, что у тебя есть дочь.

Однажды — всего-то неделю назад, а кажется, что годы! — ты спросила меня, верю ли я в загробную жизнь. А вчера — в разговоре о египтянах — мы вновь коснулись этого вопроса — единственного вопроса, на который я не дал тебе ответа. Сейчас мне кажется важным ответить.

По моему — несомненно неоригинальному — мнению, мироздание существует в двух более или менее постижимых разумом ипостасях — физической и метафизической. Так и человек состоит из тела и души. Благодаря науке мы знаем, что душа есть производная сложных биохимических процессов в теле. Означает ли это, что с умиранием последнего умирает и она? Я считаю — нет. И вот почему. Душа — это представление человека о себе. Представление, невозможное без участия других людей, в которых он отражается, и без слов, в которые эти отражения облакаются. Поэтому выросший среди зверей Маугли, что бы там ни говорил любимый Беэром Киплинг, не может обладать человеческой душой. Маугли, разумеется, будет отражаться в окружающих, но не будет получать от них обратной вербальной связи, а значит, не будет подключен к исключительно человеческому метафизическому миру, который я для себя определяю термином Большой Текст.

Когда про сотворение мира говорится „В начале было слово“, речь идет именно о Большом Тексте. Люди перестали быть животными в тот момент, когда произошел первый обмен их представлениями о мире. Ergo, своей одушевленностью они обязаны Большому Тексту в той же степени, в которой он обязан им своим существованием. Каждое наше душевное движение, выраженное в словесной форме, поглощается этой необъятной субстанцией — и тем или иным образом к нам возвращается. Пока живет наше тело — мы пребываем одновременно и в подлунном мире, и в Большом Тексте. Мы изменяем его, он изменяет нас, но это не симбиоз, а органически единое целое. Когда наше тело умирает, мы полностью переходим в Большой Текст и пребываем в нем до тех пор, пока существует человечество. Вот тебе медицинский пример: когда больному отнимают руку, он не теряет вместе с тем

представления о ней. Более того, он может даже испытывать в ней так называемые фантомные боли и прочие ощущения. И все те, кто знал этого человека до операции, тоже сохраняют представление о том, какую была его рука на вид и на ощупь. Со временем сам человек и окружающие привыкают к новому положению вещей, но прежний — целостный — образ продолжает существовать. Мы все — пока живы наши тела — органы чувств Большого Текста.

У меня попутно возникла еще одна метафора: мы — точно водолазы в тяжелых, неуклюжих скафандрах, бродим по дну моря, с трудом преодолевая сопротивление воды. Встречаясь друг с другом, обмениваемся примитивными жестами, даже прикасаемся друг к другу — но что можно при этом почувствовать сквозь такую броню? Что можно разглядеть сквозь крохотный иллюминатор? Самую малость. Но от каждого шлема к поверхности воды тянется шланг, через который мы дышим — одним и тем же воздухом — и через который протянут телефонный кабель — единственное средство нашей коммуникации. Когда наша работа на дне подходит к концу, нас поднимают наверх, мы снимаем с себя доспехи и подставляем лицо свежему соленому ветру. Там наверху мы можем дышать, говорить, смотреть, трогать, целовать — безо всяких помех и технических ухищрений..

Все это — иллюстрация к банальной, в общем-то, мысли о том, что мы живы, пока есть кому вспомнить о нас.

Я поднимаюсь на поверхность — ждать, когда ты завершишь труды под водой.

Помни — мы дышим одним и тем же воздухом!

Помни, что воздух, которым ты дышишь — это мы!

Я уношу с собой в Большой Текст образ самой прекрасной женщины и самую необычайную на свете историю о любви.

Я люблю тебя.

Твой Марти.

Вера дважды перечла письмо, аккуратно сложила его точно по линиям сгиба, положила за пазуху, вздрогнув от прикосновения ледяных пальцев к раскаленной груди, затем вытащила из саквояжа следующее. Шоно писал по-русски — четким каллиграфическим почерком гимназиста-отличника.

Милост Дорогая Вѣра!

Мнѣ, разумѣется, извѣстно, что Ваше отношеніе къ моей скромной особѣ оставляетъ желать лучшаго. Полагаю также, что мнѣ вѣдомы причины Вашей неприязни. Не скрою, Вашего покорнаго слугу сіе огорчаетъ безмѣрно, вѣдь за эти неполныя двѣ недѣли я успѣлъ искренне полюбить Васъ — какъ любилъ бы, вѣроятно, собственную дочь. А кабы не мои преклонныя лѣта, Марти пришлось бы посоперничать со мною въ борьбѣ за Вашу благосклонность, ибо изъ великаго множества женщинъ, встречавшихся мнѣ на жизненномъ пути, Вы — самая необыкновенная. И речъ не о несравненной внѣшности, вѣрнѣе, не только о ней, поскольку она безусловно отражаетъ Ваши безценныя внутреннія красоты, но въ силу ограниченныхъ возможностейъ отражаетъ ихъ лишь частично — настолько, насколько блѣдная красавица Луна отражаетъ грандіозный свѣтъ Солнца.

Мнѣ безконечно грустно отъ того прискорбнаго факта, что Вы разстаетесь со мной, такъ и не узнавъ меня съ лучшихъ сторонъ. Увы, всѣ наши разговоры были волею судебъ сведены, по большей мѣрѣ, къ историческимъ и геологическимъ вопросамъ, а на такой сухой почвѣ рѣдко когда произрастаетъ симпатія и привязанность. Будучи въ глубинѣ души буддистомъ, я уповаю на новую встрѣчу съ Вами въ одномъ изъ грядущихъ перевоплощеній, дабы имѣть еще одну возможность засвидѣтельствовать Вамъ искреннее восхищеніе, глубочайшее почтеніе и беззаветную преданность, съ коими остаюсь

навѣки Вашъ Шоно.

P.S. На случай, если метемпсихозъ окажется все же выдумкой — не поминайте лихомъ!

Р.Р.С. Чуть не забыл! Завещаю Вамъ единственную цѣнность, которой владѣю — серебряный колокольчикъ. Колоколець сей весьма древній — затрудняюсь даже приблизительно опредѣлить его возрастъ — но никакъ не меньше девяностъ лѣтъ. Мой наставникъ, отъ котораго я получилъ сію вещицу въ даръ, впрочемъ, утверждалъ, что она принадлежала самому Буддѣ Гаутамъ. Такъ оно на самомъ дѣлѣ или нѣтъ, неизвѣстно, но звонъ у колокольчика дѣйствительно совершенно волшебный. При этихъ звукахъ забываешь обо всѣхъ горестяхъ и печаляхъ. Звоните въ него почаще, и пусть онъ напоминаетъ Вамъ о томъ, что изъ нынѣ живущихъ на свѣтѣ Вы — единственный человѣкъ, кому посчастливилось услышать Гласъ Божій. Говорятъ, людямъ, съ которыми разговаривалъ Господь, всегда было свойственно долголѣтіе. Мои расчеты въ отношеніи Васъ это подтверждаютъ. И послѣднее, что я хотѣлъ сказать: на долгомъ пути Вамъ придется трудно, но чутье подсказываетъ мнѣ, что очень скоро на немъ Вамъ повстрѣчается и что-то очень хорошее. Будьте мужественны и постарайтесь стать счастливой!

Письмо от Моти, нацарапанное немыслимыми каракулями, было совсем коротеньким.

Дорогая, милая, любимая Верочка!

Простите, что по-английски. Я совершенно разучился грамотно писать по-русски (да и не умел толком никогда), а прощальное письмо Вам по-немецки — это какой-то нонсенс.

Я счастлив тем, что встретил Вас на своем пути. Впрочем, я всегда был везунком. И я счастлив, что на этой торжественной ноте моя жизнь прервется — всегда боялся дожить до седин и сделаться таким занудным старикашкой, как наш Шно. Мужчине надо умирать молодым и здоровым.

Вы, конечно, будете плакать и убиваться по нам, но такова уж извечная женская доля — плакать по павшим воинам. Скажу Вам честно: мне даже приятно сознавать,

что по мне будет убиваться — хотя бы немножко — такая божественная женщина. Но только Вы, пожалуйста, не слишком увлекайтесь — от этого появляются морщины и всякое такое.

Слава Богу, что я не люблю поэзии, а то бы разразился сейчас какой-нибудь слезливой рифмованной чушью.

Верочка, вспоминайте нас почаще. Меня можно чаще, чем Шоно, но и этого старого мухомора тоже, конечно, вспоминайте, потому что он и впрямь славный парень.

Я там оставил Вам кое-какие безделушки на память. Главная — это ключик. Он хоть и не Золотой, но открывает вполне солидную ячейку в одном из женевских банков. Вся информация записана на приложенной бумажке. Выучите ее наизусть и сожгите, а ключик носите на шее. Надеюсь, он Вам пригодится.

Вот и все.

Люблю, как сорок тысяч братьев.

Ваш Бегемотя.

P.S. Жаль, так и не рассказал Вам про то, как я разнес опиомотурильню в Сингапуре. Это очень смешная история. Ну да ладно, как-нибудь в следующий раз.

Некоторое время Вера просидела, прикрыв опухшими веками тающие глаза, кривя губы, как маска Мельпомены, раскачиваясь из стороны в сторону и раздирая ногтями в кровь бесполезное горло.

Потом она отерла ладонями некрасивое лицо, вытащила из кармана «вальтер», деловито проверила обойму, передернула затвор. С минуту зачарованно смотрела в вороненое жерло, затем внезапно потеряла к пистолету всякий интерес и равнодушно уронила оружие в саквояж.

Проведя в оцепенелом созерцании пляшущих пылинок более часа, она вдруг встрепенулась, подхватила саквояж и покинула амбар.

Дорога была ей знакома.

Трава на поляне — местами примятая и побуревшая — да медные россыпи гильз — вот все, что указывало на случившееся здесь побоище. Посреди поля боя Вера увидела глубокие следы тележных колес и множество отпечатков лошадиных копыт и поняла, что они означают. В кустарнике, где убили ее самоё, она заметила нечто белое — нечто, не заинтересовавшее похоронную команду.

Ранним утром седьмого сентября главный лесничий Вальтер Фреверт, объезжая южные пределы пущи, обнаружил спящую на голой земле женщину в охотничьем костюме. Голова ее покоилась на дорогого вида кожаном саквояже, а к груди она прижимала обернутое белой тканью полено. По золотым, хотя и грязным, волосам Фреверт догадался, что перед ним — та самая «фея Роминте». Догадался егерь и о том, что присутствие этой загадочной женщины здесь несомненно связано с недавними трагическими событиями, которые он сам, как ему казалось, и инициировал. Женщина не проснулась, когда терзаемый чувством вины Фреверт переносил ее на свою повозку — но и не выпустила из рук своих странных реликвий.

За те три дня, что фея провела в доме у главного лесничего, ему так и не удалось услышать ее серебряного голоса — женщина наотрез отказывалась говорить, а возможно, попросту не могла.

Десятого сентября Фреверт тайно вывез ее в своем автомобиле на захваченную польскую территорию и, снабдив кой-какими съестными припасами, оставил неподалеку от населенного пункта, случайно оказавшегося деревней русских староверов Водзилки.

* * *

Двадцать третьего сентября тысяча девятьсот тридцать девятого года к востоку от города Сувалки — близ села с удивительным названием Эпидемье — в поле зрения казачьего дозора попала странная молодая крестьянка, одетая в глухое черное платье до полу. Волосы ее совершенно укрывал черный же платок, концы которого были перекрещены на шее спереди и завязаны сзади. Правой рукой женщина прижимала к груди запеленутое дитя. Странность заключалась в том, что в левой она тащила объемистый саквояж, который гораздо больше подошел бы преуспевающему промышленнику.

В остальном крестьянка ничем не выделялась на фоне многочисленных беженцев, то и дело обгонявших ее на своих телегах, однако не обращала внимания на предложения подвезти, часто останавливалась, недоуменно озираясь по сторонам, и вообще производила впечатление человека, который бредет куда глаза глядят.

Разъезд в десять человек на неспешных рысях миновал было странницу, как вдруг один из всадников — молодой, с красными звездами на рукавах казакина, резко скомандовал остановиться.

— Видали, товарищ старшина? — спросил он пожилого усача, действительно похожего на настоящего донца, несмотря на то, что в отличие от прочих был в фуражке, а не в папахе. — У нее вместо ребенка — полено!

— Ну, видал, — старшина почесал крючковатый нос и добавил: — Товаришш *младшій* политрук, — с оттяжкой на слове «младшой».

— А вы не находите подозрительным факт, что на пути следования нашей танковой колонны вертится особа с фальшивым ребенком на руках? — в голосе младшего политрука звенело предчувствие торжества.

— Никак нет. Не нахожу, — отрезал старшина мрачно. — Не в себе она. Дите у ней погисло, вот она,

болезная, заместо него полешко и нянькаить. Я таких в Гражданскую дюже богато понавидалси. Обнаковенное дело. Товаришш младшой политрук.

— Не в себе? Вот как? — саркастически улыбнулся политработник. — А ну-ка, подъедемте к ней, я вам кое-что покажу! Чекайте нас тута, хлопци! — то ли приказал, то ли предложил он подчиненным, развернул коня, дал шенкеля и лихо поскакал к подозрительной особе.

Старшина со вздохом, похожим на проглоченное ругательство, тронул кобылу и потрусил вслед за начальством. Политрук остановился перед женщиной. Та прекратила движение, лишь когда почти уперлась в лоснящийся, кисло пахнущий лошадиный бок. Привстав на стременах, всадник картинно выхватил шашку.

— Вы с шашечкой-то того, полегше бы, товаришш младшой... — поморщился старый казак, — ...политрук. Не ровён час зачепите когось.

Не обратив на колкость внимания, тот объехал вокруг женщины, свесился с седла и острием клинка, словно указкой, ткнул в четко отпечатанный на пыльной дороге след маленького ботинка с диковинным рисунком:

— А это видали? — победительно сказал он, разгибаясь. — Странная обувь для селянки, не правда ли? Знаете, что это такое? Это итальянские горные ботинки, «вибрам» называются. А знаете, на ком я такие видел? На австрийских альпинистах в Приэльбрусье прошлым летом. Но откуда они взялись у бедной польской женщины, спрашивается? Про буржуйский сак-воляж я уж и не говорю.

В ответ старшина только крикнул и поправил без того идеально горизонтальные усы.

— То-то и оно, товарищ старшина, что нету в вас классового чутья, — строго заметил политрук, спешиваясь. — А я контру за версту чувствую.

Поигрывая шашкой, он подошел к стоящей столбом женщине и спросил по-польски: «Кто такая?»

Откуда и куда идете?». Та повела в его сторону пустыми глазами, но смолчала. Повторив свой вопрос по-немецки, офицер снова ответа не получил и констатировал с удовлетворением:

— Запираемся. Неудивительно, — он снова зашел за спину задержанной и, подцепив кончиком лезвия подол, высоко задрал его вверх.

Старый казак сплюнул и отвернулся.

— Зря отвернулись, товарищ старшина! — весело воскликнул политрук, отпуская платье. — Я только хотел вам продемонстрировать, как выглядит дорогое женское белье. Такого вы, верно, в Гражданскую не видели. Теперь поглядим, что у нее в багаже!

Он ловко вложил шашку в ножны, взялся за ручку саквояжа. Чтобы вырвать его из тонких женских пальцев, рослому военному понадобилось заметное усилие.

Он распахнул саквояж и вытряхнул его содержимое на чахлаю придорожную траву. Присвистнул, присел на корточки.

— Идите-ка сюда, товарищ старшина! — позвал он дрогнувшим голосом.

Казак нехотя спрыгнул с седла, приблизился и наклонился над кучкой предметов, упершись ладонями в колени. Политрук первым делом взял в руку пистолет:

— Вальтер... пэ тридцать восемь, — прочитал он. — Надо же, даже не слышал о таком! Видимо, экспериментальная модель. Красавец! — с сожалением отложил оружие и стал перебирать остальное, бормоча под нос: — Так, что тут еще?.. пачка рейхсмарок... пачка британских фунтов стерлингов, ого! Это уже становится интересно! Губная гармоника, трубка, зажигалка, колокольчик, перстень с зеленым камнем — странный набор, однако... А что у нас тут? Ага! Наверняка шифровальные блокноты! Не удивлюсь, если в полене у нее спрятан радиопередатчик. Ну что, — спросил он у старшины, вставая. — По-прежнему считаете, что она невменяемая скорбящая мать? Или все-таки шпионка?

— Не могу знать, — казенным голосом ответил казак. — Мы-то в энкеведе не служили.

— Оно и видно, — припечатал политрук и повернулся к предполагаемой шпионке. — Полагаю, что вы понимаете по-русски. Пожалуйста сюда ваше полено!

Женщина затравленно посмотрела на него и лишь крепче прижала к груди свою ношу.

— Что ж, придется действовать силой, — пожал плечами военный и, ухватившись за край пеленки, в которую было замотано полено, сильно дернул к себе — и тотчас получил жестокий удар острым кулачком в глаз. — Ах ты ж сука! — взвизгнул он, левой рукой хватаясь за лицо, а правой нашаривая кобуру. — Пристрелю, паскуду!

Старшина вклинился между ним и женщиной:

— Но-но-но, пошалили и будя! Сховай пистолет, политрук, покамест худа не вышло! А ты, дочка, будь ласка, дай ему поглядеть свою ляльку! Чаю, не слазит он ее...

Неизвестно, чем закончилась бы эта сцена, если бы в тот момент поодаль не затормозил проезжавший мимо польский фиат. Правая дверца автомобиля распахнулась и из нее появился средних лет офицер с круглым загорелым лицом, перечеркнутым от уха до уха белоснежной пращевидной повязкой, на месте носа пропитавшейся кровью, что делало обладателя лица похожим на рыжего из цирка. Левая рука офицера лежала на перевязи. Выверенным движением он надел фуражку и подошел энергичным, хотя и не пешотно-строевым шагом.

Завидев его синие петлицы с тремя ромбами, оба кавалериста вытянулись во фрунт, для чего младшему пришлось оторвать руку от глаза.

— Здравствуйте, товарищи казаки! — негромко поприветствовал их забинтованный, с любопытством глянув на стремительно набухающее вишневое веко политрука.

— Здравия желаем, товарищ комкор! — в один голос ответили товарищи казаки.

— Представьтесь, доложите! — приказал командир корпуса, и тут же оговорился, улыбнувшись старшему: — Вам, Федор Корнеич, представляться, конечно, не надо, я вас по Первой Конной прекрасно помню.

— Младший политрук Литвин! Выполняем разведывательный рейд в целях обеспечения безопасного прохождения бронетанковой колонны сто девятого кавполка четвертой кавдивизии согласно вашего приказа, товарищ комкор! — отбарабанил без запинки младший.

— Надо говорить «согласно приказу», товарищ младший политрук, — поправил комкор, слегка поморщась. — Вы должны вести работу с бойцами на грамотном русском языке. Что у вас тут стряслось? И кто вас так... разукрасил?

— Шпионка, товарищ комкор! — политрук мотнул головой в сторону вновь превратившейся в каменное изваяние женщины. — Я обратил внимание на некоторые странности в ее внешности и поведении и задержал для выяснения. В ручной клади обнаружено оружие, немецкая и английская валюта, шифроблокноты. Оказала сопротивление при моей попытке отобрать у нее полено. А там, может, взрывчатка ну-три...

— Полено, говорите? — пробормотал комкор, впившийся взглядом в лицо задержанной.

— Так точно, товарищ комкор, полено!

— Вот что, — задумчиво сказал командующий после минутного взглядывания, — Возвращайтесь к выполнению задания. Дальнейшее я беру на себя.

— А как же?.. — открыл было рот младший политрук, но осекся.

— А вот так, — маленькие глаза комкора поверх бело-красной черты блеснули орудийной сталью. — Выполняйте! Благодарю за службу!

— Служу трудовому народу! — без энтузиазма отозвался Литвин, на что старшина Федор Корнеич украдкой усмехнулся в свои чудовищные усы.

Услышав в удалении команду «На конь!», комкор, все это время не выпускавший из виду женщину в черном, приблизился к ней и тронул за руку:

— Вера, вы ли это? — взволнованно спросил он. — Как, какими судьбами вы — здесь?

Женщина вздрогнула и подняла на него осмысленный взгляд.

— Я — Андрей! Еременко! Ну, помните — Петроград, двадцать третий год, кавалерийские курсы? Вы с подругой были у нас на выпускном балу, помните? Белые ночи... мы все за вами ухаживали, а вы еще школьница были тогда. А потом мы в Москве встретились, в тридцать пятом...

По лицу ее понял — помнит. Подошел еще ближе, приобнял за плечи, стал подталкивать к автомобилю, бормоча:

— Верочка, что случилось? Это — задание? Я же знаю, что вы работаете... работали на... Впрочем, неважно... Это — потом. На вас лица нет. Вы голодны? Сейчас, сейчас я вас отвезу к себе штаб, у меня повар готовит прекрасный украинский борщ с пампушками. Вы ведь любите борщ?

При этих словах Вера стремительно позеленела, согнулась пополам и с минуту блевала какой-то слизистой желчью.

— Горланов! — заорал шоферу Еременко, беспомощно суетясь рядом, — спите вы там, что ли? Быстро сюда! — и Вере: — Господи, да что же это с вами? Вы больны?

— Ничего страшного, — вдруг просипела Вера, сидясь улыбнуться. — Просто я, кажется, беременна. Такое вот начало новой жизни...

Привет!

Извини, что мэйлом. Хотел тебе позвонить, но понял, что не в состоянии сейчас разговаривать. А поделиться надо.

Тут такое...

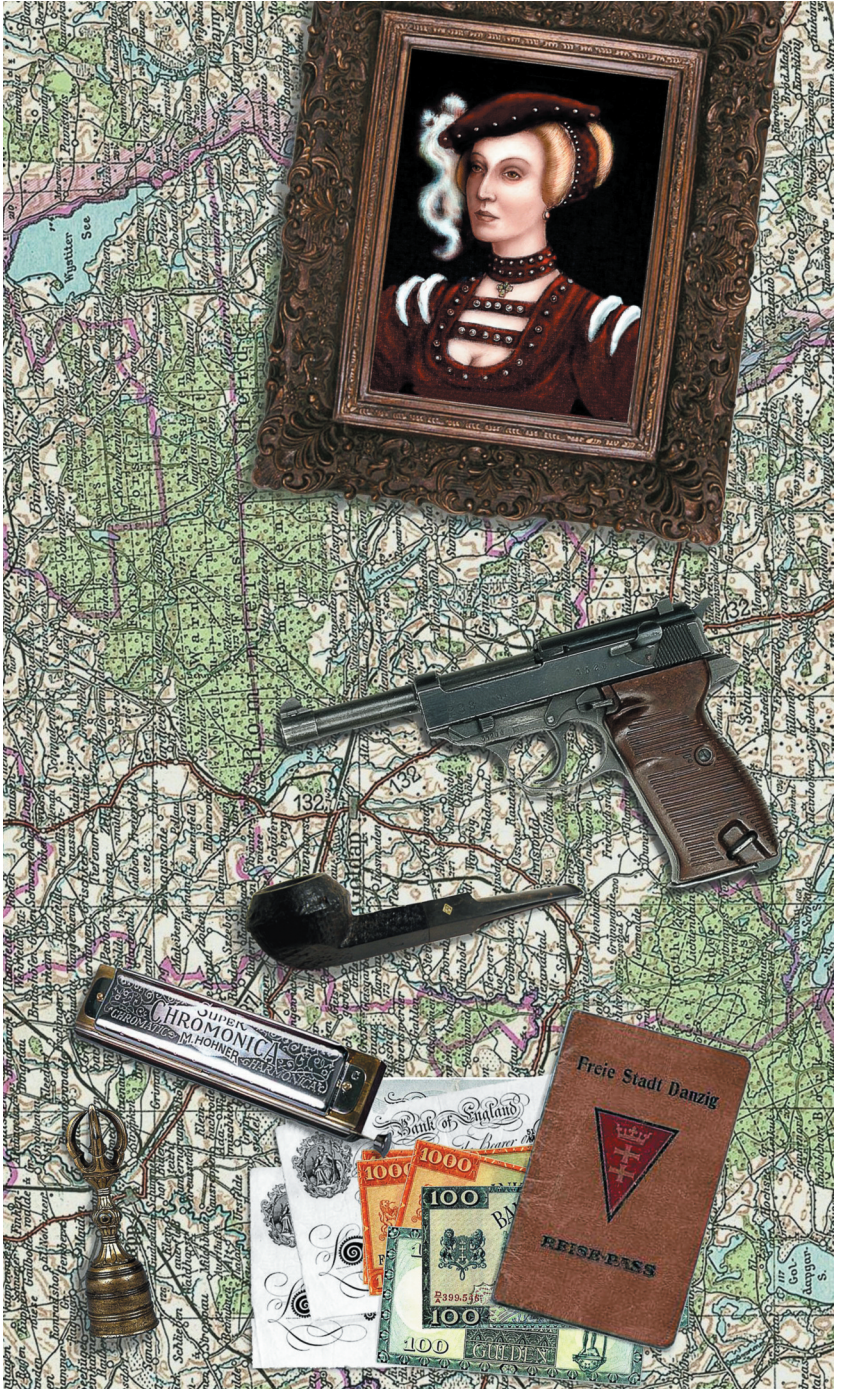
Впрочем, по порядку. Позавчера прилетел в Вильнюс, встретился с кузенами. Они на меня как-то странно смотрели, но я не обратил внимания — ты знаешь, я бы удивился, если бы на меня смотрели иначе. Но оказалось — вовсе не из-за моей анархическо-мышкинской внешности. Выяснилось, что к завещанию тети, по которому мне, естественно, ничего не причиталось, приложено бабушкино письмо. На конверте ее почерком написано «Мишеньке». Конверт не запечатан. Увидав текст письма, понял, в чем причина странных взглядов — родственники не удержались и заглянули. И ничего не поняли, потому что письмо написано на нашем с бабушкой тайном языке, который в их глазах — совершенная тарабарщина.

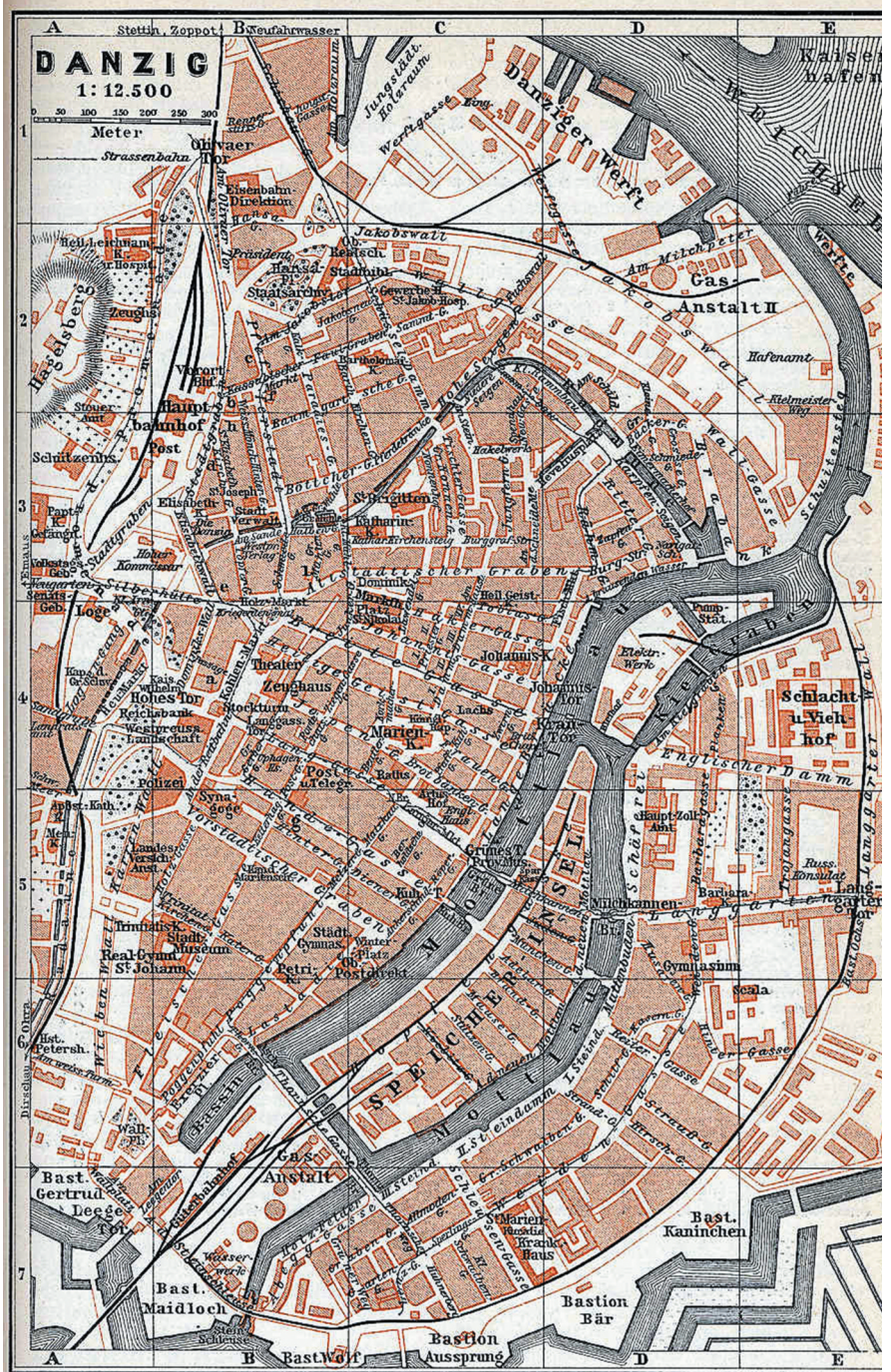
Дело в том, что хотя мы с бабушкой жили в разных концах города, я проводил у нее очень много времени. Она была великолепная старуха — стройная, сногшибательно красивая — даже в свои восемьдесят. Никогда не видел ее в платье — только в брючных костюмах. И только с короткой стрижкой. И ни у кого не было бабушки, которая курила бы трубку и разговаривала бы потрясающим хрипловатым басом. Надо сказать, что своей любовью к филологии я обязан исключительно ей. Она занималась со мной немецким и французским (которые я так позорно забыл), постоянно придумывала разные лингвистические игры и, в частности, привила мне любовь к шифрам. А самой любимой игрой у нас было изобретение своего собственного языка, довольно сложного, кстати. При всем при этом я абсолютно не знал бабушкиного прошлого — она была на удивление скрытна. Просто какой-то ходячий железный занавес. Но знаешь, мальчишкой меня это не особенно-то и интересовало. А в двенадцать я уже уехал.

Когда узнал, что бабушка умерла — через три года после моего отъезда, я не столько расстроился, сколько удивился, потому что она на моей памяти никогда ничем не болела, кроме перелома ноги, и даже все зубы у нее были свои, вообрази! Разве что зрение сильно ухудшилось после восьмидесяти. Рассудок — до последних дней кристально ясный, если судить по

ее письмам. В общем, подобных железных старух нынче уже не делают. С ее здоровьем можно было прожить и до ста, а она вдруг — умерла! И только вчера я узнал, что она отравилась каким-то неизвестным ядом, который носила в перстне! От меня тогда эту скандальную подробность за малолетством решили утаить. В предсмертной записке было сказано: «Смысл любой робинзоны — в одной лишь надежде на ее окончание. Продлевать свою у меня резона более нет».

Я не стану тебе излагать содержание письма — оно слишком личного свойства. Скажу лишь, что помимо прочего там было указание на то, как найти тайник с моим наследством. Сейчас оно лежит передо мной. Это большой тяжелый саквояж добротной кожи с некогда позолоченными замками. Вот уже три часа я не могу заставить себя его открыть. Наверное, это смешно, но я панически боюсь, что это неизбежно приведет к необратимым изменениям в моей жизни.





ПРИЛОЖЕНИЕ

К стр. 10
«Телефункен».



К стр. 10
«Парсифаль» — последняя музыкальная драма Рихарда Вагнера, написанная по мотивам легенд о Святом Граале. Сам автор называл ее «Торжественной сценической мистерией» и считал едва ли не религиозной церемонией.

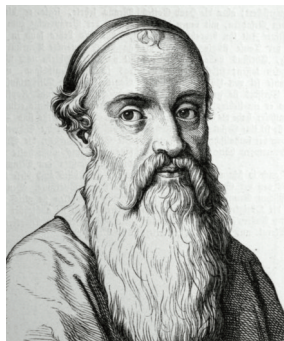
К стр. 10
Суртр (Черный, смуглый) — в германо-скандинавской мифологии — владыка южной страны Муспельхейм, великан с огненным мечом, которым во время битвы богов Рагнарёк он срубил мировое древо Иггдрасиль и тем положил начало гибели мира.

К стр. 13
Кружка.



К стр. 15

Меннониты — последователи учения Менно Симонса (1496–1561), голландского священника, отрешившегося в 1536 году от католической доктрины в пользу анабаптизма, который он, впрочем, принял не полностью. Так, в частности, он отрицал политическую роль церкви, в отличие от проповедников анабаптизма Томаса Мюнстера и Иоанна Лейденского. В XVI веке меннониты подвергались жесточайшим гонениям не



только со стороны властей, но даже и простого народа — за отказ от присяги, военной службы и крещения детей, и вынуждены были отправлять культ тайно, под страхом смертной казни. Причиной раскола внутри меннонитской общины явилось отношение к отпавшим от церкви слабым духом. Либеральные меннониты, призывавшие к прощению отступников, в результате яростной дискуссии были изгнаны из лона церкви и обособились в отдельное течение, получив название «грубых меннонитов». По иронии судьбы при размежевании

сам Симонс оказался в их числе и, уступив давлению со стороны радикально настроенных верующих, прозванных впоследствии «утонченными», вынужден был примкнуть к ним и предать анафеме либералов, о чем сожалел до конца жизни.

К стр. 16

СА — штурмовые отряды (Sturmabteilung) НСДАП, так называемые «коричневорубашечники». Сыграли важную роль в установлении нацистской власти в Германии. После «ночи длинных ножей» 1934 года утратили политическое значение.

К стр. 16

Гауляйтер — высший функционер НСДАП. Гауляйтер Форстер активно проводил нацификацию в вольном городе Данциге.

К стр. 16

Густав Пич (1893–1975) — немец, ветеран Первой мировой войны, морской капитан, борец с национал-социализмом. Защитник евреев города Данцига в 30-х. Вместе с женой Гертрудой спас от нацистов несколько сотен человек. В 1938 году вынужден был бежать в Палестину.

К стр. 17

«Золотой Артус».



К стр. 21

Номер авто.



К стр. 30
Ресторанчик Боденбурга.



К стр. 32
Герок (Gehrock) — двубортный сюртук. Был моден в конце XIX века.

К стр. 35
Галлиполийская битва — чрезвычайно кровопролитная и безрезультатная попытка Антанты захватить Галлиполийский полуостров, с тем чтобы открыть войскам дорогу через Дарданеллы на Стамбул. Главными героями этой операции, длившейся несколько месяцев, стали австралийские и новозеландские солдаты (ANZAC — Australian & New Zealand Army Corps), впервые участвовавшие в военных действиях такого масштаба. Австралийцы считают, что именно в этом горне выплавилась их нация.

*Австралийский солдат
выносит раненого товарища
с поля боя*
© Corbis



К стр. 35

На самом деле леди Анна Блант (урожденная Кинг-Ноэль) стала баронессой Вентворт лишь в 1917 году, незадолго до кончины, унаследовав титул от собственной бездетной племянницы, которую, кстати, тоже звали Ада. Леди Анна была натурой творческой, хорошо играла на скрипке и талантливо рисовала, но основным ее увлечением было разведение арабских скакунов.

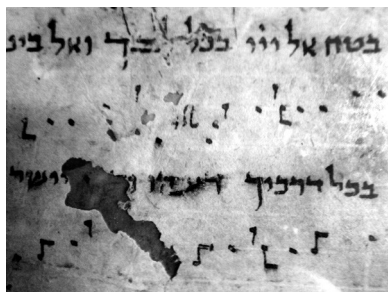
К стр. 36

Орден «За выдающиеся заслуги» (Distinguished Service Order). Обычно им награждали старших офицеров, но иногда — и особо отличившихся младших офицеров.



К стр. 36

Свиток из каирской генизы.



© Marc Bagelin.

К стр. 37

Бааль сулям — дословно переводится с иврита как «владелец шкалы» или «хозяин лестницы». Это прозвище рабби Ашлаг получил за свой сквозной комментарий главной каббалистической книги «Зоар» («Сияние»), который он озаглавил «Сулям».

К стр. 38

«Пистис София» (дословно с греческого — *Вера Мудрость*) — один из интереснейших гностических текстов, написанный на коптском языке.

К стр. 39

«Шиур кома» (буквально означает на иврите «Пропорции тела», идиоматически — «значительность») — каббалистический трактат. Вот, что пишет о нем Гершом Шодем в книге «Основные течения в еврейской мистике»: «Фрагмент „Шиур кома“, сохранившийся в нескольких текстах, изображает „тело“ Творца, строго придерживаясь аналогии с телом возлюбленного, описываемого в пятой главе „Песни Песней“, и характеризуя с помощью огромных чисел размеры каждого органа. Наряду с этим в нем приводятся непонятные нам тайные обозначения различных органов посредством букв и буквосочетаний. „Всякому, кто знает сокрытые от созданий размеры нашего Творца и славу Святого, да будет Он благословен, уготована доля в грядущем мире“...

Что на самом деле означают эти невероятные меры длины — неясно. Огромные числа не несут смысла или содержания, воспринимаемых умом или чувством, и невозможно посредством их явить в своем воображении „тело Шхины“, описать которое они якобы предназначены. Напротив, если основываться на них, то любая попытка такого рода приведет к абсурду. Единицы измерения космичны: высота „тела“ Творца равняется 236 тысячам парасангов, другая же традиция утверждает, что только высота подъяема Его ступни измеряется тридцатью миллионами парасангов. Но „мера парасанга Бога составляет три мили, а в одной миле 10 тысяч локтей, а в локте три пяди Его пяди, а одна пядь заполняет собой весь мир, ибо сказано: Он, Кто измерил небо Своей пядью“. Поэтому ясно, что истинным назначением этих чисел не было указание на какие-либо конкретные меры длины. Выразило ли некогда соотношение цифр, ныне встречающихся в безнадежно перепутанном виде в текстах, какие-либо внутренние связи и гармонии, — вопрос, на который мы едва ли найдем ответ. Но „надмировое“ и „нуминозное“ еще смутно просвечивают через

эти отдающие кощунством числа и невероятные сочетания тайных имен. Святое величие Бога облачается в плоть и кровь в этих громадных числовых отношениях. Во всяком случае, идея Бога-Царя более приспособлена для такого символического выражения, чем идея Бога-Духа. Мы видим вновь, что царственный характер Божества и Его явления в мире, а не Его духовность привлекали внимание этих мистиков. Правда, иногда мы обнаруживаем парадоксальный переход к духовному. Совершенно неожиданно в середине „Шиур кома“ мы читаем: „Лик Его подобен зрелищу двух скул, и те подобны образу духа и форме души, и ни одно создание не может узнать Его. Тело Его подобно хризолиту. Свет Его бесконечным потоком льется из тьмы. Его окружают облака и туман, и все князья ангелов и серафимов — словно пустой кувшин пред Ним. Посему нам не дана никакая мера, но лишь тайные имена раскрыты нам“.

В сочинениях гностиков 2 и 4 веков и в некоторых греческих и коптских текстах, проникнутых духом мистического спиритуализма, встречаются аналогичные мистические антропоморфизмы при описании „тела Отца“ или „тела Истины“. Гастер указал на значение подобных антропоморфизмов, определяемых многими учеными как каббалистические, в сочинениях гностика Маркоса (2 век), антропоморфизмов не менее причудливых и темных, чем те, что приводятся в „Шиур кома“».

К стр. 40

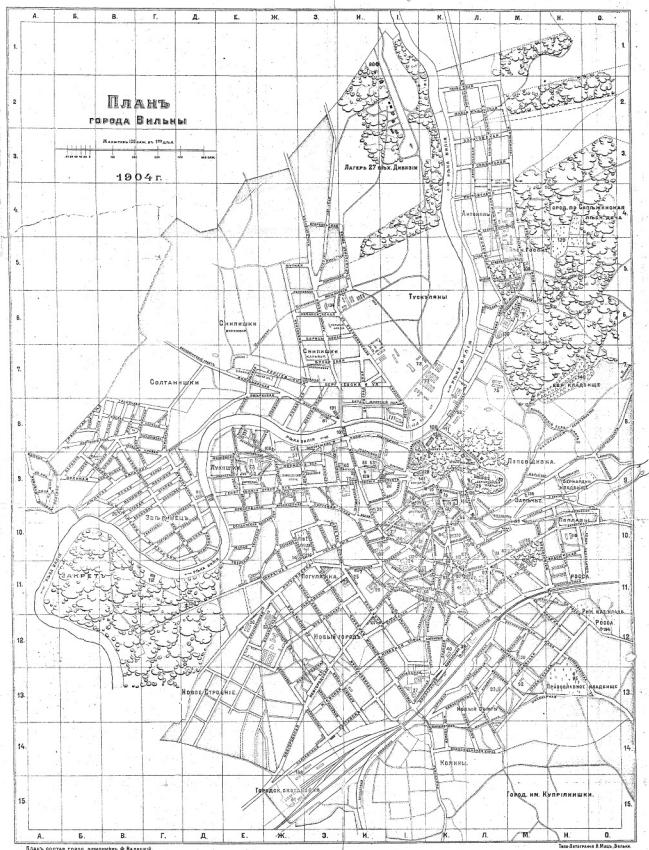
Олифа (Oliva) — северо-западный пригород Данцига.

К стр. 44

Цвет самó (сомóн) — от французского *saumon* — лосось.

К стр. 50

Вильна — официальное русское название нынешней литовской столицы. Город заложен не позднее 1323 года князем Гедимином. В нем искони жили литовцы, поляки, русские и белорусы. С присоединением в Российской империи в 1795 году управлялся русским генерал-губернатором. На 1939 год Вильна входила в состав Речи Посполитой, однако в Конституции именовалась столицей Литвы. Была присоединена к Белорусской ССР в результате Польского похода РККА в сентябре 1939 года.



К стр. 51

Юзеф Пилсудский (1867–1935) — выдающийся польский государственный муж, первый руководитель возрожденной Речи Посполитой. Родился под Вильной, с младых ногтей мечтал о независимости Польши от Российской империи. За участие в революционной деятельности был сослан в Сибирь, вернувшись, продолжил свою борьбу. В Первую мировую во главе созданных им легионов воевал против России. В советско-польской войне 1919-1920 успешно провел кампанию, в результате которой были захвачены Вильна и Минск. Мечтал о гегемонии Польши в Восточной Европе.

Упомянутый в книге эпизод с ограблением почтового вагона произошел 26 сентября 1908 года на станции Безданы под Вильной. В результате операции было похищено около 200 000 рублей — сумма по тем временам огромная.

К стр. 52

Граф Муравьев-Виленский (1796–1866) — российский государственный деятель, генерал от инфантерии. Титул графа Виленского получил за жестокое подавление польского восстания 1863 года. Проводил жесткую политику русификации. В либеральных кругах прозван «вешателем». Установленный на одной из центральных площадей Вильны в 1898 году памятник графу был воспринят местными националистами как пощечина. В 1915 году перед сдачей города немцам монумент был снят и переправлен в Россию.

К стр. 55

Данциг — нынешний Гданьск — крупный порт на Балтийском море. В 1308 был присоединен тевтонскими рыцарями к Пруссии, после Тринадцатилетней войны в 1466 номинально отошел к Польше, однако получил от короля Казимира фактически статус вольного города. В 1793 после раздела Польши снова стал частью Пруссии, а по Версальскому договору 1919 года был де-юре объявлен вольным городом и находился под управлением Лиги Наций. Территории Данцига вклинивались между Западной и Восточной Пруссией, образуя так называемый «польский коридор» — дававший Польше единственный выход к морю. Несмотря на то, что 95% населения Данцига составляли немцы, Польше были предоставлены права вести его внешнюю политику, осуществлять таможенный контроль и неограниченно пользоваться водными и железнодорожными путями. Также с согласия Лиги Наций с 1926 года в Данцигском порту на косе Вестерплатте размещался польский гарнизон. Отказ Польши вернуть Данциг Германии, а также предоставить ей прямые пути сообщения с Восточной Пруссией стал формальным поводом ко Второй Мировой войне, к началу которой подавляющая часть немецкого населения города была нацифицирована и всячески приветствовала воссоединение с Рейхом.

К стр. 63

Германн Зудерманн (Hermann Sudermann).

Видный немецкий романист и драматург, обладатель блестящего пера и прекрасного чувства юмора. Родился 30 сентября 1857 года в Матцикене, что в Восточной Пруссии (ныне в Литве). Учился в Тильзите и Кенигсберге. Умер в Берлине 21 ноября 1928 года от воспаления легких.



К стр. 64

Замок Бланкензее.

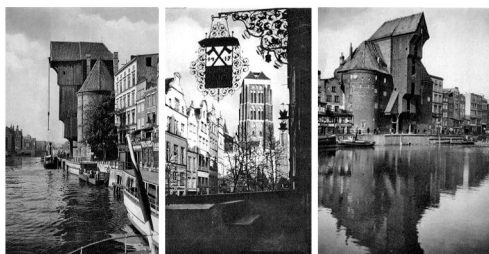


К стр. 64

Вальтер Ратенау (Walther Rathenau, 1867–1922). Немецкий промышленник еврейского происхождения, политик, писатель, министр иностранных дел Германии. Был убит экстремистами за подписание Рапальского мирного договора с Советской Россией.

К стр. 76

Виды довоенного Данцига.



К стр. 77

Дамские сигареты.



К стр. 78
Данцигский полицейский.



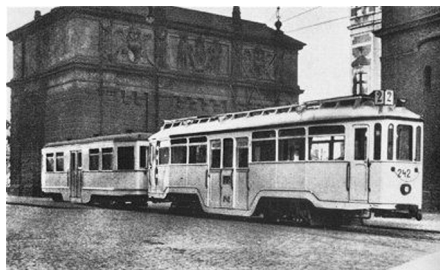
К стр. 78
Ресторан Лаутенбахера.



К стр. 78
Собор Мариенкирхе.



К стр. 78
«Пульманн».



(Автор выражает свою бесконечную признательность создателям замечательного интернет-сайта <http://sabaoth.info-serve.pl/danzig-online> и горячо рекомендует всем желающим прогуляться с его помощью по улицам довоенного Данцига).

К стр. 82

Тибетский мастиф — порода, которой не меньше трех тысяч лет.



А До-Кхи — это, собственно, и есть название породы на тибетском.



К стр. 91

Ядера — хорватский город Задар, на момент захвата его крестоносцами был под властью венгерского короля. Керкира — греческий остров Корфу.

К стр. 95

Карта IV крестового похода



К стр. 100

Лев Сан Марко — на гербе Венеции изображен в лазурном поле крылатый золотой лев с лапой на раскрытой книге — символ евангелиста Марка, покровителя морской республики, чьи мощи венецианские купцы в 828 году выкрали из александрийского собора в Египте и вывезли на корабле, спрятав от мусульман под свиными тушами. На военных штандартах лев изображался с закрытой книгой.

К стр. 111

Фрина (настоящее имя — Мнесарете, дочь Эпикла из Феспии) — легендарная афинская гетера, по преданию позировавшая Праксителю при создании статуи Афродиты Книдской и Апеллесу — для картины «Афродита Анадиомена». Свое прозвище получила за золотистый цвет кожи.

К стр. 111
Константинополь.



К стр. 117

Слово «марионетка» происходит от имени Девы Марии — со времен, когда появилась традиция разыгрывать мистерии в кукольных театрах.

К стр. 134

Барбара Радзивилл (1520–1551)

Родилась предположительно в Вильне. Принадлежала к могущественному литовскому роду, была наследницей огромного состояния. В 17 лет вышла замуж, в 21 уже овдовела. В 1547 году вступила в тайный брак с великим князем литовским Сигизмундом Августом. Ее муж сделался королем польским в 1548, но из-за противодействия своей матери



и польской шляхты посадить на престол Барбару смог лишь 7 мая 1550 года. Вскоре после этого Барбара заболела и ровно через год умерла.

К стр. 134

Сигизмунд Август II (1520– 1572) — последний из династии Ягеллонов. С1529 года — великий князь литовский, с 1548 — король польский, а с 1569 — король Речи Посполитой, федерального государства польского и литовского народов. Покровительствовал изящным искусствам, слыл ценителем женской красоты. Был миролюбивым монархом, хотя и воевал вынужденно с Иоанном Грозным. В борьбе католичества с протестантством участия не принимал, впрочем, одно время склонялся к последнему.

К стр. 139

Эрнст Шэфер, *Ernst Schäfer* (1910–1992) — знаменитый немецкий путешественник, зоолог и охотник. С 1928 года учился в Геттингене. В Тибете побывал трижды — в 1931, 1934–1935 и 1938–1939 годах. С 1933 из карьерных соображений состоял в СС в отделе «Аненэрбе». После войны был судим, но оправдан.



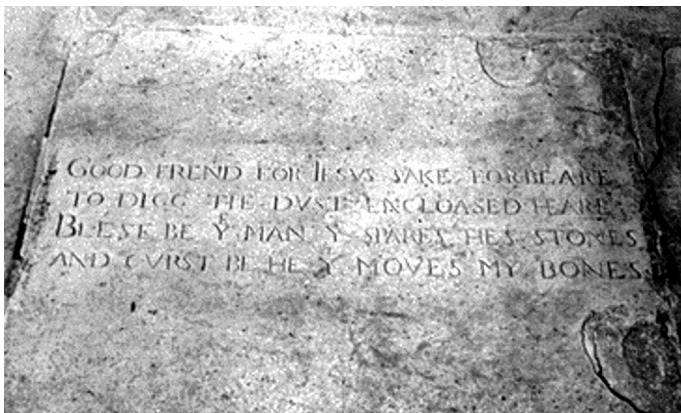
Эрнст Шэфер, 1937
Репродукция. Билл 114 6501 0527

К стр. 139

Оберштурмфюрер — младшее офицерское звание в СС, что-то вроде старшего лейтенанта.

К стр. 176

Надгробная плита, традиционно считающаяся шекспировской, расположена в алтарной части стратфордской церкви Св.Троицы рядом с памятником драматургу. Надпись на камне содержит протест против широко практиковавшегося переноса останков в склеп ради освобождения места для новых захоронений.



Вот ее дословный перевод:

*Добрый друг, Христа ради воздержись
От рытья заключенного здесь праха!
Благословен тот, кто сохранит эти камни.
Проклят тот, кто сдвинет мои кости.*

В конце XVII в. возникло предположение, что Шекспир сам сочинил эту эпитафию. Есть мнение, что нынешняя плита была изготовлена в XVIII в. взамен разрушившегося первоначального камня. По неизвестной причине она значительно короче остальных.

К стр. 185

Андроник Комнин (1118–1185) — последний византийский император (с 1183 года) из династии Комнинов. Личность, для описания которой потребовался бы не один роман. Из-за интриг против своего двоюродного брата Мануила (см. ниже) 9 лет провел в тюрьме, дважды бежал, после был вынужден все время скрываться — то в Грузии, то в Красной

Руси, то в Киликии, то в Сирии. По смерти кузена захватил власть, умертвив законного наследника царевича Алексея II. Правление Андроника было чрезвычайно кровавым и непопулярным, и окончилось тем, что монарха, низложенного в результате стихийного восстания, растерзала толпа обиженных им граждан.

К стр. 196

Аккерман (Белгород) — уездный город Бессарабской губернии, расположенный на правой стороне Днестровского лимана. В XV веке перешел от венецианцев к генуэзцам, затем к туркам. С начала XIX века принадлежал Российской империи.

К стр. 200

Аристарх Самосский — древнегреческий астроном III века до н. э., более чем на 1800 лет предвосхитивший открытие Николая Коперника. Также он был первым, кто попытался определить расстояние между небесными телами.

К стр. 200

Мануил I Комнин (1118–1180) — византийский император, правил с 1143 г. Был человеком незаурядного ума, прирожденным воином, однако легко поддавался внушению ближайшего окружения, был безмерно славлюбив, верил в астрологию, к старости сделался мистиком (в современном смысле слова), а к концу жизни и вовсе постригся в монахи.

Во цвете лет вел бесконечные войны с армянами, турками и сарацинами, донельзя обострил отношения с латинянами, противоборствовал Фридриху Барбароссе, впрочем, в 1161 году женился на дочери антиохийского князя Марии, что временно положило конец распри с крестоносцами.

К стр. 200

Соломон Египтянин — реально существовавшая личность, упомянутая в книге наваррского раввина Вениамина из Туделы, совершившего в 60–70-х годах XII века паломничество в Святую землю.

К стр. 200

Рабби — ученый титул, присваиваемый иудею посредством рукоположения и дающий ему право толковать Тору, возглавлять общину, преподавать в ешиве и заседать в религиозном

суде. Впервые появился в эпоху танаев (I–II век н.э.). Вопреки бытующему мнению, рабби — это не священник, поскольку сан священника (коэна) практически утратил смысл после разрушения римлянами Храма в 70 году н.э.

К стр. 204

Хорьх 930V Фэтон.



К стр. 204

Пограничники.



К стр. 204

Оберабшнитте — с 1932 года крупнейшее формирование войск СС, состоявшее из нескольких абшнитте (бригад). Абшнитте состоял из нескольких штандартов (1000–3000 человек).

К стр. 205

Карта передвижения по Восточной Пруссии.



К стр. 218

Эпикур (приблизительно 341 до н. э. — 271 до н. э.) — древнегреческий философ, основавший в Афинах свою школу. В частности утверждал, что познание природы освобождает человека от суеверий, а следовательно — и от потребностей в религии. Для иудеев от эллинистической эры до наших дней прозвище «эпикурес» означает еврея, отступившего от веры отцов под влиянием инородной премудрости.

К стр. 240

Птолеми, Селевкиды — в IV веке до н.э. после смерти Александра Македонского его империя была разделена между диадохами (преемниками). Раздел наследства не был мирным. Территория Святой земли сперва досталась египетской династии Птолемеев, а позже (во II веке до н.э.) перешла во владение сирийских правителей Селевкидов.

К стр. 244

Исаак Бабель — выдающийся российский советский писатель. Родился в 1894 в Одессе. Первые свои произведения писал на французском. Расстрелян в 1940 году как агент французской разведки.

К стр. 248

Антиох IV Эпифан — правитель Сирии (175–164 гг. до н. э.) из династии Селевкидов. Проводил активную эллинизацию подвластных народов — успешную до тех пор, пока иудеям не было предписано приносить жертвы языческим богам. Вкупе с ограблением Эпифаном Иерусалимского Храма это стало причиной так называемого маккавейского восстания, приведшего к образованию независимого иудейского государства.

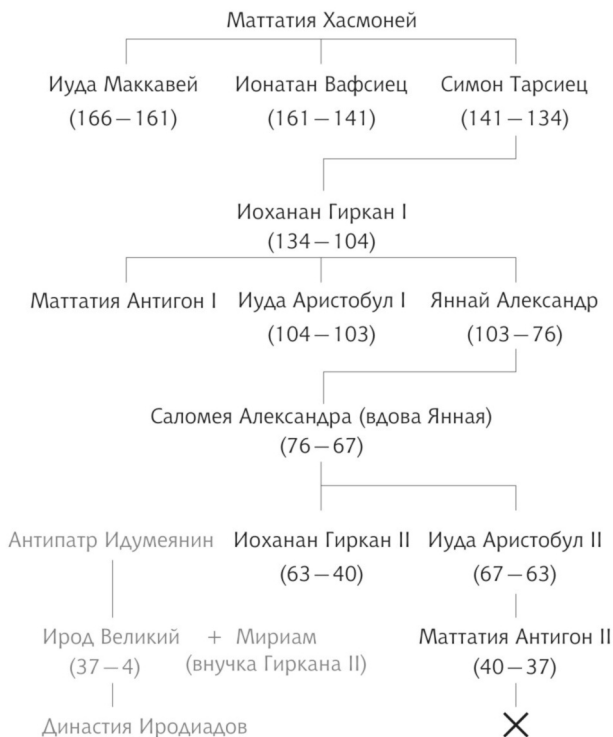
К стр. 249

Иисус Навин (Йешуа Бен Нун) — преемник Моисея, по преданию осуществивший завоевание Земли Обетованной.

К стр. 249

Хасмонеи (на иврите — Хашмонаим) — во II–I веках до н. э. династия правителей Иудеи. Родоначальник ее Маттатия Хасмонеи (или Матитьягу Хашмонаи) был священником в городе Модиин. В 167 году до н. э., воспротивившись указу Антиоха Эпифана приносить в рощах свиней в жертву Зевсу, собственноручно убил коллаборациониста, согласившегося на участие в языческом ритуале, и возглавил спонтанное восстание против эллинов. Восстание было удачным — старший сын Маттатии Иуда Маккавей (Маккаби) проявил себя необычайно талантливым военачальником — и окончилось тем, что в 163 году практически вся Иудея стала независимой и оставалась таковой 100 лет. Приблизительно в 100 году до н. э. Александр Яннай (см. таблицу) объявил себя царем — незаконно с точки зрения книжников. В его царствование Иудея расширилась до максимальных пределов (в частности за счет насильно обращенных в иудаизм при отце Янная Гиркане Первом Итуреи и Идумеи). Отношения Янная с собственным народом были непростыми — особенно с фарисеями. По словам Иосифа Флавия, в ответ на очередное возмущение он распял их по-финикийски то ли шесть, то ли восемь сотен, при этом дети и жены распятых были умерщвлены у них на глазах. Сам Яннаи пировал на балконе с видом на место казни. Однако, умирая, он раскаивался и просил свою жену Александру примириться с фарисеями.

Династия Хасмонеев (все года — до нашей эры).



К стр. 252

Кесария — портовый город на берегу Средиземного моря, построенный царем Иродом Великим на месте финикийского рыбацкого поселка.

К стр. 258

Блюмкин Яков (1898–1929) — авантюрист, революционер, разведчик, полиглот. Один из самых знаменитых людей Советской России 20-х годов. Родился в Одессе. Застрелил германского посла Мирбаха в 1918 году. Был куратором ОГПУ по делам Ближнего Востока, организовал разведывательную сеть в Палестине, совершил путешествие в Тибет. Расстрелян за связь с опальным Троцким.

К стр. 266

Марк Лициний Красс (115–53 гг. до н. э.) — древнеримский полководец, политик, конкурент Помпея, примиренный с ним Юлием Цезарем, в результате чего образовался первый в истории триумvirат.

К стр. 266

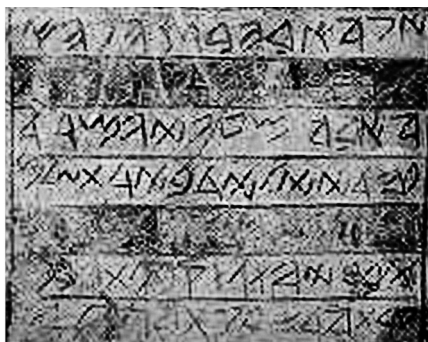
Помпей Гней Великий (106–48 гг. до н. э.) — полководец и политик, прославившийся в Древнем Риме исключительно благодаря военному таланту. Именно с его визита в Палестину в 65 г. до н. э. принято отсчитывать римско-византийскую эпоху в истории Святой Земли.

К стр. 271

Ирод Великий (74–4 гг. до н. э.) — сын идумеянина и набатейки (т. е. арабки), ставший иудейским царем, человек незаурядных талантов, выдающийся правитель и строитель, сравнимый по масштабу разве что с царем Соломоном, уважаемый во всей Римской империи — римляне даже называли субботу «днем Ирода Великого» — и люто ненавидимый собственным народом. В конце жизни Ирод, очевидно, страдал неким психическим расстройством, которым единственно можно объяснить убийство им любимой жены Мириам и собственных детей от нее. Октавиан Август сказал, что лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном. Возможно, отсюда и происходит христианская легенда об избииении младенцев.

К стр. 280

Осуарий Маттатии сына Иуды с надписью на арамейском.



К стр. 294

«Шаулюсаюнга» («Союз стрелков») — созданное в Литве в 1918 году подобие национальной гвардии в подчинении Генштаба. В Союз стрелков принимали с 16 лет.

К стр. 300

Двора-пророчица — персонаж Книги Судей.

К стр. 304

Палестина.



К стр. 304

Антиохия (ныне турецкая Антакья) — в четвертом веке до н. э. была первой столицей Селевкидов, с 64 года до н. э. стала резиденцией римских наместников и третьим по величине полисом Древнего Рима. Там же образовалась одна из четырех древнейших автокефальных церквей. В VI и VII веках Антиохия принадлежала византийцам, затем была сдана ими туркам, у которых ее отвоевали в 1089 году крестоносцы, образовав там свое княжество, просуществовавшее до 1268 года.

К стр. 305

Александрия (ныне Аль Искандария) — город в дельте Нила, основанный Александром Македонским в 332 году до н. э. Александрия была столицей птолемеевского Египта и важнейшим культурным центром эллинистического мира. В описываемую эпоху там жило едва ли не больше иудеев, чем в Иерусалиме.

К стр. 306

Андромания — то же, что нимфомания.

К стр. 312

Иевусеи — один из народов Ханаана. Их крепость Иевус на горе Сион захватил царь Давид, сделав своей столицей и вернув ей древнее имя Ерушалаем.

К стр. 312

Синедрион — буквально по-гречески означает «совместное заседание». Высший орган еврейской судебной власти, существовавший в каждом городе и состоявший из 23 человек. Большой Синедрион находился в Иерусалиме и включал 71 одного человека. С 63 года до н. э. с начала римского владычества Синедрион не обладал «правом меча», то есть мог выносить смертные приговоры, но не имел возможности приводить их в исполнение. Как известно из Талмуда, такие приговоры были крайней редкостью, и все они зафиксированы. Про случай Иисуса упоминаний нет, что неудивительно, поскольку преступление, за которое его казнили, было в римской юрисдикции — надпись на *titulus crucis* (табличке на кресте) Иисуса гласила: «Иисус Назорей Царь Иудеи». Поскольку фактическим правителем Иудеи был в тот момент кесарь Тиберий, Иисус с точки зрения римлян претендовал на его титул.

К стр. 317

Хелефеи и фелефеи («крети уфлети») – личная гвардия царя Давида, состоявшая из иноземных наемников. Буквально это выражение означает «критяне и филистимляне», то есть, выходцы из так называемых «народов моря», принадлежавших, судя по всему, к микенской культуре и пришедших в Ханаан вследствие некоей постигшей их родину катастрофы. Известно, что Давид продолжительное время сам состоял военачальником на службе у филистимлян. Очевидно, решив начать собственную политическую карьеру, он взял с собой проверенных бойцов, не отягощенных национальными и религиозными предрассудками. Лучше всего на русский язык идиома переводится как «сброд без роду-племени».

К стр. 331

Бар Абба – по-гречески произносится как Вараввас, а по-русски – Варавва.

К стр. 332

Саддукеи (цдуким) – представители одной из трех религиозно-философских школ во времена Хасмонеев. Флавий, который сам был из саддукеев, сравнивал их с эпикурейцами – они не верили в загробную жизнь, а значит – в посмертное воздаяние, не признавали толкований Торы и придерживались формального следования ее букве. Существует мнение, что школа названа по имени некоего Цадока – ученика Антигона из Сохо, призывавшего служить Богу не по-рабски – в надежде на милость и вознаграждение, а из любви. Однако сегодня многие исследователи склоняются к тому, что саддукеи были потомками библейского Цадока, родоначальника первосвященников. В пользу этой версии говорит тот факт, что именно саддукеи традиционно представляли иудейский религиозный официоз времен Второго Храма (существовавшего с 516 года до н. э. по 70 год н. э.). Священники-саддукеи были разделены на 24 стражи и служили в Храме по расписанию – по две недели в году. Судя по Евангелиям, Иоанн Креститель принадлежал к одной из таких семей, отчего, вероятно, проистекает его нелюбовь к фарисеям, отразившаяся в христианской традиции.

Фарисеи (перушим) – книжники, толкователи Торы, противники саддукеев. Люди, посвящавшие свободное от работы время изучению и объяснению Торы простому народу,

за что пользовались его всемерным уважением. Чаще всего обучение происходило в синагогах (домах собрания), но могло проводиться где угодно — в поле, на горе или на ступенях Храма. Иисус был типичным представителем этой школы, хотя, согласно Новому Завету, по материнской линии происходил от священнического рода, то есть от Цадока. Поэтому инвективы в адрес фарисеев, приписываемые Иисусу в Евангелиях, звучат по меньшей мере странно, ведь на самом деле они были направлены против саддукеев. Изначально фарисеями были и Иосиф Аримафейский, и Никодим, и апостол Павел.

Ессеи (эсеим) — «врачеватели» пороков, секта, удалившаяся от мира, не признававшая кровавых жертв в Храме, (а иные — и самого Храма). Усердно занимались сельским хозяйством в трудных условиях Иудейской пустыни и на берегу Мертвого моря. Были убежденными противниками эллинистического мировоззрения и саддукейского иудаизма. Жили в колониях с общественной собственностью, как правило — безбрачно, практикуя секс лишь в целях размножения, не признавали насилия, учили братской любви. Простым людям почитались за праведность и святость. Вполне вероятно, что первые христианские общины строились по тем же принципам. Есть версия, что христианский символ креста происходит вовсе не от отвратительного орудия казни, а от последней в еврейском алфавите буквы «тав», выглядевшей как крестик и означавшей для ессеев желанное окончание не-праведной эры и пришествие Учителя Праведности.

К стр. 334

Нацерет — оригинальное звучание названия города Назарет. В отличие от еврейского и русского языков в греческом нет звуков «ц», «б» и «ш», а все имена и географические названия Ветхого и Нового заветов в русской традиции произносятся на греческий лад, хотя, будь они переведены с иврита напрямую, были бы гораздо ближе к истинному звучанию. Еще одной причиной искажений явилось исключение из русской азбуки буквы «Ѡ», в результате чего все слова, писавшиеся по-гречески через «Ѡ», стали писать через «ф», тогда как и в древнем иврите, и в греческом это звучало как шепелявое «с» или английский дифтонг «th» в слове «third». Таким образом, из БейѠলেখема получился Вифлеем, из ЦваѠѠ — СаваѠф, из ШимѠшона — Самсон, а из ГаѠ Шемен — Гефсеман.

За неимением возможности использовать «фиту» автор вынужден был писать имя «Маттафия» так, как оно произносится в современном иврите, а не «Маттафия» (Матфей).

Существовал ли Назарет в те времена, мы не знаем, но вполне возможно, что да. По каноническим текстам мать Иисуса была сиротой и как дочь священника воспитывалась в «доме благородных девиц» при Храме, а затем была отдана в приемную семью в столице Галилеи Сепфорисе (Ципори), куда приходил из Назарета на заработки тектон (строительный подрядчик) Иосиф, почтенный вдовец, за которого с благословения храмовой администрации Марию и выдали замуж.

К стр. 363

Вальтер Фреверт (1897–1962) — с 1938 года главный (и последний) лесничий Роминтенского заповедника. Известен своими пронизанными романтикой книгами об охоте. На снимке он находится слева от Геринга.



К стр. 369

Ceci n'est pas une pipe (Это не трубка) — подпись известной концептуальной картины Рене Магритта (1928 год).

К стр. 371

Шмалькальденская война (1546–1547) — война между протестантами Шмалькальденского Союза и католиками, руководимыми Карлом V. Первый крупный вооруженный конфликт такого рода.

К стр. 371

Тридцатилетняя война (1618–1648) — начавшаяся в Германии как религиозный конфликт протестантов с католиками общеευропейская война, вылившаяся в борьбу с засилием Габсбургов.

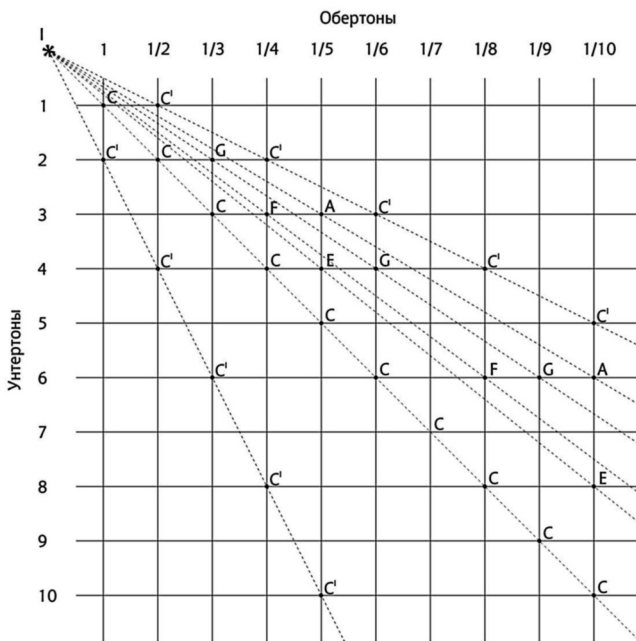
К стр. 374

Альберт фон Тимус (1806–1878) — немецкий исследователь теории гармонии.

К стр. 376

«Таблица Пифагора»

Заполнена частично ради простоты восприятия.



У индийцев имеются названия музыкальных тонов, приблизительно соответствующие нашим. Впервые их названия упоминаются в книге «Махабхарата» в четвёртом веке до нашей эры.

A	ЛЯ	DHA
B	СИ	NI
C	ДО	SA
D	РЕ	RI
E	МИ	GA
F	ФА	MA
G	СОЛЬ	PA

К стр. 382

Рейхсъягермайстер — главный лесничий Рейха, одно из званий Германа Геринга, известного своей любовью к живой природе. Первые в истории законы о природоохранении и защите животных были приняты по его инициативе.

К стр. 382

Армлэйхтер (канделябр) — кличка оленя.

К стр. 395

Ольга Фрейденберг (1890–1955) — советский филолог-классицист, культуролог-фольклорист, антиковед. Организовала первую в СССР кафедру классической филологии в 1932 году в Ленинградском университете. За сотрудничество с Н. Я. Марром была лишена возможности публиковать свои работы. Некоторые труды Фрейденберг увидели свет лишь после 1973 года, но большинство до сих пор находится в рукописях и готовится к изданию.

К стр. 410

По поводу особых храмовых денег современная наука располагает фактами, очевидно, известными Мартину. На нынешний момент принято считать, что в Храме был в ходу только так называемый тирский шекель — хотя финикийцы и чеканили на нем изображение орла и головы своего бога Мелькарта, зато сделан он был из самого чистого серебра. Именно такими серебряниками (тетрадрахмами), по преданию, заплатили Иуде.



К стр. 422

Гауптштурмфюрер — звание СС, соответствовало капитану Вермахта.

К стр. 438

Еременко Андрей (1892–1970) — маршал Советского Союза. Первую Мировую окончил в звании унтер-офицера. В гражданскую воевал в буденновской кавалерии. Учился в Ленинграде на Высших кавалерийских курсах, в 1935 окончил Военную Академию им. Фрунзе. С 1938 — начальник 6 казачьего корпуса. В польской кампании 1939 участвовал командиром бригады. Сразу после этого был комендантом Вильнюса. Перед началом Отечественной войны Еременко был назначен командующим Забайкальского военного округа и не успел забрать жену и сына из Вильнюса, и те пропали без вести.

На снимке Андрей Еременко накануне Польского похода РККА.



Содержание

Часть первая	5
Часть вторая	89
Часть третья	153
Часть четвертая	225
Часть пятая	285
Часть шестая	325
Приложение	443

Литературно-художественное издание

Тони Барлам

ДЕРЕВЯННЫЙ КЛЮЧ

Редактор *Н. Жукова.*

Технический редактор *И. Белый.*

Корректор *Е. Грац.*

Вёрстка и макет *И. Белый.*

Издательство «Memories».
101000, Москва, Б. Злагоустинский пер., д 2/8, стр. 1.
www.membook.ru
e-mail: info@membook.ru

Подписано в печать 27.03.2009.
Формат 60x84/16. Бумага писчая.
Печать цифровая. Усл. печ. л. 27,78.
Тираж 300 экз. Заказ № 71.

Отпечатано с готового оригинал-макета
в типографии «CherryPie»
www.cherrypie.ru

Телефон/факс: +7 (495) 604 4154.
115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д.12.